ЧИНГИЗ
АЙТМАТОВ

Плаха



АЗБУКА-КЛАССИКА

Плаха

Чингиз Айтматов

Аннотация
Чингиз Айтматов. ПЛАХА
Часть первая
I
II
III
IV
V
VI
Часть вторая
I
II
III
IV
V
Часть третья
I
II
III
IV
V
VI

Аннотация

Самый верный путь к творческому бессмертию – это писать sub specie mortis – с точки зрения смерти, или, что в данном случае одно и то же, с точки зрения вечности. Именно с этой позиции пишет свою прозу Чингиз Айтматов, классик русской и киргизской литературы, лауреат самых престижных премий, хотя последнее обстоятельство в глазах читателя современного, сформировавшегося уже на руинах некогда великой империи, не является столь уж важным. Но несомненно важным оказалось другое: айтматовские притчи, в которых миф переплетен с реальностью, а национальные, исторические и культурные пласты перемешаны, – приобрели сегодня новое трагическое звучание, стали еще более пронзительными. Потому что пропасть, о которой предупреждал Айтматов несколько десятилетий назад, – теперь у нас под ногами. В том числе и об этом – роман Ч. Айтматова «Плаха» (1986).

«Ослепительная волчица Акбара и ее волк

Ташчайнар, редкостной чистоты души Бостон, достойный воспоминаний о героях древнегреческих трагедии, и его антипод Базарбай, мятущийся Авдий, принявший крестные муки, и жертвенный младенец Кенджеш, охотники за наркотическим травяным зельем и благословенные певцы… – все предстали взору писателя и нашему взору в атмосфере высоких температур подлинного чувства».

А. Золотов

Чингиз Айтматов
ПЛАХА

Часть первая

I

Вслед за коротким, легким, как детское дыхание, дневным потеплением на обращенных к солнцу горных склонах погода вскоре неуловимо изменилась — заветрило с ледников, и уже закрадывались по ущельям всюду проникающие резкие ранние сумерки, несущие за собой холодную сизость предстоящей снежной ночи.

Снега было много вокруг. На всем протяжении Прииссыккульского кряжа горы были завалены метельным свеем, прокатившимся по этим местам пару дней тому назад, как полыхнувший вдруг по прихоти своевольной стихии пожар. Жутко, что тут разыгралось — в метельной кромешности исчезли горы, исчезло небо, исчез весь прежний видимый мир. Потом все стихло, и погода прояснилась. С тех пор, с умиротворением снежного шторма, скованные великими заносами горы стояли в цепенеющей и отстранившейся ото всего на свете стылой тишине.

И только все настойчивей возрастающий и все прибывающий гул крупнотоннажного вертолета, пробирающегося в тот предвечерний час по каньону Узун-Чат к ледяному перевалу Ала-Монгю,

задымленному в ветреной выси кручеными облаками, все нарастал, все приближался, усиливаясь с каждой минутой, и наконец восторжествовал — полностью завладел пространством и поплыл всеподавляющим, гремучим рокотом над недоступными ни для чего, кроме звука и света, хребтами, вершинами, высотными льдами. Умножаемый среди скал и распадков многократным эхом, грохот над головой надвигался с такой неотвратимой и грозной силой, что казалось, еще немного — и случится нечто страшное, как тогда — при землетрясении…

В какой-то критический момент так и получилось — с крутого, обнаженного ветрами каменистого откоса, что оказался по курсу полета, тронулась, дрогнув от звукового удара, небольшая осыпь и тут же приостановилась, как заговоренная кровь. Этого толчка неустойчивому грунту, однако, было достаточно, чтобы несколько увесистых камней, сорвавшись с крутизны, покатились вниз, все больше разбегаясь, раскручиваясь, вздымая следом пыль и щебень, а у самого подножия проломились, подобно пушечным ядрам, сквозь кусты краснотала и барбариса, пробили сугробы, достигли накатом волчьего логова, устроенного здесь серыми под свесом скалы,

в скрытой за зарослями расщелине близ небольшого, наполовину замерзшего теплого ручья.

Волчица Акбара отпрянула от скатившихся сверху камней и посыпавшегося снега и, пятясь в темень расщелины, сжалась, как пружина, вздыбив загривок и глядя перед собой дико горящими в полутьме, фосфоресцирующими глазами, готовая в любой момент к схватке. Но опасения ее были напрасны. Это в открытой степи страшно, когда от преследующего вертолета некуда деться, когда он, настигая, неотступно гонится по пятам, оглушая свистом винтов и поражая автоматными очередями, когда в целом свете нет от вертолета спасения, когда нет такой щели, где можно было бы схоронить бедовую волчью голову, — ведь не расступится же земля, чтобы дать укрытие гонимым.

В горах иное дело — здесь всегда можно ускакать, всегда найдется где затаиться, где переждать угрозу. Вертолет здесь не страшен, в горах вертолету самому страшно. И однако страх безрассуден, тем более уже знакомый, пережитый. С приближением вертолета волчица громко заскулила, собралась в комок, втянула голову, и все-таки нервы не выдержали, сорвалась-таки — и яростно взвыла Акбара, охваченная бессильной, слепой

боязнью, и судорожно поползла на брюхе к выходу, лязгая зубами злобно и отчаянно, готовая сразиться, не сходя с места, точно надеялась обратить в бегство грохочущее над ущельем железное чудовище, с появлением которого даже камни стали валиться сверху, как при землетрясении.

На панические вопли Акбары в нору просунулся ее волк — Ташчайнар, находившийся с тех пор, как волчица затяжелела, большей частью не в логове, а в затишке среди зарослей. Ташчайнар — Камнедробитель, — прозванный так окрестными чабанами за сокрушительные челюсти, подполз к ее ложу и успокаивающе заурчал, как бы прикрывая ее телом от напасти. Притискиваясь к нему боком, прижимаясь все теснее, волчица продолжала скулить, жалобно взывая то ли к несправедливому небу, то ли неизвестно к кому, то ли к судьбе своей несчастной, и долго еще дрожала всем телом, не могла совладать с собой даже после того, как вертолет исчез за могучим глетчером Ала-Монгю и его стало совсем не слышно за тучами.

И в этой воцарившейся разом, подобно обвалу космического беззвучия, горной тишине волчица вдруг явственно услышала в себе, точнее внутри чрева, живые толчки. Так было, когда Акбара,

еще на первых порах своей охотничьей жизни, придушила как-то с броска крупную зайчиху: в зайчихе, в животе ее, тоже почудились тогда такие же шевеления каких-то невидимых, скрытых от глаз существ, и это странное обстоятельство удивило и заинтересовало молодую любопытную волчицу, удивленно наставив уши, недоверчиво взирающую на свою удушенную жертву. И настолько это было чудно и непонятно, что она попыталась даже затеять игру с теми невидимыми телами, точь-в-точь как кошка с полуживой мышью. А теперь сама обнаружила в нутре своем такую же живую ношу — то давали знать о себе те, которым предстояло при благополучном стечении обстоятельств появиться на свет недели через полторы-две. Но пока что понародившиеся детеныши были неотделимы от материнского лона, составляли часть ее существа, и потому и они пережили в возникающем, смутном, утробном подсознании тот же шок, то же отчаяние, что и она сама. То было их первое заочное соприкосновение с внешним миром, с ожидающей их враждебной действительностью. Оттого они и задвигались в чреве, отвечая так на материнские страдания. Им тоже было страшно, и страх тот передался им материнской кровью.

Прислушиваясь к тому, что творилось помимо воли в ее ожившей утробе, Акбара заволновалась. Сердце волчицы учащенно заколотилось — его наполнили отвага, решимость непременно защитить, оградить от опасности тех, кого она вынашивала в себе. Сейчас бы она не задумываясь схватилась с кем угодно. В ней заговорил великий природный инстинкт сохранения потомства. И тут же Акбара почувствовала, как на нее горячей волной нахлынула нежность — потребность приласкать, пригреть будущих сосунков, отдавать им свое молоко так, как если бы они уже были под боком. То было предощущение счастья. И она прикрыла глаза, застонала от неги, от ожидания молока в набухших до красноты, крупных, выступающих двумя рядами по брюху сосцах, и томно, медленно-медленно потянулась всем телом, насколько позволяло логово, и, окончательно успокоившись, снова придвинулась к своему сивогривому Ташчайнару. Он был могуч, шкура его была тепла, густа и упруга. И даже он, угрюмец Ташчайнар, и тот уловил, что испытывала она, мать-волчица, и каким-то чутьем понял, что происходило в ее утробе, и тоже, должно быть, был тронут этим. Поставив ухо торчком, Ташчайнар приподнял свою угловатую, тяжело-

весную голову, и в сумрачном взоре холодных зрачков его глубоко посаженных темных глаз промелькнула какая-то тень, какое-то смутное приятное предчувствие. И он сдержанно заурчал, прихрапывая и покашливая, выражая так доброе свое расположение и готовность беспрекословно слушаться синеглазую волчицу и оберегать ее, и принялся старательно, ласково облизывать голову Акбары, особенно ее сияющие синие глаза и нос, широким, теплым, влажным языком. Акбара любила язык Ташчайнара и тогда, когда он заигрывал и ластился к ней, дрожа от нетерпения, а язык его, разгорячась от бурного прилива крови, становился упругим, быстрым и энергичным, как змея, хотя попервоначалу и делала вид, что это ей, по меньшей мере, безразлично, и тогда, когда в минуты спокойствия и благоденствия после сытной еды язык ее волка был мягко-влажным.

В этой паре лютых Акбара была головой, была умом, ей принадлежало право зачинать охоту, а он был верной силой, надежной, неутомимой, неукоснительно исполняющей ее волю. Эти отношения никогда не нарушались. Лишь однажды был странный, неожиданный случай, когда ее волк исчез до рассвета и вернулся с чужим запахом иной самки — отвратительным духом

бесстыжей течки, стравливающей и скликающей самцов за десятки верст, вызвавшим у нее неудержимую злобу и раздражение, и она сразу отвергла его, неожиданно вонзила клыки глубоко в плечо и в наказание заставила ковылять много дней кряду позади. Держала дурака на расстоянии и, сколько он ни выл, ни разу не откликнулась, не остановилась, будто он, Ташчайнар, и не был ее волком, будто он для нее не существовал, а если бы он и посмел снова приблизиться к ней, чтобы покорить и ублажить ее, Акбара померилась бы с ним силами всерьез, не случайно она была головой, а он ногами в этой пришлой сивой паре.

Сейчас Акбара, после того как она немного поуспокоилась и пригрелась под широким боком Ташчайнара, была благодарна своему волку за то, что он разделил ее страх, за то, что он тем самым возвратил ей уверенность в себе, и потому не противилась его усердным ласкам, и в ответ раза два лизнула в губы, и, преодолевая смятение, которое все еще давало себя знать неожиданной дрожью, сосредоточивалась в себе, и, прислушиваясь к тому, как непонятно и неспокойно вели себя еще не народившиеся щенята, примирилась с тем, что есть: и с логовом, и с великой зимой в горах, и с надвигающейся исподволь морозной ночью.

Так заканчивался тот день страшного для волчицы потрясения. Подвластная неистребимому инстинкту материнской природы, переживала она не столько за себя, сколько за тех, которые ожидались вскоре в этом логове и ради которых они с волком выискали и устроили здесь, в глубокой расщелине под свесом скалы, сокрытой всяческими зарослями, навалом бурелома и камнепада, это волчье гнездо, чтобы было где потомство родить, чтобы было где свое пристанище иметь на земле.

Тем более что Акбара и Ташчайнар были пришлыми в этих краях. Для опытного глаза даже внешне они разнились от их местных собратьев. Первое — отвороты меха на шее, плотно обрамлявшие плечи наподобие пышной серебристо-серой мантии от подгрудка до холки, у пришельцев были светлые, характерные для степных волков. Да и ростом акджалы, то бишь сивогривые, превышали обычных волков Прииссыккульского нагорья. А если бы кто-нибудь увидел Акбару вблизи, его бы поразили ее прозрачно-синие глаза — редчайший, а возможно, единственный в своем роде случай. Волчица прозывалась среди здешних чабанов Акдалы, иначе говоря, Белохолкой, но вскоре по законам транс-

формации языка она превратилась в Акбары, а потом в Акбару — Великую, и между тем никому невдомек было, что в этом был знак провидения.

Еще год назад сивогривых здесь не было и в помине. Появившись однажды, они, однако, продолжали держаться особняком. Попервоначалу пришельцы бродили во избежание столкновений с хозяевами большей частью по нейтральным зонам здешних волчьих владений, перебивались как могли, в поисках добычи забегали даже на поля, в низовья, населенные людьми, но к местным стаям так и не пристали — слишком независимый характер имела синеглазая волчица Акбара, чтобы примыкать к чужим и пребывать в подчинении.

Всему судия — время. Со временем сивогривые пришельцы смогли постоять за себя, в многочисленных жестоких схватках захватили себе земли на Прииссыккульском нагорье, и теперь уже они, пришлые, были хозяевами, и уже местные волки не решались вторгаться в их пределы. Так, можно сказать, удачно складывалась на Иссык-Куле жизнь новоявленных сивогривых волков, но всему этому предшествовала своя история, и если бы звери могли вспоминать прошлое, то Акбаре, которая отличалась большой понятливостью и

тонкостью восприятия, пришлось бы заново пережить все то, о чем, возможно, и вспоминалось ей порой до слез и тяжких стонов.

В том утраченном мире, в далекой отсюда Моюнкумской саванне, протекала великая охотничья жизнь — в нескончаемой погоне по нескончаемым моюнкумским просторам за нескончаемыми сайгачьими стадами. Когда антилопы-сайгаки, обитавшие с незапамятных времен в саванных степях, поросших вечно сухостойным саксаульником, древнейшие, как само время, из парнокопытных, когда эти неутомимые в беге горбоносые стадные животные с широченными ноздрями-трубами, пропускающими воздух через легкие с такой же энергией, как киты сквозь ус — потоки океана, и потому наделенные способностью бежать без передышки с восхода и до заката солнца, — так вот когда они приходили в движение, преследуемые извечными и неразлучными с ними волками, когда одно спугнутое стадо увлекало в панике соседнее, а то и другое и третье и когда в это поголовное бегство включались встречные великие и малые стада, когда мчались сайгаки по Моюнкумам — по взгорьям, по равнинам, по пескам, как обрушившийся на землю потоп, земля убегала вспять и гудела под

ногами так, как гудит она под градовым ливнем в летнюю пору, и воздух наполнялся вихрящимся духом движения, кремнистой пылью и искрами, летящими из-под копыт, запахом стадного пота, запахом безумного состязания не на жизнь, а на смерть, и волки, пластаясь на бегу, шли следом и рядом, пытаясь направить стада сайгаков в свои волчьи засады, где ждали их среди саксаула матерые резчики, — то звери, которые бросались из засады на загривок стремительно пробегающей жертвы и, катясь кубарем вместе с ней, успевали перекусить горло, пустить кровь и снова кинуться в погоню; но сайгаки каким-то образом часто распознавали, где ждут их волчьи засады, и успевали пронестись стороной, а облава с нового круга возобновлялась с еще большей яростью и скоростью, и все они, гонимые и преследующие, — одно звено жестокого бытия — выкладывались в беге, как в предсмертной агонии, сжигая свою кровь, чтобы жить и чтобы выжить, и разве что только сам бог мог остановить и тех и других, гонимых и гонителей, ибо речь шла о жизни и смерти жаждущих здравствовать тварей, ибо те волки, что не выдерживали такого бешеного темпа, те, что не родились состязаться в борьбе за существование — в беге-борьбе, — те волки валились с ног и оста-

вались издыхать в пыли, поднятой удаляющейся, как буря, погоней, а если и оставались в живых, уходили прочь в другие края, где промышляли разбоем в безобидных овечьих отарах, которые даже не пытались спасаться бегством, правда, там была своя опасность, самая страшная из всех возможных опасностей, — там, при стадах, находились люди, боги овец и они же овечьи рабы, те, кто сами живут, но не дают выживать другим, особенно тем, кто не зависит от них, а волен быть свободным…

Люди, люди — человекобоги! Люди тоже охотились на сайгаков Моюнкумской саванны. Прежде они появлялись на лошадях, одетые в шкуры, вооруженные стрелами, потом появлялись с бабахающими ружьями, гикая, скакали туда-сюда, а сайгаки кидались гурьбой в одну, в другую сторону — поди разыщи их в саксаульных урочищах, но пришло время, и человекобоги стали устраивать облавы на машинах, беря на измор, точь-в-точь как волки, и валили сайгаков, расстреливая их с ходу, а потом человокобоги стали прилетать на вертолетах и, высмотрев вначале с воздуха сайгачьи стада в степи, шли на окружение животных в указанных координатах, а наземные снайперы мчались при этом по рав-

нинам со скоростью до ста и более километров, чтобы сайгаки не успели скрыться, а вертолеты корректировали сверху цель и движение. Машины, вертолеты, скорострельные винтовки — и опрокинулась жизнь в Моюнкумской саванне вверх дном…

Синеглазая волчица Акбара была еще полуяркой, а ее будущий волк-супруг Ташчайнар был чуть постарше ее, когда пришел им срок привыкать к большим загонным облавам. Поначалу они не поспевали за погоней, терзали сваленных антилоп, убивали недобитых, а со временем произошли в силе и выносливости многих бывалых волков, а особенно стареющих. И если бы все шло как положено природой, быть бы им вскоре предводителями стай. Но все обернулось иначе…

Год на год не приходится, и весной того года в сайгачьих стадах был особо богатый приплод — многие матки приносили двойню, поскольку прошлой осенью во время гона сухой травостой зазеленел раза два наново после нескольких обильных дождей при теплой погоде. Корма было много — отсюда и рождаемость. На время окота сайгаки уходили еще ранней весной в бесснежные большие пески, что в самой глубине Моюнкумов, — туда волкам добраться нелегко, да

и погоня по барханам за сайгаками — безнадежное дело. По пескам антилоп никак не догнать. Зато волчьи стаи с лихвой получали свое осенью и в зимнее время, когда сезонное кочевье животных выбрасывало бессчетное сайгачье поголовье на полупустынные и степные просторы. Вот тогда волкам сам бог велел добывать свою долю. А летом, особенно по великой жаре, волки предпочитали не трогать сайгаков, благо другой, более доступной добычи было достаточно — сурки во множестве сновали по всей степи, наверстывая упущенное в зимнюю спячку, им надо было за лето успеть все, что успевали другие животные и звери за год жизни. Вот и суетилось вокруг сурочье племя, презрев опасность. Чем не промысел — поскольку всему ведь свой час, а зимой сурков не добудешь — их нет. И еще разные зверушки да птицы, особенно куропатки, шли в прикорм волкам в летние месяцы, но главная добыча — великая охота на сайгаков — приходилась на осень и с осени тянулась до самого конца зимы. Опять же всему свое время. И в том была своя, от природы данная целесообразность оборота жизни в саванне. Лишь стихийные бедствия да человек могли нарушить этот изначальный ход вещей в Моюнкумах…

II

К рассвету воздух над саванной несколько поостыл, и только тогда полегчало — дышать живым тварям стало свободней, и наступил час самой отрадной норы между зарождающимся днем, обремененным грядущим зноем, нещадно пропекающим солончаковую степь добела, и уходящей душной, горячей ночью. Луна запылала к тому времени над Моюнкумами абсолютно круглым желтым шаром, освещая землю устойчивым синеватым светом. И не видно было ни конца, ни начала этой земли. Всюду темные, едва угадываемые дали сливались со звездным небом. Тишина была живой, ибо все, что населяло саванну, все, кроме змей, спешило насладиться в тот час прохладой, спешило пожить. Попискивали и шевелились в кустах тамариска ранние птицы, деловито сновали ежи, цикады, что пропели не смолкая всю ночь, затурчали с новой силой, уже высовывались из нор и оглядывались по сторонам проснувшиеся сурки, пока еще не приступая к сбору корма — осыпавшихся семян саксаула. Летали с места на место всей семьей большой плоскоголовый серый сыч и пяток плоского-

ловых сычат, подросших, оперившихся и уже пробующих крыло, летали как придется, то и дело заботливо перекликаясь и не теряя из виду друг друга. Им вторили разные твари и разные звери предрассветной саванны…

И стояло лето, первое совместное лето синеглазой Акбары и Ташчайнара, уже проявивших себя неутомимыми загонщиками сайгаков в облавах и уже вошедших в число самых сильных пар среди моюнкумских волков. К их счастью, — надо полагать, что в мире зверей тоже могут быть и счастливые и несчастные, — оба они, и Акбара и Ташчайнар, наделены были от природы качествами, особо жизненно важными для степных хищников в полупустынной саванне, — мгновенной реакцией, чувством предвидения на охоте, своего рода «стратегической» сообразительностью, и, разумеется, недюжинной физической силой — быстротой и натиском в беге. Все говорило за то, что этой паре предстояло великое охотничье будущее и жизнь их будет полна тяготами повседневного пропитания и красотой своего звериного предназначения. Пока же ничто не мешало им безраздельно править в Моюнкумских степях, поскольку вторжение человека в эти пределы носило еще характер случайный и они

еще ни разу не сталкивались с человеком лицом к лицу. Это произойдет чуть позже. И еще одна льгота, если не сказать привилегия, их от сотворения мира заключалась в том, что они, звери, как и весь животный мир, могли жить изо дня в день, не ведая страха и забот о завтрашнем дне. Во всем целесообразная природа освободила животных от этого проклятого бремени бытия. Хотя именно в этой милости таилась и та трагедия, которая подстерегала обитателей Моюнкумов. Но никому из них не дано было заподозрить это. Никому не дано было представить себе, что кажущаяся нескончаемой Моюнкумская саванна, как ни обширна и как ни велика она, — всего лишь небольшой остров на Азиатском субконтиненте, место величиной с ноготь большого пальца, закрашенное на географической карте желто-бурым цветом, на которое из года в год все сильнее наседают неуклонно распахиваемые целинные земли, напирают неисчислимые домашние стада, бредущие по степи вслед за артезианскими скважинами в поисках новых ареалов прокорма, наступают каналы и дороги, прокладываемые в пограничных зонах в связи с непосредственной близостью от саванны одного из крупнейших газопроводов; все более настойчиво, долго-

временно вторгаются все более технически вооруженные люди на колесах и моторах, с радиосвязью, с запасами воды в глубины любых пустынь и полупустынь, в том числе и в Моюнкумы, но вторгаются не ученые, совершающие самоотверженные открытия, коими потомкам надлежит гордиться, а обыкновенные люди, делающие обыкновенное дело, дело, доступное и посильное почти любому и каждому. И тем более обитателям уникальной Моюнкумской саванны не дано было знать, что в самых обычных для человечества вещах таится источник добра и зла на земле. И что тут все зависит от самих людей — на что направят они эти самые обыкновенные для человечества вещи: на добро или худо, на созидание или разор. И уж вовсе неведомы были четвероногим и прочим тварям Моюнкумской саванны те сложности, которые донимали самих людей, пытавшихся познать себя с тех пор, как люди стали мыслящими существами, хотя они так и не разгадали при этом извечной загадки: отчего зло почти всегда побеждает добро…

Все эти человеческие дела по логике вещей никак не могли касаться моюнкумских животных, ибо они лежали вне их природы, вне их инстинктов и опыта. И, в общем-то, до сих пор

пока ничто всерьез не нарушало сложившегося образа жизни этой великой азиатской степи, раскинувшейся на жарких полупустынных равнинах и всхолмлениях, поросших только здесь произраставшими видами засухоустойчивого тамариска, эдакой полутравой, полудеревом, каменно-крепким, крученым, как морской канат, песчаным саксаулом, жесткой подножной травой и более всего тростниковым стрельчатым чием, этой красой полупустынь, и при свете луны, и при свете солнца мерцающим наподобие золотого призрачного леса, в котором, как в мелкой воде, кто — ростом хотя бы с собаку — ни поднял головы, увидит все вокруг и будет виден сам.

В этих краях и слагалась судьба новой волчьей пары — Акбары и Ташчайнара, а к тому времени — что самое важное в жизни животных — они уже имели своих тунгучей-первенцев, троих щенят из выводка, произведенных на свет Акбарой той памятной весной в Моюнкумах, в том памятном логове, выбранном ими в ямине под размытым комлем старого саксаула, близ полувысохшей тамарисковой рощицы, куда удобно было выводить волчат на обучение. Волчата уже держали стоймя уши, обретали каждый свой норов, хотя при играх между собой их уши

снова по-щенячьи топырились, да и на ногах чувствовали они себя довольно крепко. И все чаще увязывались они следом за родителями в малые и большие вылазки.

Недавно одна из таких вылазок с отлучкой от логова на целый день и ночь чуть было не кончилась для волков неожиданной бедой.

В то раннее утро Акбара повела свой выводок на дальнюю окраину Моюнкумской саванны, где на степных просторах, особенно по глухим падям и буеракам, произрастали стеблевые травы с тягучим, ни на что не похожим, привораживающим запахом. Если долго бродить среди того высокого травостоя, вдыхая пыльцу, то вначале наступает ощущение необыкновенной легкости в движениях, чувство приятного скольжения над землей, а затем появляется вялость в ногах и сонливость. Акбара помнила эти места еще с детства и наведывалась сюда раз в году в пору цветения дурман-травы. Охотясь по пути на мелкую степную живность, она любила слегка попьянеть в больших травах, поваляться в жарком настое травяного духа, почувствовать парение в беге и потом заснуть.

В этот раз они с Ташчайнаром были уже не одни: за ними следовали волчата — трое нескладно

длинноногих щенков. Молодняку надлежало как можно больше узнавать в походах окрестности, осваивать сызмальства будущие волчьи владения. Пахучие луга, куда вела на ознакомление волчица, были на краю тех владений, дальше простирался чужой мир, там могли встретиться люди, оттуда, с той неоглядной стороны, доносились порой протяжно завывающие, как осенние ветры, паровозные гудки, то был враждебный волкам мир. Туда, на этот край саванны, шли они, ведомые Акбарой.

За Акбарой трусил Ташчайнар, а волчата резво носились от избытка энергии и все норовили выскочить вперед, но волчица-мать не давала им своевольничать — она строго следила, чтобы никто не смел ступать на тропу впереди нее.

Места шли вначале песчаные — в зарослях саксаула и пустынной полыни, солнце всходило все выше, обещая, как всегда, ясную, жаркую погоду. Уже к вечеру волчье семейство прибыло к краю саванны. Прибыло в самый раз — засветло. Травы в этом году были высоки — почти по холку взрослым волкам. Нагревшись за день на жарком солнце, невзрачные соцветья на мохнатых стеблях источали сильный запах, особенно в местах сплошных зарослей густ был этот дух. Здесь, в

небольшом овражке, волки сделали привал после долгого пути. Неугомонные волчата не столько отдыхали, сколько бегали вокруг, принюхиваясь и присматриваясь ко всему, что привлекало их любопытство. Возможно, волчье семейство осталось бы здесь на всю ночь, благо звери были сыты и напоены — по пути удалось схватить несколько жирных сурков да зайцев и разорить много всяких гнезд, жажду же утолили в родничке на дне попутного оврага, — но одно чрезвычайное происшествие заставило их срочно покинуть это место и повернуть восвояси, к логову в глубине саванны. Уходили всю ночь.

А случилось то, что уже на закате, когда Акбара и Ташчайнар, захмелевшие от запахов дурман-травы, растянулись в тени кустов, неподалеку вдруг раздался человеческий голос. Прежде человека увидели волчата, игравшие наверху овражка. Звереныши не подозревали да и не могли предполагать, что неожиданно появившееся здесь существо — человек. Некий субъект почти голый — в одних плавках и кедах на босу ноги, в некогда белой, но уже изрядно замызганной панаме на голове — бегал по тем самым травам. Бегал он странно — выбирал густые поросли и упорно бегал между стеблями взад-вперед, точ-

но это доставляло ему удовольствие. Волчата вначале притаились, недоумевая и побаиваясь, — такого они никогда не видели. А человек все бегал и бегал по травам, как сумасшедший. Волчата осмелели, любопытство взяло верх, им захотелось затеять игру с этим странным, бегающим как заводной, невиданным, голокожим двуногим зверем. А тут и сам человек приметил волчат. И что самое удивительное — вместо того чтобы насторожиться, подумать, отчего вдруг здесь оказались волки, — этот чудак пошел к волчатам, ласково протягивая руки.

— Смотри-ка, что это? — приговаривал он, тяжело дыша и отирая пот с лица. — Никак волчата? Или это мне почудилось от кружения? Да нет, трое, да такие пригожие, да такие большие уже! Ах вы мои звереныши! Откуда вы и куда? Что вы тут делаете? Меня-то нелегкая занесла, а вы что тут, в этих степях, среди этой проклятой травы? Ну идите, идите ко мне, не бойтесь! Ах вы дурашливые мои зверики!

Неразумные волчата и в самом деле поддались на его ласки. Виляя хвостиками, игриво прижимаясь к земле, они поползли к человеку, надеясь пуститься с ним наперегонки, но тут из овражка выскочила Акбара. Волчица в

мгновение оценила опасность положения. Глухо зарычав, она кинулась к голому человеку, розово освещенному предзакатными лучами степного солнца. Ей ничего не стоило с размаху полоснуть его клыками по горлу или по животу. А человек, совершенно обалдевший при виде яростно набегающей волчицы, присел, в страхе схватившись за голову. Это-то его и спасло. Уже на бегу Акбара почему-то переменила свое намерение. Она перескочила через человека — голого и беззащитного, — которого можно было поразить одним ударом, перескочила, успев при этом разглядеть черты его лица и остановившиеся в жутком страхе глаза, почуяв запах его тела, перескочила, развернулась и снова перепрыгнула во второй раз уже в другом направлении, бросилась к волчатам, погнала их прочь, больно кусая за репицы и оттесняя к оврагу, и тут столкнулась с Ташчайнаром, страшно вздыбившим загривок при виде человека, куснула и повернула и его, и все они, гурьбой скатившись в овраг, в мгновение ока исчезли…

И тут только тот голый и нелепый тип спохватился, бросился бежать… И долго бежал по степи, не оглядываясь и не переводя дыхания…

То была первая нечаянная встреча Акбары и

ее семейства с человеком… Но кто мог знать, что предвещала эта встреча…

День клонился к концу, исходя нещадным зноем от закатного солнца, от накалившейся за день земли. Солнце и степь — величины вечные: по солнцу измеряется степь, насколько оно велико, освещаемое солнцем пространство. А небо над степью измеряется высотой взлетевшего коршуна. В тот предзакатный час над Моюнкумской саванной кружила в выси целая стая белохвостых коршунов. Они летели без цели, самозабвенно и плавно плыли, совершая полет ради полета в той всегда прохладной, подернутой дымкой, безоблачной выси. Летели один за другим в одном направлении по кругу, как бы символизируя тем вечность и незыблемость этой земли и этого неба. Коршуны не издавали никаких звуков, а молча смотрели, что происходило в тот момент внизу, под их крыльями. Благодаря своему исключительному всевидящему зрению, именно благодаря зрению (слух у них на втором месте) эти аристократические хищники были поднебесными жителями саванны, опускавшимися на грешную землю лишь для прокорма и на ночлег.

Должно быть, в тот час с той непомерной высоты им были как на ладони видны волк, волчица

и трое волчат, расположившиеся на небольшом бугорке среди разбросанных кустов тамариска и золотистой поросли чия. Дружно высунув языки от жары, волчье семейство отдыхало на том пригорке, вовсе не предполагая, что является объектом наблюдения поднебесных птиц. Ташчайнар полулежал в своей любимой позе — скрестив лапы впереди, приподняв голову, — он выделялся среди всех мощным загривком и мосластостью, тяжеловесностью телосложения. Рядом, подобрав под себя толстый куцый хвост, чем-то похожая на застывшую скульптуру, сидела молодая волчица Акбара. Волчица прочно упиралась перед собой прямыми сухожильными ногами. Ее белеющая грудь и впалое брюхо с торчащими, но уже утратившими припухлость сосцами в два ряда подчеркивали поджарость и силу бедер волчицы. А волчата, тройня, крутились подле. Их непоседливость, приставучесть и игривость вовсе не раздражали родителей. И волк и волчица взирали на них с явным попустительством: пусть, мол, резвятся себе…

А коршуны все летали в поднебесье и все так же хладнокровно просматривали, что делалось внизу в Моюнкумах при закатном солнце. Неподалеку от волков с волчатами, немного в стороне,

в тамарисковых рощах, паслись сайгаки. Их было немало. Довольно большое стадо паслось почти рядом, разбредясь в тамарисках, на некотором удалении от другого, еще более многочисленного скопления. Если бы коршунов интересовали степные антилопы, они бы, обозревая саванну, тянущуюся на десятки километров в ту и в другую сторону, убедились, что сайгакам несть числа — их сотни и тысячи, ибо они искони изобиловали в этом благодатном для них полупустынном ареале. Пережидая вечерний зной, сайгаки по ночам шли на водопой к столь редким и далеким источникам влаги в саванне. Отдельные группы уже сейчас, быстро набирая ход, потянулись в ту сторону. Им надлежало преодолеть большие расстояния.

Одно из стад следовало так близко от пригорка, где находились волки, что тем явственно были видны сквозь призрачно освещенный травостой чия их быстро скользящие бока и спины, приспущенные головы самцов с небольшими рожками. Они всегда движутся с опущенной головой, чтобы не испытывать лишнего сопротивления воздуха, ибо в любой момент готовы рвануться бегом. Так устроила их природа в ходе эволюции, и в том главное преимущество сайгаков, спасавшихся

от любой опасности бегством. Даже если они ничем не встревожены, сайгаки обычно идут размеренным галопом, неутомимо и неуклонно, не уступая пути никому, кроме волков, поскольку их, антилоп, множество и в этом уже их сила…

Сейчас они следовали мимо семейства Акбары, скрытого кустами, галопирующей массой, поднимая за собой ветер, пронизанный духом стада и пылью из-под копыт. Волчата на пригорке заволновались, инстинктивно взбудоражились. Все трое напряженно принюхивались к воздуху и, не понимая еще, в чем дело, порывались бежать в ту сторону, откуда доносился этот волнующий стадный дух, им очень хотелось кинуться в те стеблистые поросли чия, среди которых угадывалось мелькание многих бегущих тел. Однако волки-родители, ни Акбара, ни Ташчайнар, не шевельнулись и не изменили своих поз, хотя им ничего не стоило буквально в два прыжка очутиться рядом с проходившим стадом и погнать его, яростно, неудержимо преследовать на измор, так, чтобы в общем беге том, в беге-состязании на грани смерти, когда сдается, что земля и небо меняются местами, изловчиться на каком-нибудь крутом вираже и на лету свалить пару-другую антилоп. Такая возможность была вполне реаль-

ной, но могло случиться и так, что не повезло бы, не удалось бы нагнать добычу, случалось и такое. Как бы то ни было, Акбара и Ташчайнар и не подумали начать погоню — хотя, казалось, добыча, можно сказать, сама шла в руки, они не трогались с места. На это имелись свои причины — они были сыты в тот день и устраивать в такую несусветную жару при набитых желудках бешеную гонку, погоню за неуловимыми сайгаками было бы смерти подобно. Но главное — для молодняка еще не пришла пора такой охоты. Волчата могли сломаться — раз и навсегда, если бы, задохнувшись в беге, отстали от недостижимой цели — больше они бы не пытались дерзать, утратили бы кураж. Зимой, в сезон больших облав — вот когда набравшие сил полуярки, к тому времени уже почти годовалые, могли бы испытать себя, могли бы убедиться, насколько хватит их крепости, могли бы приобщиться к делу, а пока не стоило портить игру. Но то будет преславный час!

Акбара слегка отпрянула от докучавших ей в нетерпении охотничьего азарта волчат, пересела на другое место, нее так же провожая цепким взором движение антилоп, следовавших на водопой, скользя бок о бок в серебристых чиях, как рыбы

в нересте, плывущие в верховья по реке — все в одну сторону и все неотличимые друг от друга. Во взоре Акбары, однако, сквозило свое понятие вещей: пусть удаляются сейчас сайгаки, придет день урочный, все, что есть в саванне, никуда из нее не уйдет. Волчата же тем временем стали надоедать отцу, пытаясь растормошить угрюмца Ташчайнара.

А Акбара представила себе вдруг зимы начало, великую полупустыню, в один прекрасный день сплошь белую на рассвете от новоявленного снега, которому срок на земле день или полдня, но тот снег — сигнал волкам к большой охоте. С того дня охота на сайгаков станет главным делом в их житье. И грянет тот день! С туманцем понизовым, с морозным инеем на грустных белых чиях, на подогнувшихся от снега кустистых тамарисках и с дымным солнцем над саванной — волчица представила себе тот день так явственно, что вздрогнула невольно, как будто бы вдохнула нечаянно морозный воздух, как будто бы ступила упругими подушечками лап, сомкнутыми в цветочные созвездия, на снежный наст и совершенно четко прочла сама и свои матерые следы и следы волчат, уже подросших, окрепших и определивших свои наклонности,

что можно было видеть уже по следам, и рядом самые крупные отпечатки — могучие соцветия с когтями, как с клювами, чуть выступающими из гнезд, — от лап Ташчайнара, они всех глубже и всех сильней промнутся в снег, ибо Ташчайнар здоров, тяжеловат в подгрудке, он — сила, он молниеносный нож по глоткам антилоп, и всякая настигнутая сайга окрасит белый снег саванны током алой крови, как птица взмахом горячих красных крыльев, ради того, чтобы жила другая кровь, сокрытая в их серых шкурах, ибо их кровь живет за счет другой крови — так поведено началом всех начал, иного способа не будет, и тут никто не судия, поскольку нет ни правых, ни виноватых, виновен только тот, кто сотворил одну кровь для другой. (Лишь человеку дан иной удел: хлеб добывать в труде и мясо взращивать трудом — творить для самого себя природу.)

А те следы по первоснегу Моюнкумов — соцветия волчьи, большие и чуть поменьше, потянутся рядком в тумане понизовом и остановятся в подветренной лощине среди кустов — здесь волки подождут, осмотрятся, оставят тех, кому в засаде быть…

Но вот час вожделенный приближается — Акбара подкрадется, насколько можно подползти,

пластаясь по снегу, прижимаясь к обледенелым травам, не дыша приблизится к пасущимся сайгакам так близко, что увидит их глаза, не всполошенные еще, и кинется затем внезапно, как тень, — и грянет звездный час волка! Акбара так живо представила себе ту первую облаву — урок молодняку, что взвизгнула невольно и едва удержалась на месте.

Ах как пойдет погоня по саванне первозимней! Сайгачьи стада прочь понесутся стремглав как от пожара, и белый снег вмиг прочертится черным земляным шрамом, и она, Акбара, за ними следом, идущая всех впереди, а за нею, почти впритык, ее волчата, молодые волки, все трое первенцев, ее потомство, что изначальное предназначение и явило на свет ради такой охоты, а за ними ее Ташчайнар, отец могучий, неукротимый в беге, преследующий лишь одну цель — загнать сайгаков так, чтобы погнать на засаду и тем преподнести урок охоты отпрыскам своим. Да, то будет неукротимый бег! И в устремленности грядущей не столько сама добыча была желанна в тот час Акбаре, сколько то, чтобы поскорее охота состоялась, когда бы понеслись они в степной погоне подобно птицам быстрокрылым… В этом смысл ее волчьей жизни…

То были мечты волчицы, внушенные ее природой, кто знает, может быть, ниспосланные ей свыше, мечты, которым суждено будет позднее вспомниться горько, до боли в сердце, и сниться часто и безысходно… И будет вой волчицы как плата за те мечты. Ведь все мечты так — вначале рождаются в воображении, а затем по большей части терпят крушение за то, что посмели произрастать без корней, как иные цветы и деревья… И ведь все мечты так — и в том их трагическая необходимость в познании добра и зла…

III

Зима вошла в Моюнкумы. Однажды уже выпадал снег, достаточно обильный для полупустыни, — тот снег забелил ненадолго всю саванну, явившуюся самой себе в то утро белым безбрежным океаном с застывшими на бегу волнами, где есть где разгуляться ветру и перекати-полю и где наконец установилась такая тишина, как в космосе, как в бесконечности, поскольку пески успели напиться влаги, а увлажненные такыры смягчились, утратив свою жесткость… А перед этим над саванной прогоготали гусей осенних косяки, так высоко и звонко пролетали они в сторону Гималаев над Моюнкумскими степями, отправляясь с летовок от северных морей и рек на юг, к исконным водам Инда и Брахмапутры, что, будь у обитателей саванны крылья, все поддались бы зову. Но каждой твари свой рай предопределен… Даже степные коршуны, парившие на той высоте, и те лишь уклонялись в сторону…

А у Акбары к зиме волчата заметно поднялись и, утратив неразличимость детскости, все трое превратились в угловатых переростков, но уже каждый со своим норовом. Понятно, волчица не

могла дать им имена: раз богом не определено, не переступишь, зато по запаху, что людям не дано, и по другим живым приметам она легко могла и отличить и звать к себе в отдельности любого из своего потомства. Так, у самого крупного из волчат был широкий, как у Ташчайнара, лоб, и воспринимался он потому как Большеголовый, а средний, тоже крупнячок, с длиннющими ногами-рычагами, которому быть бы со временем волком-загонщиком, тот воспринимался Быстроногим, а синеглазая, точь-в-точь как сама Акбара, и с белым пятном в паху, как у самой Акбары, игривая любимица Акбары значилась в ее сознании бессловесном Любимицей. То подрастал предмет раздора и смертельных схваток среди самцов, едва придет ее любовная пора…

А первый снег, выпавший незаметно за ночь, тем ранним утром был праздником нечаянным для всех. Вначале волчата-переростки оробели было от запаха и вида незнакомого вещества, преобразившего всю местность вокруг логова, а потом понравилась им прохладная отрада и закрутились, забегали вокруг наперегонки, барахтались в снегу, фыркали и взлаивали от удовольствия. Так начиналась та зима для первенцев, в конце которой им предстояло рас-

статься с волчицей-матерью, волком-отцом и друг с другом, расстаться для новой жизни каждого из них.

К вечеру снег еще подсыпал, и на другое утро еще до восхода солнца в степи было уже светло и прозрачно, как днем. Покой и тишина разлились всюду, и острый голод по-зимнему дал о себе знать. Волчья стая прислушивалась к округе — пора было на промысел, добывать прокорм. Акбара ждала для облавы на сайгаков сообщников из других стай. Пока что никто не дал об этом знать. Все слушали и ждали тех сигналов. Вот Большеголовый сидит в нетерпеливом напряжении, еще не ведая, какие тяготы несет охота, вот Быстроногий тоже наготове, а вот Любимица — глядит в синие глаза волчицы преданно и смело, а рядом прохаживается отец семейства — Ташчайнар. И все ждали, как повелит Акбара. Но был над ними еще верховный царь — царь Голод, царь утоления плоти.

Акбара встала с места и двинулась трусцой, ждать дальше было некогда. И все последовали за ней.

Все начиналось примерно так, как грезилось волчице, когда волчата были еще малы. И вот то время наступило — самая пора для групповых

облав в степи. Пройдет еще немного времени, и с холодами одинокие волки сколотятся в волчьи артели и до конца зимы будут промышлять сообща.

Тем временем Акбара и Ташчайнар уже вели своих перворожденных на испытание, на первую для них великую охоту на сайгаков.

Волки шли, прилаживаясь к степи, то шагом, то трусцой, печатая на том нетронутом снегу цветы следов звериных как знаки силы и сплоченной воли, где пригибаясь шли среди кустов, а где скользили, как тени. И все теперь зависело от них самих и от удачи…

Акбара походя взбежала на один пригорок, чтобы оглядеться, и замерла, вглядываясь в дали синими глазами и запахи ветра перебирая нюхом. Великая саванна пробуждалась, насколько хватало глаз, в тумане легком виднелись стада сайгаков — то были крупные скопления поголовья с молодняком-годовиком, который отделялся в ту пору в новые стада. Тот год был приплодным для сайгаков, стало быть, благоприятным и для волков.

Волчица задержалась на том взлобке, поросшем чием, чуть подольше: требовалось сделать выбор наверняка — определить по ветру, куда,

в какую сторону податься, чтобы безошибочно начать охоту.

И именно в тот момент послышался вдруг странный гул откуда-то со стороны и сверху, какое-то гудение пошло над степью, но вовсе не похожее на громыхание грозы. Тот звук был совершенно незнаком, и он все рос и рос так, что и Ташчайнар не удержался и тоже выскочил наверх к волчице, и оба попятились от страха — на небе что-то происходило, там появилась какая-то невиданная птица, чудовищно грохочущая, она чуть кособоко летела над саванной, едва не зарываясь носом, а за ней на отдалении летела еще одна такая же махина. Затем они удалились, и постепенно шум затих. То были вертолеты.

Итак, два вертолета пересекли небо Моюнкумов, как рыбы, не оставляющие следов в воде. Однако ни наверху, ни внизу ничто не изменилось, если не считать того факта, что то была разведка с воздуха, что в эфир в тот час шли открытым текстом радиосообщения пилотов о том, что они видели и где, в каких квадратах, какие есть подъездные пути по Моюнкумам для вездеходов и прицепных грузовиков…

А волки, что ж, какой с них спрос, пережив сиюминутное смятение, они вскоре забыли о вер-

толетах и снова затрусили по степи к сайгачьим урочищам, не ведая ни сном ни духом, поскольку им то не дано, что все они, все обитатели саванны, уже замечены, уже отмечены на картах в пронумерованных квадратах и обречены на массовый отстрел, что их погибель уже спланирована, и скоординирована, и уже катится к ним на многочисленных моторах и колесах…

Откуда было знать им, степным волкам, что их исконная добыча — сайгаки — нужна для пополнения плана мясосдачи, что ситуация в конце последнего квартала «определяющего года» сложилась для области весьма нервозная — «не выходили с пятилеткой» и кто-то разбитной из облуправления вдруг предложил «задействовать» мясные ресурсы Моюнкумов: идея же сводилась к тому, что важно не только производство мяса, а фактическая мясосдача, что это единственный выход не ударить лицом в грязь перед народом и перед взыскательными органами свыше. Откуда было знать им, степным волкам, что из центров в области шли звонки; требование момента — хоть из-под земли, но дать план мясосдачи, хватит тянуть: год, завершающий пятилетку, что скажем мы народу, где план, где мясо, где выполнение обязательств?

«План будет непременно, — отвечало облуправление, — в ближайшую декаду. Есть дополнительные резервы на местах, поднажмем, потребуем...»

А степные волки тем часом, ничего не подозревая, старательно подкрадывались окольными путями к заветной цели, ведомые все той же волчицей Акбарой, бесшумно ступая по мягкому снегу, приблизились к последнему рубежу перед атакой, к высоким комлям чиев и затерялись среди них, напоминая такие же буроватые кочки. Отсюда Акбариным волкам все было видно как на ладони. Бессчетное стадо степных антилоп — все как на подбор одной от сотворения мира масти, белобокие, с каштановым хребтом, — паслось, пока не ведая опасности, в широкой тамарисковой долине, жадно поедая подкожный ковыль со свежим снегом. Акбара пока еще выжидала, необходимо было выждать, чтобы перед броском собраться с духом, и всем разом выскочить из укрытия, и с ходу кинуться в погоню, а уж тогда облава сама подскажет маневр. Молодые волки от нетерпения судорожно подергивали хвостами и ставили уши торчком, вскипала кровь и у сдержанного Ташчайнара, готового вонзить клыки в настигнутую жертву, но Акбара, пряча пламень

в глазах, не давала пока знака к рывку, ждала наиболее верного момента — только тогда можно было рассчитывать на успех: сайгаки в один миг берут такой разбег, который немыслим ни для одного зверя. Надо было уловить этот момент.

И тут поистине точно гром с неба — снова появились те вертолеты. В этот раз они летели слишком скоро и сразу пошли угрожающе низко над всполошившимся поголовьем сайгаков, дико кинувшихся вскачь прочь от чудовищной напасти. Это произошло круто и ошеломительно быстро — не одна сотня перепуганных антилоп, обезумев, потеряв вожаков и ориентацию, поддалась беспорядочной панике, ибо не могли эти безобидные животные противостоять летной технике. А вертолетам точно только того и надо было — прижимая бегущее стадо к земле и обгоняя его, они столкнули его с другим таким же многочисленным поголовьем сайгаков, оказавшимся по соседству, и, вовлекая все новые и новые встречные стада в это моюнкумское светопреставление, сбивали с толку панически бегущую массу степных антилоп, что еще больше усугубило бедствие, обрушившееся на парнокопытных обитателей никогда ничего подобного не знавшей саванны. И не только парнокопытные,

но и волки, их неразлучные спутники и вечные враги, оказались в таком же положении.

Когда на глазах Акбары и ее стаи случилось это жуткое нападение вертолетов, волки сначала притаились, от страха вжимаясь в корневища чиев, но затем не выдержали и бросились наутек от проклятого места. Волкам надо было исчезнуть, унести ноги, двинуться куда-нибудь в безопасное место, однако именно этому не суждено было осуществиться. Не успели они отбежать подальше, как послышалось содрогание и гудение земли, как в бурю, — неисчислимая сайгачья масса, гонимая по степи вертолетами в нужном им направлении, со страшной скоростью катилась вслед за ними. Волки, не успев ни свернуть, ни притаиться, оказались на пути живого всесокрушающего потока громадного, набегающего, точно туча, поголовья. И если бы они на секунду приостановились, то неминуемо были бы растоптаны и раздавлены под копытами сайгаков, настолько стремительна была скорость этой плотной, потерявшей всякий контроль над собой животной стихии. И только потому, что волки не сбавили шагу, а, наоборот, в страхе припустили еще сильнее, они остались в живых. И теперь уже они сами оказались в плену, в гуще этого велико-

го бегства, невероятного и немыслимого, — если вдуматься, ведь волки спасались вместе со своими жертвами, которых они только что готовы были растерзать и растащить по кускам, теперь же они уходили от общей опасности бок о бок с сайгаками, теперь они были равны перед лицом безжалостного оборота судьбы. Такого — чтобы волки и сайгаки бежали в одной куче — Моюнкумская саванна не видывала даже при больших степных пожарах.

Несколько раз Акбара пыталась выскочить из потока бегущих, но это оказалось невозможным — она рисковала быть растоптанной мчащимися бок о бок сотнями антилоп. В этом бешеном убийственном галопе Акбарины волки пока еще держались кучно, и Акбара пока еще могла видеть их краем глаза — вот они среди антилоп, распластавшись, ускоряют бег, ее первые отпрыски, выкатив от ужаса глаза, — вот Большеголовый, вот Быстроногий, и едва поспевает, все больше слабея, Любимица, а вместе с ними и он обращен в панический бег — гроза Моюнкумов, ее Ташчайнар. Разве об этом мечталось синеглазой волчице — а теперь вместо великой охоты они бегут в стаде сайгаков, бессильные что-либо предпринять, уносимые сайгаками, как щенки

в реке… Первой сгинула Любимица. Упала под ноги стада, только визг раздался, заглушенный мгновенно топотом тысяч копыт…

А вертолеты-облавщики, идя с двух краев поголовья, сообщались по рации, координировали, следили, чтобы оно не разбежалось по сторонам, чтобы не пришлось снова гоняться по саванне за стадами, и все больше нагнетали страху, принуждая сайгаков бежать тем сильней, чем сильней они бежали. В шлемофонах хрипели возбужденные голоса облавщиков: «Двадцатый, слушай, двадцатый! А ну поддай жару! Еще поддай!» Им, вертолетчикам, сверху было прекрасно видно, как по степи, по белой снежной пороше катилась сплошная черная река дикого ужаса. И в ответ раздавался бодрый голос в наушниках: «Есть поддать! Ха-ха-ха, глянь-ка, а среди них и волки бегут! Вот это дело! Попались серые! Крышка, братишки! Это вам не „Ну, погоди!“.

Так они гнали облаву на измор, как и было рассчитано, и расчет был точный,

И когда гонимые антилопы хлынули на большую равнину, их встретили те, для которых старались с утра вертолеты. Их поджидали охотники, а вернее, расстрельщики. На вездеходах-«уазиках» с открытым верхом расстрельщики

погнали сайгаков дальше, расстреливая их на ходу из автоматов, в упор, без прицела, косили как будто сено на огороде. А за ними двинулись грузовые прицепы — бросали трофеи один за одним в кузова, и люди собирали дармовой урожай. Дюжие парни не мешкая, быстро освоили новое дело, прикалывали недобитых сайгаков, гонялись за ранеными и тоже приканчивали, но главная их задача заключалась в том, чтобы раскачать окровавленные туши за ноги и одним махом перекинуть за борт! Саванна платила богам кровавую дань за то, что смела оставаться саванной, — в кузовах вздымались горы сайгачьих туш.

А побоище длилось. Врезаясь на машинах в гущу загнанных, уже выбивающихся из сил сайгаков, отстрельщики валили животных направо и налево, еще больше нагнетая панику и отчаяние. Страх достиг таких апокалипсических размеров, что волчице Акбаре, оглохшей от выстрелов, казалось, что весь мир оглох и онемел, что везде ноцарился хаос и само солнце, беззвучно пылающее над головой, тоже гонимо вместе с ними в этой бешеной облаве, что оно тоже мечется и ищет спасения и что даже вертолеты вдруг онемели и уже без грохота и свиста без-

звучно кружатся над уходящей в бездну степью, подобно гигантским безмолвным коршунам… А отстрельщики-автоматчики беззвучно палили с колена, с бортов «уазиков», и беззвучно мчались, взлетая над землей, машины, беззвучно неслись обезумевшие сайгаки и беззвучно валились под прошивающими их пулями, обливаясь кровью… И в этом апокалипсическом безмолвии волчице Акбаре явилось лицо человека. Явилось так близко и так страшно, с такой четкостью, что она ужаснулась и чуть не попала под колеса. «Уазик» же мчался бок о бок, рядом. А тот человек сидел впереди, высунувшись по пояс из машины. Он был в стеклянных защитных — от ветра — наглазниках, с иссиня-багровым, исхлестанным ветром лицом, у черного рта он держал микрофон и, привскакивая с места, что-то орал на всю степь, но слов его не было слышно. Должно быть, он командовал облавой, и если бы в тот момент волчица могла услышать шумы и голоса и если бы она понимала человеческую речь, то услышала бы, что он кричал по рации: «Стреляйте по краям! Бейте по краям! Не стреляйте в середину, потопчут, чтоб вас!» Боялся, что туши убитых сайгаков будут истоптаны бегущим следом поголовьем…

И тут человек с микрофоном заметил вдруг,

что рядом, чуть не бок о бок с машиной среди спасающихся бегством антилоп скачет волк, а за ним еще несколько волков. Он дернулся, что-то заорал хрипло и злорадно, бросил микрофон и выхватил винтовку, перекидывая ее на руку и одновременно перезаряжая. Акбара ничего не могла поделать, она не понимала, что человек в стеклянных наглазниках целится в нее, а если бы и понимала, все равно ничего не смогла бы предпринять — скованная облавой, она не могла ни увильнуть, ни остановиться, а человек все целился, и это спасло Акбару. Что-то резко ударило под ноги, волчица перекувырнулась, но тут же вскочила, чтобы не быть растоптанной, и в следующее мгновение увидела, как высоко взлетел в воздух подстреленный на бегу ее Большеголовый, самый крупный из ее первенцев, как он, обливаясь кровью, медленно падал вниз, медленно перекидываясь на бок, вытягивался, суча лапами, возможно, исторгнул крик боли, возможно, предсмертный вопль, но она ничего не слышала, а человек в стеклянных наглазниках торжествующе потрясал винтовкой над головой, и в следующее мгновение Акбара уже перескочила через бездыханное тело Большеголового, и тут вновь ворвались в ее сознание звуки реального

мира — голоса, шум облавы, несмолкающий грохот выстрелов, пронзительные гудки автомашин, крики и вопли людей, хрип агонизирующих антилоп, гул вертолетов над головой… Многие сайгаки падали с ног и оставались лежать, били копытами, не в силах двигаться, задыхались от удушья и разрыва сердца. Их прирезали на месте подборщики туш, наотмашь полоснув по горлу, и, раскачав за ноги, судорожно дергающихся, полуживых кидали в кузова грузовиков. Страшно было смотреть на этих людей в облитой кровью с головы до ног одежде…

Если бы с небесных высей некое бдительное око глядело на мир, оно наверняка увидело бы, как происходила облава и чем она обернулась для Моюнкумской саванны, но и ему, пожалуй, не дано было знать, что из этого последует и что еще замышляется…

Облава в Моюнкумах кончилась лишь к вечеру, когда все — и гонимые и гонители — выбились из сил и в степи стало смеркаться. Предполагалось, что на другой день с утра вертолеты, заправившись, вернутся с базы и облава возобновится; предполагалось, что такой работы здесь хватит еще дня на три, на четыре, если верить тому, что в западной, самой песчаной части Моюнкумских

степей находится, по предварительному вертолетно-воздушному обследованию, еще много непуганых сайгачьих стад, официально именуемых невскрытыми резервами края. А поскольку существовали невскрытые резервы, из этого неминуемо вытекала необходимость скорейшего вовлечения в плановый оборот упомянутых резервов в интересах края. Таково было сугубо официальное обоснование моюнкумского «похода». Но, как известно, за всякими официальными заключениями всегда стоят те или иные жизненные обстоятельства, определяющие ход истории. А обстоятельства — это в конечном счете люди, с их побуждениями и страстями, пороками и добродетелями, с их непредсказуемыми метаниями и противоречиями. В этом смысле моюнкумская трагедия тоже не была исключением. В ту ночь в саванне находились люди — вольные или невольные исполнители этого злодеяния.

А волчица Акбара и ее волк Ташчайнар, уцелевшие из всей стаи, трусили впотьмах по степи, пытаясь удалиться как можно дальше от мест облавы. Передвигаться им было трудно — вся шерсть на подбрюшине, в промежностях и почти до крестца промокла от грязи и слякоти. Израненные, избитые ноги горели, как обожженные,

каждое прикосновение к земле причиняло боль. Больше всего им хотелось вернуться в привычное логово, забыться и забыть, что обрушилось на их бедовые головы.

Но и тут им не повезло. Уже на подходе к логову они неожиданно наткнулись на людей. С края родной ложбины, вклинившись в низенькую, ниже колес, тамарисковую рощицу, возвышалась громада грузовой автомашины. В темноте возле грузовика слышались человеческие голоса. Волки немного постояли и молча повернули в открытую степь. И почему-то именно в этот момент, прорезая тьму, мощно вспыхнули фары. И хотя они светили в противоположную сторону, этого оказалось достаточно. Волки припустили, прихрамывая и прискакивая, и понеслись куда глаза глядят. Акбара особенно тяжело припадала на передние лапы… Чтобы перетруженные ноги остужались, она выбирала места, где уцелел утренний снег. Печально и горько тянулись по снегу скомканные цветы ее следов. Волчата погибли. Позади осталось недоступное теперь логово. Там теперь были люди…

Их было шестеро, шестеро вместе с водителем Кепой, шестеро сведенных случаем людей, подборщиков битой дичи, заночевавших в тот день в

саванне, с тем чтобы с утра пораньше приняться за дело, оказавшееся столь выгодным, — полтинник за штуку. Хоть и набили они уже три кузова, далеко не всех пристреленных и задавленных в облаве сайгаков удалось собрать засветло. Наутро предстояло найти оставшихся, побросать их за борт для отправки и перегрузки на прицепной транспорт, который увозил добычу под брезентами из зоны Моюнкумов.

В тот вечер очень рано выкатилась над горизонтом луна, достигшая полной округлости и отовсюду видимая в блеклой, местами еще приснеженной степи. Лунный свет то высветлял, то затенял деревца, овраги, взлобки саванны. Но резкий силуэт огромной грузовой машины, столь непривычной в этих безлюдных местах, долго еще нагонял страху на волков: оглянувшись назад, они всякий раз поджимали хвосты и прибавляли ходу. И тем не менее они останавливались и снова вглядывались напряженно, как бы пытаясь проникнуть в суть происходящего, — что делают люди на месте их старого логова, почему они там остановились и долго ли еще будет стоять там эта громадная, пугающая их машина. То был, кстати, МАЗ — вездеход военного исполнения, с брезентовым верхом, с колесами

столь мощными, что им, казалось, еще сто лет не будет износа. В кузове машины среди десятка битых сайгачьих туш, оставленных для отправки на завтра, лежал человек, руки его были связаны, точно его взяли в плен. Он чувствовал, как все больше остывают и затвердевают лежащие рядом туши сайгаков. И все-таки их шкуры согревали его, а иначе ему пришлось бы худо. В проеме брезентового шатра над кузовом виднелась луна, он смотрел на большую луну, как в пустоту, на его бледном лице было написано страдание.

Теперь участь его зависела от людей, вместе с которыми он прибыл сюда, как полагали они, подобно им подзаработать на моюнкумской облаве…

Трудно установить, что такое людская жизнь. Во всяком случае, бесконечные комбинации всевозможных человеческих отношений, всевозможных характеров настолько сложны, что никакой сверхсовременной компьютерной системе не под силу сынтегрировать общую кривую самых обычных человеческих натур. И эти шестеро, а точнее пятеро, поскольку шофер вездехода Кепа, приданный им как водитель, был сам по себе, к тому же он единственный среди них был человеком семейным, хотя, по сути,

очень даже близким по духу, неотличимым от других, — словом, эти шестеро могли служить примером тому, что бывают и противоположные случаи, когда можно обойтись и без компьютерного интегрирования, а также и тому, что пути господни неисповедимы, когда речь идет о пусть даже самом пустяковом коллективе людей. Значит, так было угодно Господу, чтобы все они оказались людьми поразительно однозначными. По крайней мере, когда они только выехали в Моюнкумы…

Прежде всего это были люди бездомные, перекати-поле, кроме, разумеется, Кепы: у троих из них ушли жены, все они были в той или иной степени неудачниками, а следовательно, были по большей части озлоблены на мир. Исключением мог считаться разве что самый молодой из них со странным, ветхозаветным именем Авдий — упоминался такой в Библии в Третьей Книге Царств, — сын дьякона откуда-то из-под Пскова, поступивший после смерти отца в духовную семинарию как подающий надежды отпрыск церковного служителя и через два года изгнанный оттуда за ересь. И теперь он лежал в кузове МАЗа со связанными руками в ожидании расплаты за попытку, по определению самого Обера, бунта

на корабле.

Все они, за исключением Авдия, были завзятыми или, как они еще величали себя, профессиональными алкоголиками. Опять же вряд ли в их число входил Кепа, как-никак права водительские приходилось беречь, не то жена бы ему глаза повыцарапала, но в Моюнкумах в ту ночь он таки крепко поддал, не хуже, чем другие, а под сомнением в этом смысле опять же оказался Авдий-Авдюха — ему-то что, скитальцу, ан нет, тоже заартачился, не стал пить, чем вызвал еще большую ненависть Обера.

Обер — так для краткости велел он именовать себя подчиненным ему подборщикам туш, имея в виду, наверно, что слово это означало старший, а он и в самом деле до разжалования был старшиной дисциплинарного батальона. Когда его разжаловали, доброжелатели сокрушались, что он-де погорел за служебное усердие, так же считал и он сам, глубоко задетый в душе несправедливостью начальства, однако о подлинной причине изгнания своего из армии предпочитал не распространяться. Да и ни к чему это было, дело прошлое. В действительности фамилия Обера была Кандалов, а изначально, возможно, и Хандалов, но это никого не волновало — Обер он

и есть обер в полном смысле этого слова.

Вторым лицом в этой хунте — а хунтой они окрестили свою команду с общего согласия, — единственным, кто слабо возразил, был Гамлет-Галкин, бывший артист областного драматического театра: «Ну ее к шутам, хунту, не люблю я, ребята, хунты. Мы ведь отправляемся на сафару, пусть мы будем сафарой!» — но к его предложению никто не присоединился, возможно, малопонятная «сафара» проигрывала на фоне энергичной «хунты», — так вот вторым лицом хунты оказался некто Мишаш, а если полностью — Мишка-Шабашник, тип, надо сказать, бычьей свирепости, который мог послать куда подальше даже самого Обера. Привычка Мишаша приговаривать по каждому поводу «бля» была для него что вдох, что выдох. Идею связать и бросить Авдия в кузов машины подал именно он. Что и было незамедлительно проделано хунтой.

Самое скромное место в этой хунте занимал артист Гамлет-Галкин, спившийся, преждевременно сошедший со сцепы и перебивавшийся случайными заработками, а тут как раз подвернулась такая пожива — кидай за ноги в кузов каких-то то ли антилоп, то ли сайгаков, какая ему разница, и получай столько, сколько за ме-

сяц не заработаешь, и вдобавок еще премию от Обера, хоть и за счет отчислений от всего подряда, — ящик водки на всю братию. И наконец, самый покладистый и безобидный среди них — местный малый из ближайших моюнкумских окрестностей, Узюкбай, или попросту — Абориген. Абориген-Узюкбай, что в нем было бесценно, был начисто лишен самолюбия, все, что ни скажи ему, на все согласен и за бутылку водки готов двинуть хоть на Северный полюс. Краткая история Аборигена-Узюкбая сводилась к следующему. Прежде был трактористом, потом стал беспробудно пить, бросил трактор среди ночи на проезжей дороге, врезалась в него проходившая машина, погиб человек. Узюкбай отсидел пару лет, жена с детьми тем временем от него ушла, и он очутился в городе в качестве неучтенной рабсилы, подвизался грузчиком в продмаге, выпивал в подъездах, где и обнаружил его сам Обер, и Узюкбай последовал за ним без оглядки, да и не на что ему было оглядываться… Оберу-Кандалову нельзя было отказать — он действительно обладал социально ориентированным нюхом…

Вот так и сошлись они во главе с Обером-Кандаловым, и вот так на волне облавы объявились в Моюнкумской саванне…

И если говорить о судьбе и о судьбах, о разного рода житейских обстоятельствах, предопределяющих события, то, видит Бог, у Обера-Кандалова не было бы никаких забот с неудавшимся семинаристом Авдием, если бы тому довелось в свое время доучиться и дослужиться до рукоположения в соответствующий сан. Кстати, бывшие однокашники Авдия по семинарии, когда-то такие же легкомысленные, как и все ученики, выбрав однажды жизненный путь, оказались куда устойчивей, а самое главное — благоразумней, чем Авдий, сын покойного дьякона, и уже успешно продвигались после завершения духовного образования по ступеням церковной карьеры. Будь в их числе и Авдий — а поначалу он значился среди наиболее высокоодаренных, любимых отцами-богословами юношей, — тогда Оберу-Кандалову и Авдию вряд ли пришлось встретиться, хотя бы потому, что Обер-Кандалов искренне считал попов недоразумением времени и никогда в жизни не переступал церковного порога даже из любопытства.

Если бы да кабы… Однако кто мог знать, что такое произойдет. Если бы знать наперед… Но кто у кого просит заполнить анкету, когда вербует на один выезд — отправиться за компанию

подзаработать. Это же все равно что поехать с коллективом на картошку. Разве что вместо клубней предстояло собирать убитых на облаве животных… Знал бы Обер-Кандалов, что повстречавшийся ему на вокзале скиталец Авдий — чокнутый, ненормальный, не пришлось бы ему в моюнкумских песках ломать себе голову, как с ним поступить, куда его девать, как избавиться без вреда для себя от этого дикого Авдия, едва не сорвавшего все то, что он устраивал с таким усердием, посредством чего надеялся реабилитировать свое прошлое. Кто бы мог подумать, что таким странным, невероятным, причем глупым образом все свяжется в один узел. От этих мыслей Оберу-Кандалову очень хотелось выпить, что называется, ударить по-черному, а он здорово это умел — полстакана залпом, потом еще и еще полстакана, оглушить, взвинтить себя так, чтобы никаких тебе преград, чтобы полностью сознание отшибить… и тогда дать по мозгам… Но и этого он боялся, потому что знал, как тяжко будет потом…

И откуда он взялся, этот Авдий, на его голову! И опять, если говорить о судьбе и судьбах, о разного рода жизненных обстоятельствах, предопределяющих причины других событий, то все это завязывалось задолго до этого и вдали отсюда…

Изгнанный из духовной семинарии как еретик-новомысленник, Авдий работал в ту пору внештатным сотрудником областной комсомольской газеты. Редакция газеты была заинтересована в нем, в недавнем семинаристе, недурно пишущем на любимые читателями темы. Преданный церковью анафеме, он был выгоден для наглядной антирелигиозной пропаганды. Несостоявшегося семинариста, в свою очередь, заинтересовала возможность выступать в молодежной печати на близкие ему морально-нравственные темы. Пропускаемые при этом на страницы газеты его несколько непривычные размышления безусловно привлекали читателей, и не только молодых, особенно на фоне заунывно-дидактических призывов и социальных заклинаний, захлестнувших областную печать. И пока вроде бы взаимные интересы соблюдались, но мало кто знал, а вернее, за исключением одной души, никто не знал, какие помыслы вынашивал этот молодой, да ранний обновленец. Авдий Каллистратов надеялся со временем, с упрочением своего журналистского имени, найти некую приемлемую форму, некую пограничную идеологическую полосу, позволившую бы ему высказывать столь актуальные

и столь жизненно важные, по его убеждению, новомысленнические представления о Боге и человеке в современную эпоху в противовес догматическим постулатам архаичного вероучения. Вся смехотворность заключалась в том, что перед ним стояли две абсолютно неприступные и несокрушимые крепости, сила которых зиждется на их обоюдной незыблемости и тотальной взаимонеприемлемости: с одной стороны — неподвластные времени, тысячелетние неизменные пасхальные концепции, ревностно оберегающие чистоту вероучения от каких бы то ни было, пусть даже благонамеренных новомыслей, и с другой стороны — в корне отвергающая религию как таковую могучая логика научного атеизма. А он, несчастный, между ними был все равно как между жерновами. И, однако, в нем горел свой огонь. Обуреваемый собственными идеями «развития во времени категории Бога в зависимости от исторического развития человечества», еретик Авдий Каллистратов надеялся, что рано или поздно судьба предоставит ему возможность приоткрыть людям суть своих умозаключений, ибо, как он полагал, все идет к тому, что людям и самим захочется узнать о своих отношениях с Богом в постиндустриальную эпоху,

когда могущество человека достигнет наикритической фазы. Умозаключения Авдия носили пока не устоявшийся, дискуссионный характер, но и такой свободы мысли официальное богословие не простило ему, и, когда он отказался покаяться в ереси новомыслия, чины епархии изгнали его из духовной семинарии.

У Авдия Каллистратова было бледное высокое чело; как многие люди его поколения, он носил волосы до плеч и отпустил плотную каштановую бородку, что, впрочем, если и не очень украшало, зато придавало его лицу благостное выражение. Серые навыкате глаза его лихорадочно поблескивали, в них выражался непокой духа и мысли, который был присущ его натуре, что приносило ему великую отраду от собственных постижений, а также многие тяжкие страдания от окружающих людей, к которым он шел с добром…

Ходил Авдий большей частью в клетчатых рубашках, в свитере и джинсах, в холод натягивал пальтецо и старую меховую шапку, еще отцовскую. Таким он и появился в Моюнкумской саванне…

И то, что он валялся в тот час связанный в кузове машины, наводило его на разные горькие мысли. Но острей всего он чувствовал в этот раз

свое одиночество. Ему припомнилось полузабытое изречение какого-то восточного поэта:

И среди тысячной толпы – ты одинок,
и находясь с собой наедине – ты одинок.

И тем горше и мучительнее думалось ему о ней, о той, которая с некоторых пор стала самым близким существом на свете, постоянно сопутствующим ему в мыслях, как ипостась его собственной сути, — и в этот час он не мог отделить ее от себя, не мог не обращать к ней свои чувства и переживания, и если действительно существует телепатия как сверхчувственное общение близких натур в особо напряженном состоянии, она непременно должна была в ту ночь испытывать странное томление духа и предощущение беды…

Теперь ему наконец открылась справедливость парадоксальных слов все того же восточного поэта, над которыми он прежде посмеивался, не верил, что можно утверждать: «Пусть не полюбится тому, кто истинно любить предрасположен…» Что за чушь! А теперь он тихо плакал, думая о ней, сознавая, что, не знай он о ее существовании, не люби ее так затаенно и отчаянно, как собственную жизнь перед смертью, не было

бы этой неутихающей боли, этой тоски, этого необоримого, безумного и мучительного желания немедленно, тотчас же вырваться, освободиться и бежать к ней среди ночи через саванну на ту затерянную в трансконтинентальной протяженности железной дороги станцию Жалпак-Саз, чтобы очутиться, как и тогда, хоть на полчаса, возле ее дверей, в том прибольничном домике на границе великих пустынь, в котором она живет… Но не в силах освободиться, Авдий проклинал свою, возможно, и ненужную ей преданность — ведь именно ради нее он вернулся, приехал во второй раз в эти азиатские края, очутился здесь, в Моюнкумах, где и лежал теперь связанный, оскорбленный и униженный. Но его чувства к ней были тем острей, чем неосуществимей было желание видеть ее, тем мучительнее было сознание одиночества, и чувства эти открывали ему вместе с тем и всю благость слияния с Богом, ибо теперь ему открылось, что Бог, являя себя через любовь, дарует тем самым человеку наивысшее счастье бытия, и щедрость Бога тут бесконечна, как бесконечно течение времени, а предназначение любви неповторимо в каждом случае и в каждом человеке…

— Слава Всевышнему! — прошептал он, глядя

на луну, и подумал: «Если бы она знала, как велика божья милость, когда он вселяет в сердце любовь...»

И тут возле машины раздались шаги, и кто-то, сопя и рыгая, полез в кузов. То был Мишаш, а вслед за ним показалась и голова Кепы. Кажется, они уже успели поддать — резко шибануло в нос водкой.

— Ты что, бля, лежишь? А ну давай поднимайся, сука-поп, Обер требует тебя на ковер, перевоспитывать будет, — говорил Мишаш, как медведь в берлоге, продвигаясь через сайгачьи туши в машине.

Кепа, хихикая, в свою очередь добавил:

— Ковра не будет, на собственной заднице, на землице моюнкумской посидишь.

— Ковер ему еще, — пробасил Мишаш, отрыгивая, — да за такое дело, бля, в Сибирь! Охмурить нас задумал, чуть ли не монахами решил сделать, да не на тех, бля, нарвался!

IV

За это время Авдий Каллистратов отправил Инге Федоровне несколько писем на станцию Жалпак-Саз, и она отвечала ему до востребования на городскую почту, ибо к тому времени постоянного адреса у него уже не было. Матери он лишился еще в детстве, и отец его, дьякон Каллистратов, оставшись вдовцом, тратил всю свою доброту и немалую начитанность, и богословскую и светскую, на сына и дочь, что была старше Авдия на три года. Сестра Авдия, Варвара, уехала учиться в Ленинград, хотела поступить в педагогический институт, но ее там не приняли как дочь служителя культа, поскольку это открыло бы ей доступ к школьному обучению, и тогда она прошла по конкурсу в политехнический да так и осела в Ленинграде, вышла замуж, обзавелась семьей, и работала сейчас чертежницей в каком-то проектном институте. Авдию же дорога лежала в духовную сферу, этого хотел он сам, и этого очень хотел отец, особенно после истории с поступлением в пединститут дочери Варвары. Когда Авдий начал учиться в семинарии, дьякон Каллистратов ходил счастливый и гордый — он

радовался тому, что мечта его сбылась, что не напрасны были его труды и внушения, что Господь внял его мольбам. Вскоре, однако, он умер, и, возможно, в том была милость судьбы, ибо он не перенес бы той еретической метаморфозы, которая случилась с его сыном Авдием, увлекшимся новомыслием на поприще вечного, как мир, богословия — учения, данного раз и навсегда в бесконечности и неизменности божественной силы.

А когда Авдий Каллистратов стал сотрудничать в областной молодежной газете, та небольшая квартирка, в которой дьякон Каллистратов прожил с семьей многие годы, была затребована для вновь назначенного служителя церкви, а бывшему семинаристу Авдию Каллистратову предложили освободить ее как лицу, не имеющему никакого отношения к церкви.

Авдий вызвал в связи с этим сестру Варвару, чтобы она по своему усмотрению увезла в Ленинград нужные ей родительские вещи, в основном старинные иконы и картины, как память и наследство. Себе Авдий оставил отцовские книги. То была последняя встреча брата и сестры — у каждого была своя планида. Больше они не виделись, отношения их были вполне нормальные,

но жизненные пути разные. С тех пор Авдий жил на частных квартирах, сначала в отдельных комнатах, потом в углах, так как отдельные комнаты стали ему не по карману. Оттого-то и письма писались ему до востребования.

И именно в этот период наметилась первая поездка Авдия Каллистратова в Среднюю Азию от редакции областной комсомольской газеты. Непосредственным поводом к тому послужила идея Авдия изучить и описать пути и способы проникновения в молодежную среду европейских районов страны наркотического средства — анаши, растения, произрастающего в Средней Азии, Чуйских и Примоюнкумских степях. Анаша — родная сестра знаменитой марихуаны, особый вид дикой южной конопли, содержащей в листьях и особенно в соцветиях и пыльце сильнодействующие одурманивающие вещества, вызывающие при курении эйфорию, иллюзию блаженства, а с увеличением дозы фазу угнетения и вслед за этим агрессивность — форму невменяемости, опасную для окружающих.

Историю этой поездки Авдий Каллистратов подробно описал в своих путевых очерках, описал он, и как неожиданно столкнулся в степи с волчьим семейством, описал все пережитое — с

болью и тревогой, как очевидец, как гражданин, озабоченный распространением одурманивающего зелья. Но публикация очерков, вначале принятых в редакции на «ура», задержалась, а затем и вовсе остановилась.

Обо всех своих неудачах и переживаниях Авдий Каллистратов и писал Инге Федоровне, которую он считал даром судьбы, самым близким себе человеком, — ведь она, подобно реке, оживляла и воскрешала его для повседневного бытия. Вскоре он понял, что переписка с Ингой Федоровной — главное событие в его жизни и, возможно, то самое предназначение, которое оправдает его существование.

Отправив ей письмо, он затем жил этим, заново восстанавливая в памяти все написанное и как бы комментируя себя. То была странная форма общения на расстоянии — беспрерывное излучение во времени и пространстве его страждущей души.

> «…Потом я думал много дней, не шокировали ли Вас начальные слова моего письма: „Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!“ Я их привел, будучи воспитанным в этих традициях, они всегда служат

мне камертоном перед серьезным разговором, настраивая на молитвенное состояние духа, и я не стал изменять этому правилу, хотя я и лишний раз напомню Вам о своем происхождении из духовного сословия и семинаристском прошлом. Мое отношение к Вам не позволяет мне умалчивать о каких бы то ни было обстоятельствах, касающихся меня.

И еще думалось о том, что пишу на «Вы», а, расставаясь, мы были уже на «ты». Простите, но что-то произошло со мной, хотя я так недолго вдалеке от Вас. Впрочем, все чудаки пытаются найти себе какое-нибудь нелепое оправдание. Но это к слову. Позвольте все же на расстоянии обращаться к Вам на «Вы». Так я чувствую себя гораздо удобнее. А если нам суждено будет встретиться, о чем отныне мои затаенные и оттого особо сокровенные мечты (эти мечты мне как дети, я их взращиваю и не могу без них, представляю, какое счастье любить своих детей, если любить их, как мечту), а мечты эти родились как устремление духа к божественному совершенству,

вечно притягательному и бесконечному, так вот благодаря этим мечтам я, сам того не подозревая, противостою угрозе небытия, возможно, потому, что любовь – антитеза смерти, она потому и являет собой ключевой момент жизни вслед за таинством рождения, все это я повторяю, как заклинание, чтобы нам суждено было встретиться, и обещаю при встрече не утруждать Вас – обещаю обращаться на «ты». А пока так много есть чего сказать…

Инга Федоровна, Вы помните, надеюсь, что мы условились, как только появятся в газете мои материалы, ради которых я приезжал в Ваши края, незамедлительно слать их Вам авиапочтой. К сожалению, я не уверен, что мои очерки о юнцах-подростках, о гонцах за анашой и обо всем том, что связано с этим печальным явлением наших дней, появятся в ближайшее время. Я говорю наших дней, потому что анаша произрастала на этих землях, как сорная трава, с незапамятных времен, а лет пятнадцать тому назад – Вы сами знаете, да что же я рассказываю Вам, спе-

циалисту, но, простите, я все равно буду рассказывать, Инга Федоровна, именно Вам, и только это придает теперь какой-то смысл всему этому предприятию – так вот, лет пятнадцать тому назад, как утверждают местные жители, никто и не помышлял собирать эту злую штуку, или, как именуют ее анашисты, травку, ни для курения, ни для иного потребления. Это зло возникло совсем недавно, и в не малой степени под влиянием Запада. И вот теперь мне предлагают ограничиться какой-то докладной запиской в какие-то инстанции – это просто уму непостижимо. Понимаю, что тут особый разговор, ведь ложное опасение, что остросенсационный материал о наркомании среди молодежи – оговоримся для порядка: среди части малосознательной молодежи – причинит якобы ущерб нашему престижу, может вызвать лишь гнев и смех. Ведь это и есть страусовая политика… Зачем он нужен, этот престиж, если за него надо платить такую цену!

Представляю, Инга Федоровна, как Вы снисходительно улыбались, читая эти

строки, улыбались скорей всего моему наивному возмущению, а может быть, и наоборот, хмурились, что, кстати, Вам очень идет. Когда Вы хмуритесь, Ваше лицо становится чистым и глубоким как у юных монахинь, всерьез озабоченных постижением божественной сути, ведь подлинная красота этих невест христовых в их одухотворенности. Скажи я это вслух, да еще и в присутствии других людей, это выглядело бы попыткой лести. Но я уже сказал, что в моем отношении к Вам нет абсолютно ничего, что я должен был бы преуменьшать или преувеличивать. И если Ваш озабоченный лик вызывает у меня в памяти Богоматерь в живописи Возрождения, отнесите это в крайнем случае к моему недостаточному искусствоведческому опыту. Как бы то ни было, я уповаю на то, что Вы верите в мою искренность… Ведь с этого все началось – Вы поверили мне с первого слова и открыли для меня новую полосу жизни…»

* * *

Сегодня снова был в редакции газеты по поводу

своего материала, и опять то же самое — все на месте, никакого движения, никакого просвета. Никто не может толком объяснить, почему мои степные очерки, встреченные поначалу редакцией с таким ликованием, теперь ни у кого не вызывают энтузиазма, а ведь сколько откровенных признаний вызвали затронутые проблемы. Главный редактор газеты всячески избегает теперь встречи со мной, дозвониться ему невозможно, секретарша все ссылается на его занятость — то у него заседание, то планерка, то его вызвали в вышестоящие, как она любит подчеркивать, инстанции.

И снова я иду одиноко по знакомым улицам, как будто бы сторонний человек, случайно приехавший сюда, как будто бы я здесь не родился и не вырос, так пусто и отчужденно на душе моей. Иные знакомые со мной не здороваются — я для них церковный отлучник, изгнанный из семинарии еретик и прочее и прочее. И только одно греет мое сердце, одна желанная забота всегда со мной — мое письмо. Иду и думаю о том, что напишу, что в очередном письме я расскажу обо всем, что мне кажется интересным для нее, обо всем, что может дать мне повод поделиться с ней своими думами. Никогда не предполагал, что

думать о любимой женщине и писать ей письма станет смыслом моей жизни. Я только и жду хотя бы малейшей возможности поехать туда, где мы встретились. Скорей бы! Иду и думаю об этом. Наверно, и у других людей были такие дни, когда они тоже на какое-то время находили в любви главный смысл жизни и были ею счастливы, но в отличие от них я не перестану любить до самой смерти, и смысл моего житья будет только в этом…

Вот уже и листья падают на бульваре. А ведь то, о чем я писал, происходило в начале лета. Редакция в те дни приветствовала мою идею, торопила. Я же не предполагал, что, когда вопрос коснется дела, редакция уйдет в кусты. Не думал никак, что странный принцип — оповещать, в массовой печати только о том, что для нас благоприятно, престижно, — настолько силен.

А в те дни я больше был поглощен предстоящей мне длительной поездкой в незнакомые и притягательные для меня, провинциального россиянина, южные края. Замысел состоял в том, чтобы поехать не как сторонний наблюдатель, а как один из гонцов за анашой, влившись в их тайную компанию. Конечно, возрастом я постарше их, но не настолько старше с виду, чтобы

это настораживало. В редакции прикинули, что в старых джинсах и в разбитых кроссовках я вполне могу сойти за простецкого малого, если к тому же сбрею бороду. Так я и сделал — бороду на то время сбрил. Никаких записных книжек я с собой не брал, надеялся на память. Мне важно было проникнуть в ту среду, выяснить, почему именно эти ребята оказались туда вовлеченными, что двигало ими, кроме соблазна наживы и спекуляции; мне необходимо было изучить изнутри личные, социальные, семейные и не в последнюю очередь психологические моменты этого явления.

С тем я и приготовился. Это было в мае. Именно в это время начинает цвести конопля-анаша, и именно в эти дни приступают к сбору ее цвета те, кто специально отправляется за этим зельем в Примоюнкумские и Чуйские степи. Обо всем этом мне поведал мой знакомый, учитель истории одной из школ нашего городка Виктор Никифорович Городецкий. Когда мы оставались наедине, беседуя о разных разностях, он называл меня в шутку отцом Авдием. Сам он сравнительно молодой человек, однокашник моей сестры Варвары. А вот племянник его, сын его родной сестры, Паша, Пахом, которого Виктор Никифо-

рович, оказывается, сам нарек этим именем, так вот Паша этот, как выяснилось впоследствии, попал в анашистскую компанию. Ни родители, ни Виктор Никифорович не знали об этом.

Как-то Паша отпросился у родителей съездить в Рязань к деду, у которого он часто бывал. Дней через пять после его отъезда Виктор Никифорович получил телеграмму от следователя транспортной прокуратуры Джаслибекова с какой-то далекой казахстанской станции. В телеграмме сообщалось, что его племянник Паша находится под стражей — его задержали в связи с преступным провозом наркотиков по железной дороге.

Виктор Никифорович сразу понял, почему именно ему, а не родителям адресовал следователь Джаслибеков телеграмму. Паша боялся отца, человека резкого и крутого. Виктор Никифорович немедленно вылетел в Алма-Ату, а оттуда через сутки добрался на поезде до той степной станции. Застал он Пашу в отчаянном состоянии. Ему грозил немедленный суд и приговор по особому указу со сроком не менее трех лет в колонии строгого режима. Суд был неизбежен — состав преступления налицо. Виктор Никифорович пытался, как мог, втолковать племяннику, что другого исхода, к сожалению, нет, что по закону

за преступлением следует наказание. Советовал, как держаться, что говорить на суде, обещал все объяснить родителям, обещал приезжать к нему на свидания в колонию. Все это происходило в присутствии Джаслибекова. И тут вдруг Джаслибеков говорит:

— Виктор Никифорович, если вы поручитесь, что ваш племянник впредь не повторит подобное преступление, я отпущу его под свою ответственность. Мне почему-то показалось, что вы сможете наставить этого молодого человека на путь истинный. Если же он еще раз попадется с провозом анаши, его будут судить как рецидивиста. Вот, решайте сами.

Ну, конечно, Виктор Никифорович несказанно обрадовался, тут же поручился за Пашу, не знал, как и благодарить следователя, и тогда Джаслибеков сказал:

— А вас, Виктор Никифорович, я просил бы помочь нам там, на местах у вас. Попробуйте поднять в прессе серьезный разговор на эту тему. Ведь вы учитель. Мы боремся с самими преступлениями, когда они уже совершены или в процессе совершения. А вот кто и что гонит таких, можно сказать, мальчишек вдаль, в безлюдные места, в среду деклассированных элементов, а

то и отпетых рецидивистов, мы не знаем, а ведь мы этих подростков судим, вынуждены, обязаны судить. Очень хорошо, что вы, в частности, сразу откликнулись, незамедлительно приехали и тем очень помогли мне, а многие родственники — и таких большинство — не приезжают вовсе. И так попадает человек пятнадцати лет от роду в колонию строгого режима. А что там? Что с ними происходит, чему они там научатся? Никчемными, искалеченными людьми — вот какими они выйдут оттуда. Сами понимаете, тюрьма не от хорошей жизни. Виктор Никифорович, душа болит, на все это глядя. Верите ли, только в прошлый сезон по нашему участку дороги мы судили более ста подростков, а скольких мы пропустили, не смогли задержать, а они все едут и едут отовсюду, от Архангельска до Камчатки, прут, как рыба на нерест. Сколько же можно? Всех ведь не пересудишь. У них возникла целая система промысла. Среди них есть проводники — и здешние и нездешние, — которые ведут их в места произрастания анаши, их мы тоже судим. А что они творят с поездами? Останавливают в степи товарняки, в пассажирский-то они не смеют сунуться, там сразу их схватят. Кто-то снабжает их специальным составом, порошок такой, если

посыпать ночью на шпалы, на рельсы, то в лучах фар возникает иллюзия, будто дорога занялась огнем. Шпалы горят, рельсы горят. Конечно, машинист останавливает состав — в степи всякое может случиться, выбегает на дорогу, но нет, ничего не горит, все в порядке. А анашисты тем временем залезают в вагоны со своими сумками, с чемоданами. Составы нынешние такие — на целый километр, попробуй уследи, а они забираются и едут до узловой станции. Там покупают билеты. Пассажиров-то вон сколько! Узнай, кто есть кто. Правда, милиция в последние годы завела специальных собак, они анашу по запаху находят. Вот вашего племянника и обнаружили с помощью собаки…

И еще много кое-чего узнал Виктор Никифорович в тех местах. Он-то и посвятил меня в эти дела. Но еще до этого я был внутренне готов к такому разговору. Меня давно терзала мысль — найти нехоженые тропы к умам и сердцам своих сверстников. Я видел свое призвание в поучении добру. Может, несколько самонадеянно было с моей стороны полагать, что в этом мое предназначение, но, во всяком случае, мне этого искренне хотелось, и, пожалуй, не в последней степени это объясняется моим происхождением.

В некоторых статьях своих я уже говорил, хотя и в самых общих чертах, о пагубности алкоголизма среди молодежи, примерно то же писал и о наркомании, ссылаясь на печальный опыт Запада. Но все это было, по сути, с чужих слов, из вторых рук. А для яркого и в то же время проникновенного материала, где были бы мои собственные размышления и переживания по поводу всем известных и в то же время суеверно избегаемых многими как чумы случаев наркомании среди молодежи, особенно среди подростков, приводящих к печальным последствиям — от саморазрушения личности до садистских убийств, — так вот, для такого материала мне не хватало знания проблемы изнутри и реалий. А тут как раз получилось, что Виктор Никифорович Городецкий, столкнувшийся с этим явлением на собственном опыте, решил поделиться своими думами и душевными огорчениями. Чтобы оторвать Пашу от прежних друзей-товарищей, промышлявших анашой, вся семья, отец, мать, дети, вынуждена была, обменяв квартиру на меньшую, переехать в другой город. Обо всем этом Виктор Никифорович и рассказал мне с печалью и горечью.

Это и подтолкнуло меня решительно взяться за задуманное дело.

* * *

Я прибыл в Москву, где должен был отправиться с Казанского вокзала в конопляные степи. Дело в том, что именно здесь, на Казанском, формировалась первоначально группа гонцов, они так себя и называли — гонцы. Эти гонцы, как я потом убедился, съезжались из самых разных городов Севера и Прибалтики, причем наиболее оживленными точками являлись Архангельск и Клайпеда, должно быть, потому, что анашу там могли перепродавать морякам, уходящим в плавание. Чтобы напасть на след гонцов, я должен был найти на Казанском вокзале носильщика с нагрудным знаком восемьдесят семь по кличке Утюг, или Утя, и передать ему привет от одного из бывших приятелей, упомянутого Пашей. Утюг имел знакомство в билетных кассах — он обеспечивал, безусловно за какую-то мзду, проезд. Но узнать, кто именно это устраивал, мне не удалось, видимо, звено кто-то возглавлял, хотя и тайно. Так вот, этот Утя обеспечивал организованный выезд группы гонцов, то есть он должен был добыть всем билеты на один поезд, но желательно в разных вагонах. Сойдясь поближе с гонцами, я узнал, что первая заповедь всех добытчиков

анаши состояла в том, чтобы в случае провала ни за что не выдавать друг друга, поэтому на людях им надо было поменьше общаться между собой.

И вот знакомая площадь трех вокзалов, где я столько раз бывал, приезжая и уезжая из Москвы. Чудовищная толчея, особенно в метро и на вокзалах, — не пробьешься, не протиснешься от многолюдья, и кого только и откуда только не закрутит, как щепку, живой водоворот площади трех вокзалов, и все равно любил я наезжать в Москву, любил, вырвавшись уже ближе к центру на относительный простор, бродить по улицам, толкаться в букинистических магазинах, стоять у афиш и реклам и, если удастся, отправиться в очередной раз в Третьяковку или Пушкинский музей.

В этот раз, выйдя на Ярославском вокзале с электрички и следуя в потоке толпы к Казанскому вокзалу, я поймал себя на мысли, как хорошо, оказывается, мне жилось и чувствовалось прежде, когда я, предоставленный самому себе и своим неприхотливым побуждениям, не был обременен ничем и никакие заботы не ограничивали особенно моего времени и моих странствий по московским улицам. Сейчас же мне нужно было как можно быстрей разыскать на огромном,

кишащем, как муравейник, Казанском вокзале того самого связника-носильщика по кличке Утюг с нагрудным знаком восемьдесят семь. Боже, сколько же их, этих носильщиков, а вернее тележников, на Казанском вокзале, если этот значился восемьдесят седьмым, — уж, наверно, не меньше ста. И действительно, в этом столпотворении оказалось не так просто его обнаружить. Потратив по меньшей мере полчаса на то, чтобы обойти все возможные стоянки тележников, я наконец нашел его на перроне у поезда, отходящего в Ташкент. Кого-то Утюг погружал, поспешно перенося с тележки в вагон чемоданы и коробки, бойко перебрасывался на ходу шутками с проводниками и повторял расхожее привокзальное присловье: «Деньги есть — Казан поеду, деньги нет — Чешма пойду». Я подождал в стороне — пока он освободится, пока отъезжающие скроются в вагоне, а провожающие рассредоточатся вдоль состава по окнам купе. И тут он вышел из тамбура, запыхавшись, суя чаевые в карман. Эдакий рыжеватый детина, эдакий хитрый кот с бегающими глазами. Я чуть было не допустил оплошность — едва не обратился к нему на «вы» да еще чуть не извинился за беспокойство.

— Привет, Утюг, как дела? — сказал я ему на-

сколько возможно бесцеремонней.

— Дела как в Польше: у кого телега, тот и пан, — бойко ответил он, точно мы с ним сто лет были знакомы.

— Значит, ты и пан, — заключил я, указывая на его тачку.

— А ты думал! Мы, брат, тоже знаем, у кого денег куры не клюют. А тебе чего, чавыча? Подвезти, может, что-нибудь надо? Изволь!

— Подвезти я и сам могу, — пошутил я. — Дело у меня есть.

— Ну говори, какое дело.

— Не здесь, давай отойдем.

— Айда, чавыча, отойдем.

И мы пошли по длинному перрону к зданию вокзала. Ташкентский поезд тронулся, уплывая мимо вереницей окон и вереницей лиц за стеклами, а на соседнем пути встал другой состав, прибывший откуда-то. Поезда стояли в несколько рядов, народ суетился, спешил, громкоговоритель то и дело выкрикивал номера отправляющихся и прибывающих поездов.

Когда мы дошли до вокзального здания, Утюг свернул тележку в уголок, где не было народа, и там, оглядевшись по сторонам, я передал ему привет от Пашкиного друга, которого звали Иго-

рем, но у гонцов он прозывался Моржом. Почему Моржом, кто знает.

— А Морж где сам? — осведомился Утюг.

— Доходит, — ответил я. — Язва желудка замучила.

— Как в воду глядел, — с сожалением, но и не без торжества хлопнул себя Утюг по лбу. — Говорил я ему, чавыча, еще в прошлый раз говорил, не дури, Моржок, не лезь на хухок. Он же экстру применял, ну и перехватил через край. Вот тебе и язва.

Я изобразил на лице сочувствие, хотя, откровенно говоря, не понимал, что это за экстра — водка или еще что. Но, слава богу, догадался не уточнять. Как выяснилось позже, под экстрой подразумевалось экстрагированное из пластилина — конопляно-пыльцовой массы, напоминающей детский пластилин, — самое ценное сырье (насчет пластилина я, кстати, знал, Виктор Никифорович рассказывал) , особое конечное наркотическое вещество наподобие опиума. Это и была экстра. В химических лабораториях экстра могла быть преобразована в порошок для инъекций, как героин. Это таким, как Морж, и прочим гонцам было недоступно, зато они при большом желании могли употреблять экстру — держать

ее под языком, жевать, запивать водкой, глотать вместе с хлебом. Употреблять экстру называлось у них врезать по мозгам. Но самым доступным и простым было все же курить анашу — кто во что горазд — в чистом виде, в смешанном составе с табаком. Это, наверное, не хуже, чем врезать по мозгам, правда, действие дыма более быстротечно, нежели другие способы.

Все это и многое другое из жизни самих гонцов я постепенно узнавал в поездке на «халхин-гол»; под «халхин-голом» опять же подразумевались места произрастания анаши. С этим «халхин-голом» я снова чуть не попал впросак.

— А ты, чавыча, тоже на «халхин-гол»? — спросил Утюг как бы между делом.

Я вначале запнулся, не поняв, что это за «халхин-гол» такой, а потом как-то смекнул:

— Да вроде. В общем-то да, а то чего бы мне…

— Ну тогда вот так. Насчет билетов, чавыча, не беспокойся. Все будет. Ну а насчет остального — это уже когда вернетесь с травкой, сам Дог разберется. Это дело не мое.

Кто такой был Дог, который обеспечивал нас билетами, и в чем он должен был потом разобраться, я и не знал и так и не выяснил до самого конца. Зато в том разговоре с Утюгом я узнал, что

отъезд наш в «халхин-гол» может состояться не раньше чем на другой день. Прежде всего потому, что съехались еще не все гонцы. Двое гонцов из Мурманска должны были прибыть ночным поездом. И еще один, не знаю откуда, мог приехать только к утру. Это меня нисколько не волновало, побыть лишний денек в Москве тоже что-нибудь да значило.

Прощаясь со мной до завтра, когда я в условленный час должен был прийти на Казанский вокзал (а что мне было туда приходить, когда так и так пришлось бы ночевать на вокзале), Утюг поинтересовался, есть ли у меня рюкзак и полиэтиленовые пакеты, чтобы складывать травку, то есть анашу. Рюкзак и пакеты у меня имелись в чемоданчике. И он порекомендовал мне поискать в магазинах какую-нибудь герметически закрывающуюся стеклянную или пластмассовую коробочку, чтобы собирать в нее пыльцовую массу — так называемый пластилин.

— Не будешь лопухом, соберешь малость пластилинчику, хотя дело это и непростое, — пояснил он. — Сам я никогда не ездил, но много слышал. Тут есть один, Леха, так он за два сезона «Жигуль» отхватил. Ездит теперь себе по Москве поплевывает… А трудов-то — от силы дней на

десять…

С тем мы и расстались. Я закинул свой чемоданишко в камеру хранения и пошел пройтись по Москве.

Стоял конец мая. Пожалуй, нет для Москвы лучшей поры, чем эти дни перед началом лета. Хотя ведь и осень, ранняя осень, когда прозрачность воздуха, золотистость листвы отражаются даже в глазах прохожих, тоже несказанно прекрасна. Но мне больше по душе именно московское предлетье — и днем отрадно на улицах, и белыми ночами, когда царствует до утра пересвет ночной зари и в городе, и в звездном небе над городом.

Я поспешил вырваться с вокзала на свежий воздух, но, вспомнив, что в центр лучше добраться на метро, снова окунулся в многолюдное движение. До вечернего часа «пик» было еще далеко, и я через чередующиеся, гудящие смены тьмы и света свободно доехал до самого центра. На площади Свердлова заглянул в мой любимый сквер. Круглый сквер зеленел и пестрел, как благодатный островок среди охватившего его кольцом непрерывного движения и обступивших строений. И я почти безотчетно двинулся в потоке прохожих вначале к Манежу — думал, там какая-нибудь выставка окажется, но Манеж

был закрыт, и тогда я побрел мимо старого МГУ, мимо Пашкова дома на Волхонку и оттуда к Пушкинскому музею. Не знаю, отчего на душе у меня было так покойно и благостно — может быть, это от московских улиц в центре перед часом «пик» исходит такое умиротворение, а может быть, оно исходит от кирпичного силуэта Кремля, подобно незыблемому горному кряжу господствующего в этой части города. «Что видели эти стены и что еще увидят?» — думалось мне, и в уличных размышлениях, наплывающих сами по себе, я забыл, что недавно сбрил бороду, и оттого все время прикасался к голому подбородку; забыл на какое-то время и то, что я пытался постичь в гнездившемся на Казанском вокзале мутном средоточии зла.

Нет, все-таки судьба есть, она определяет и добрые и худые события. И надо же случиться такому везению, о котором, направляясь в Пушкинский музей, я даже не помышлял. Ведь я-то шел, надеясь в лучшем случае на какие-нибудь новинки в экспозиции музея, хоть и это было не обязательно, — походил бы себе и так просто по залам, освежил старые впечатления. А тут у самого входа, перед садиком, какая-то парочка, идя навстречу остановила меня:

— Слушай, паря, тебе не нужен билетик? — предложил некий тип при ярком зеленом галстуке и в новых рыжих туфлях, которые ему явно жали. На лице у него и его спутницы были нетерпение и скука.

— А что, билетов нет, что ли? — поинтересовался я, так как никаких очередей не видно было.

— Да нет, это на концерт. Только бери оба.

— На какой концерт? — спросил я.

— А кто его знает, хор какой-то церковный.

— В музее? — удивился я.

— Берешь или не берешь? Отдаю два билета за трояк, бери.

Я схватил оба билета и поспешил в музей. Я не слышал, чтобы в Пушкинском устраивались концерты. Но оказалось, как выяснил я у администратора, что с некоторых пор при музее действовало нечто вроде лектория классической музыки, главным образом избранной камерной музыки в исполнении знаменитых музыкантов. А в этот раз — вот уж диво! — в зале, именуемом Итальянским двориком, предстоял концерт староболгарского храмового пения. Вот уж чего мне и не снилось! Неужели будет исполняться отец славянской литургии Иоанн Кукузель? К сожалению, администраторша подробностей не знала.

Сказала только, что ожидаются важные гости, чуть ли не сам болгарский посол. Пусть это меня не касалось, но я разволновался и обрадовался, ибо от отца своего еще был наслышан о болгарских песнопениях, а тут на тебе — такой подарок перед рискованной для меня поездкой. До начала концерта оставалось еще полчаса, и я не стал бродить по музею, а вышел на улицу подышать и успокоиться.

Ах Москва, Москва, на одном из семи взгорьев этих близ Москвы-реки, под конец майского дня! Все отрадно и осмысленно в граде, когда на душе ни тени и царит недолгая гармония бытия. Мне дышалось свободно и глубоко, в небе была ясность, на земле — тепло, и я ходил взад-вперед вдоль чугунной ограды сада перед музеем.

Мне стало жаль, что я никого не жду, — может быть, потому, что у меня было два билета. И как понятно и естественно было бы, если бы она с минуты на минуту должна была подоспеть и я увидел бы ее на другой стороне улицы, увидел, как она собирается перейти дорогу, боясь, что опоздает, а я, волнуясь за нее, такую прекрасную, неосторожную и глупую, делал бы ей отчаянные знаки, чтобы она ни в коем случае не перебегала улицу, — вон сколько машин несется, сколько

людей повсюду, и только она одна среди всех несла в себе счастье, отпущенное мне, а она улыбнулась бы мне — ведь она догадалась бы о моих мыслях по выражению моего лица. И тогда я сам, упреждая ее, побежал бы к ней на ту сторону улицы, за себя я не боялся, я ловкий, а перебежав, посмотрел бы ей в глаза и взял бы за руку. Вообразив себе ни с того ни с сего такую сцену, я действительно почувствовал вдруг тоску по любви и в который раз подумал, что до сих пор не встретилась мне та, которой предопределено судьбой быть моей любимой. Но существует ли она, такая предопределенная, не придумал ли я ее и не усложняю ли простые вещи? Об этом я много думал и каждый раз приходил к печальному выводу, что, пожалуй, сам во всем виноват, — то ли слишком многого ожидаю, то ли неинтересный я для девушек человек. Во всяком случае, мои сверстники оказались в этом смысле гораздо удачливее и сноровистее. Оправданием могло послужить лишь то, что духовная семинария препятствовала окунуться в молодую жизнь. Но и после ухода из семинарии я нисколько не преуспел на этом поприще. Почему? Вот если бы действительно она явилась сейчас, та, которую я готов полюбить, то я первым делом сказал бы

ей: пойдем послушаем храмовое песнопение и в том обретем себя. Но потом на меня напали сомнения. А что, если это покажется ей скучно и однообразно, не совсем понятно, а главное, одно дело — ритуальное пение в храме, а другое — в светском здании при разнородной публике. Не получится ли, как если бы баховские хоралы стали исполнять на физкультурном стадионе или в казарме авиадесантников, привыкших к бравурным маршам?

К Пушкинскому музею стали подъезжать сверкающие глянцем машины, прикатил даже интуристский автобус. Значит, настало время. У входа в Итальянский дворик уже толпились люди. Чем-то они все походили друг на друга, и женщины, и мужчины, — так бывает, когда люди сообща ожидают какого-то действия, события. Кто-то спрашивал лишний билетик. Я отдал один билет студенту, близорукому, должно быть, или не в тех очках. И сам был не рад. Он стал отсчитывать в толпе мелочь, ронял ее, я его просил прекратить, сказал, что билеты были мне подарены и потому один из них я дарю ему, но он ни в какую и, когда я уже проходил в зал, бросил мне ту мелочь в карман куртки. Конечно, деньги мне были нужны, я жил, как говорится, на вольных,

но скудных хлебах, и все же… Смутило меня и то, что столичная публика была соответственно одета, а я был в старых поношенных джинсах, в куртчонке нараспашку, в здоровых башмаках и еще с обритой бородой, к чему я так трудно привыкал, точно бы мне чего-то не хватало, — ведь я собрался в далекий путь-дорогу, в какие-то неведомые конопляные степи с невесть какими добытчиками анаши. Но все это были незначительные мелочи…

В высоком, в два этажа Итальянском дворике все экспонаты остались, как мне показалось, на местах, только в середине зала поставили плотными рядами стулья, на которых мы и разместились. Ни сцены, ни микрофонов, ни занавеса — ничего такого не было. Там, где положено быть президиуму, стояла с краю небольшая кафедра. Минуты через две все места были уже заняты, кое-кто даже толпился у входа. Видимо, среди присутствующих было много знакомых, между собой все оживленно переговаривались, и только я один молчал, был сам по себе.

Но вот откуда-то сбоку из дверей вышли две женщины. Одна из них, служительница Пушкинского музея, представила другую — болгарскую, как она выразилась, коллегу из софийского музея

при соборе Александра Невского. Разноголосица в зале стихла. Болгарка, серьезная молодая женщина, гладко причесанная, в хороших туфлях, с красивыми ногами, что почему-то бросилось мне в глаза, строго глянув поверх больших затемненных очков, приветствовала нас и на сносном русском языке сделала небольшой доклад. Рассказала, что наряду с бесценными экспонатами церковного зодчества, старинными рукописями, образцами иконописи и книгопечатания они демонстрируют в своем музее, в крипте — полуподвальных залах собора, на вечерних концертах, как сообщила она с улыбкой, и экспонаты в живом исполнении — средневековые церковные песнопения. С этой целью по приглашению Пушкинского музея они-де и прибыли с капеллой «Крипт».

— Попросим! — предложила она под аплодисменты.

Певцы вошли, собственно, они оказались здесь же, за дверьми, через которые и мы проходили. Их было десять человек, всего десять. Причем все молодые, можно сказать, мои ровесники. Все в одинаковых черных концертных костюмах, с жесткими бабочками на белых манишках, все в черных ботинках. Ни тебе инструментов, ни

микрофонов, ни эстрадных звукоусилителей, ни даже помоста для сцены и никаких, конечно, световых манипуляторов — просто в зале несколько приглушили свет.

И хотя я был уверен, что сюда собрались слушатели, имеющие представление, что такое капелла, мне почему-то стало страшно за певцов. Столько народу собралось, да и молодежь наша привыкла к электронному громогласию, а они — как безоружные солдаты на поле боя.

Певцы плотно выстроились плечом к плечу, образовав небольшое полукружие. Лица их были спокойны и сосредоточенны, точно они вовсе не боялись за себя. И еще одну странность я заметил — все они почему-то казались похожими друг на друга. Возможно, потому, что в этот час ими владела общая забота, общая готовность, единый душевный порыв. Ведь в такие мгновения все, может быть, и очень важное в другое время в повседневной жизни каждого, начисто исключается из помыслов — точно так перед началом боя все думают лишь о том, как одержать победу.

Между тем ведущая, все так же серьезно поглядывая через затемненные очки, дала перед началом концерта коротенькую историческую справку о своеобычности болгарской церкви,

идущей от византийских корней, но со своими особенностями, со своей литургией, коснулась также некоторых деталей, относящихся к национальным традициям болгарского пения. И объявила начало концерта.

Певцы были готовы. Они еще немного помолчали, настраивая дыхание, еще тесней сплотились плечами, и тут стало совсем тихо, зал точно опустел — до того всем было интересно, что же смогут эти десятеро, как они отважились и на что надеются. И вот по кивку стоящего справа третьим от края — видимо, ведущего в этой группе — они запели. И голоса взлетели…

В той тишине как бы медленно тронулась с места божественная воздушная колесница со сверкающими ободами и спицами и покатилась по незримым волнам за пределы зала, оставляя за собой долго не стихающий, всякий раз вновь возрождающийся из неисчерпаемых запасов духа торжественный и ликующий след голосов.

Уже с зачина стало ясно, что этой капеллой достигнута такая степень спетости, такая подвижность и слаженность голосов, которую практически немыслимо достигнуть десяти разным людям, какими бы вокальными данными и мастерством они ни обладали, и если бы

это песнопение проходило в сопровождении любых, особенно современных, музыкальных инструментов, то, несомненно, такое уникальное здание на десяти опорах разрушилось бы. Редкая судьба могла устроить такое чудо — чтобы именно они, эти десятеро, отмеченные свыше, родились примерно в одно и то же время, выжили и обнаружили друг друга, прониклись сыновним чувством долга перед праотцами, некогда выстрадавшими Его, придуманного, недостижимого и неотделимого от духа, — ведь лишь из этого могло возникнуть такое непередаваемое истовое пение. И в этом была сила их искусства, сильного лишь страстью, упоением, могуществом исторгаемых звуков и чувств, когда заученные божественные тексты лишь предлог, лишь формальное обращение к Нему, а на первом месте здесь дух человеческий, устремленный к вершинам собственного величия.

Слушатели были покорены, зачарованы, повергнуты в раздумья; каждому представился случай самому по себе, в одиночку, примкнуть к тому, что веками слагалось в трагических заблуждениях и озарениях разума, вечно ищущего себя вовне, и в то же время вместе со всеми, коллективно воспринять Слово, удесятеряющее силу

пения от сопричастности к нему множества душ. И в то же время воображение увлекало каждого в тот неясный, но всегда до боли желанный мир, слагающийся из собственных воспоминаний, грез, тоски, укоров совести, из утрат и радостей, изведанных человеком на его жизненном пути.

Я не понимал и, по правде говоря, не очень и желал понимать, что происходило со мной в тот час, что приковало мои мысли и чувства с такой неотразимой силой к этим десятерым певцам, с виду таким же, как и я, людям, но гимны, которые они распевали, словно исходили от меня, от моих собственных побуждений, от накопившихся болей, тревог и восторгов, до сих пор не находивших во мне выхода, и, освобождаясь от них и одновременно наполняясь новым светом и прозрением, я постигал благодаря искусству этих певцов изначальную сущность храмового песнопения — этот крик жизни, крик человека с вознесенными ввысь руками, говорящий о вековечной жажде утвердить себя, облегчить свою участь, найти точку опоры в необозримых просторах вселенной, трагически уповая, что существуют, помимо него, еще какие-то небесные силы, которые помогут ему в этом. Грандиозное заблуждение! О, как велико стремление человека

быть услышанным наверху! И сколько энергии, сколько мысли вложил он в уверения, покаяния, в славословия, принуждая себя во имя этого к смирению, к послушанию, к безропотности вопреки бунтующей крови своей, вопреки стихии своей, вечно жаждущей мятежа, новшеств, отрицаний. О, как трудно и мучительно это давалось ему. Ригведа, псалмы, заклинания, гимны, шаманство! И столько еще было произнесено в веках нескончаемых мольб и молитв, что, будь они материально ощутимыми, затопили бы собой всю землю, подобно горько-соленым океанам, вышедшим из берегов. Как трудно рождалось в человеке человеческое…

А они пели, эти десятеро. Богом сопряженные вместе, с тем чтобы мы погружались в себя, в кружащие омуты подсознания, воскрешали в себе прошлое, дух и скорби ушедших поколений, чтобы затем вознеслись, воспарили над собой и над миром и нашли красоту и смысл собственного предназначения, — однажды явившись в жизнь, возлюбить ее чудесное устроение. Эти десятеро пели так самозабвенно, так богодостойно — быть может, сами того не ведая, что пробуждали в душах высшие порывы, которые редко когда охватывают людей в обыденной жизни,

среди постылых забот и суеты. И оттого собравшихся безотчетно переполняла благость, их лица взволнованны, у некоторых поблескивали слезы в глазах.

Как я радовался, как благодарил случай, приведший меня сюда, чтобы подарить мне этот праздник, когда мое существование словно бы вышло на вневременной и внепространственный простор, где чудодейственно совмещались все мои познания и переживания, — и в воспоминаниях о прошлом, в сознании настоящего и в грезах о будущем. И среди этих размышлений мне подумалось, что я еще не любил, и тоска по любви, которая жила в моей крови и ждала своего часа, дала о себе знать щемящей болью в груди. Кто она, где она, когда и как это будет? Несколько раз я оглядывался невольно на двери — возможно, она пришла и стоит там, слушает и ждет, когда я увижу ее. Как жаль, что ее не было в тот час в том зале, как жаль, что невозможно было тогда разделить с ней то, что меня волновало и питало мое воображение. И еще я думал — только бы судьба не устроила из этого нечто смешное, такое, что потом самому будет стыдно вспоминать…

Почему-то вспомнилась мне мать в раннем

детстве… Помню ясное зимнее утро, редко падающий снежок на бульваре, она, глядя мне в лицо улыбающимися глазами, застегивает пуговицы на распахнутом моем пальтеце и что-то говорит, а я бегу от нее, и она весело догоняет меня, и плывет над нашим городком колокольный звон из церкви на пригорке, где в тот час служит мой отец, провинциальный дьякон, человек, истово верующий и в то же время, как я теперь догадываюсь, прекрасно понимавший всю условность того, что создано человеком от имени и во имя Бога… А я, при всем сочувствии к нему, пошел совсем иным путем, не таким, как он желал. И мне становилось тягостно от сознания того, что отец ушел в мир иной в согласии с собой, а я мечусь, отрицаю прошлое, хотя и восторгаюсь при этом былым величием, могучей выразительностью этой некогда всесильной идеи, пытавшейся, распространяясь из века в век, обращать души необращенных на всех материках и островах, с тем чтобы навсегда, на все времена утвердиться в мире, в поколениях, в воззрениях, сдерживая и отводя, как громоотвод отводит молнию в землю, вечный вызов вечно мятежных человеческих сомнений в глубины покорности. Благодарность им — Вере и Сомнению, силам бытия, обоюдно

движущим жизнь.

Я родился, когда силы сомнения взяли верх, порождая, в свою очередь, новые сомнения, и я продукт этого процесса, преданный анафеме одной стороной и не принятый со всеми моими сложностями другой стороной. Ну что ж, на таких, как я, история отыгрывается, отводит душу… Так думал я, слушая староболгарские песнопения.

А песни те пелись одна за другой, пелись в том зале, как эхо минувших времен. Библейские страсти в «Жертве вечерней», в «Избиении младенцев» и в «Ангеле вопияше» сменялись суровыми пламенными песнями других мучеников за веру, и хотя все это во многом мне было известно, меня неизъяснимо пленяло само действо — то, как эти десятеро завораживали, претворяли знаемое в великое искусство, сила которого зависит от исторической вместимости народного духа — кто много страдал, тот много познал…

Вслушиваясь в голоса софийских певцов, опьяненных, вдохновленных собственным пением, вглядываясь в их мимику, я вдруг обнаружил, что один из них, второй слева, единственный светлый среди смугловатых и черноволосых болгар, очень похож на меня. Поразительно было увидеть человека, так похожего на тебя самого.

Сероглазый, узкоплечий — его, наверное, тоже в детстве звали хиляком, — с длинными светлыми волосами, с такими же жилистыми тощими руками, он, возможно, так же преодолевал свою застенчивость пением, как мне подчас приходится преодолевать свою скованность, переводя разговор на близкие мне теологические темы. Можно представить себе, как глупо это выглядит, когда я завожу такие серьезные разговоры при знакомстве с женщинами. И обличием сероглазый певец был такой же — впалые щеки, нос с легкой горбинкой, лоб перерезан двумя продольными складками и — самое примечательное — борода точь-в-точь такая, как у меня до того, как я ее сбрил. Потянувшись невольно к былой бороде, я снова вспомнил, что назавтра мне предстоит отправиться в путь-дорогу вместе с добытчиками анаши. И диву дался, подумав об этом: куда я еду, зачем? Какой контраст — божественные гимны и темные страсти привокзальных Утюгов по дурному дыму от дурной травы. Но во все времена настоящая людская жизнь с ее добром и злом протекала за стенами храмов. И наша современность не исключение…

Вот такое совпадение обликов обнаружил я на том концерте. Потом я уже не спускал глаз со

своего двойника, следя за тем, как он пел, как вытягивалось его лицо, как разверзался рот, когда он брал самые высокие ноты. И сочувствуя ему, я представлял себя на его месте, точно бы он был моим перевоплощением. Таким образом я как бы участвовал в процессе пения. Во мне все пело, я слился с хором воедино, испытывая необыкновенное, доходящее до слез чувство братства, величия, общности, точно мы встретились после долгой разлуки — возмужалые, сильные и торжествующие голоса наши возносятся к небесам, и земля под нами прочна и незыблема. И так мы будем петь, сколько будет петься, петь бесконечно…

Так пели они и я с ними. Такое состояние чудесного забытья я испытываю обычно, когда слушаю старинные грузинские песни. Мне трудно объяснить отчего, но стоит запеть хотя бы троим грузинам, пусть самым обыкновенным, — и изливается душа, и дышит искусство, простое и редкое по соразмерности, по силе воздействия духа. Наверно, это у них особый дар природы, тип культуры, а может, просто от Бога. Мне непонятно, о чем они поют, мне важно, что я пою вместе с ними.

Думая об этом, я слушал певцов, и меня вдруг

посетило озарение, мне открылась суть прочитанного однажды грузинского рассказа «Шестеро и седьмой». Небольшой рассказ, каких полно в периодической печати, и нельзя сказать, чтобы он чем-то выделялся, рассказ больше фабульный, чем психологический, скорее романтического склада, но финал этой истории запомнился мне надолго, финал почему-то засел во мне занозой.

Содержание рассказа, а вернее баллады, «Шестеро и седьмой» (сложную фамилию ее малоизвестного автора я не помню) тоже весьма тривиальное. Пылает революция, идет кровопролитная гражданская война, революция утверждает себя в последних схватках с врагом, и в Грузии, стало быть, типичный исторический исход — Советская власть побеждает, все больше вытесняя последние остатки вооруженных контрреволюционеров даже из самых глухих горных селений. Действует основной в таких случаях закон — если враг не сдается, его уничтожают. Но жестокость порождает ответную жестокость — это тоже давний закон. Особенно яростно сопротивляется отряд удалого Гурама Джохадзе, отлично знавшего окрестные горы, бывшего пастуха-конника, а ныне дерзкого неуловимого налетчика, запутавшегося в классовой борьбе.

Но и его дни уже сочтены. В последнее время он терпит поражение за поражением. В отряд Гурама подослан чекист, который, рискуя быть раскрытым — со всеми вытекающими отсюда последствиями, входит в доверие Гурама Джохадзе, становится одним из его соратников. Он устраивает так, что, отступая после большого боя с поредевшим от потерь отрядом, Гурам Джохадзе попадает на речной переправе в засаду. Когда они на бешеном скаку достигают берега и бросаются в реку, чекист сваливается с коня возле зарослей: у него якобы обрывается подпруга. А большая ватага конников Джохадзе преодолевает на разгоряченных лошадях перекаты широкой горной реки, и на самой ее середине, где они открыты со всех сторон, два заранее установленных и замаскированных станковых пулемета косят их с двух берегов, берут их в перекрестный кинжальный огонь. Дикая свалка, люди погибают, захлебываясь в горной реке, но Гурам Джохадзе — судьба его бережет! — успевает вырваться из-под обстрела, поворачивает вспять и благодаря своему могучему коню уносится вдоль берега по зарослям. А за ним мчатся несколько верных всадников, оставшихся в живых, и среди них чекист, немедленно присоединившийся к ним, как только он понял,

что операция не вполне удалась и что главарь уходит от расправы.

Этот пулеметный расстрел на реке означал окончательный разгром отряда Джохадзе, фактически полное его истребление.

Когда, оторвавшись наконец от преследователей, Гурам Джохадзе останавливает загнанного коня, выясняется, что от отряда вместе с Гурамом Джохадзе осталось всего семь человек, и седьмым был чекист — звали его Сандро. Отсюда, очевидно, и название рассказа — «Шестеро и седьмой».

Сандро имел приказ во что бы то ни стало ликвидировать главаря банды — Гурама Джохадзе. Голова его оценивалась в большую сумму. Но дело было даже не в сумме, а в том, как осуществить этот приказ теперь, когда уже было ясно, что Джохадзе больше не вступит в бой, где его можно было бы подстрелить; ведь нынче, когда он остался, по сути дела, один, как загнанный в ловушку зверь, он, рассчитывая лишь на себя, на свою личную ловкость, будет чрезвычайно бдителен. Было ясно, что Джохадзе не отдаст свою жизнь без борьбы до последнего издыхания…

И вот развязка этой истории — она взволновала меня больше всего…

После жестокого разгрома на реке Гурам Джо-

хадзе, знавший все ходы в ущельях, поздним вечером того дня останавливается в одном труднодоступном месте — в горном лесу близ турецкой границы. И все они, шестеро и седьмой, едва расседлав коней, валятся от усталости наземь. Пятеро тут же засыпают мертвым сном, а двое не спят. Не спит чекист Сандро, его мучает забота — он обдумывает, как ему теперь быть, как лучше достичь своей цели, как осуществить возмездие. Не спит после сокрушительной катастрофы и удалой Гурам Джохадзе — он переживает разгром отряда, его мучает завтрашний день. И лишь один Бог ведает, о чем еще думали эти двое непримиримых врагов, разделенных революцией.

Полная луна стояла справа от их изголовья, лес шевелился по-ночному тяжко и глухо, внизу неумолчно шумела по камням река, и горы вокруг замерли в каменном молчании. И тут Гурам Джохадзе неожиданно вскочил, словно чем-то обеспокоенный.

— Ты не спишь, Сандро? — удивленно спросил он седьмого.

— Нет, а ты что вскочил? — в свою очередь, спросил Сандро.

— А ничего. Сон не идет, не лежится мне что-то

на этом месте, луна сильно светит. Пойду лягу в пещере. — И Джохадзе взял свою бурку, оружие и седло под голову и, уходя, добавил: — Об остальном поговорим завтра. Теперь нам недолго сталось разговаривать.

И с этим ушел, устроился в устье пещеры — в бытность свою пастухом он не раз укрывался здесь от непогоды — вот и теперь то ли укрылся переживать свою бескрайнюю беду, то ли предчувствие подсказало ему расположиться так, чтобы к нему ниоткуда не подойти и чтобы он, наоборот, видел любого, кто приближается к пещере. Сандро забеспокоился: как понять этот, казалось бы, здравый поступок главаря? Что, если он начал о чем-то догадываться?

Так прошла у них та ночь, а наутро Гурам Джохадзе велел седлать коней. И никто не знал, что у него на уме и что намерен он предпринять. И когда лошади были уже оседланы и все молча стояли перед ним, держа коней под уздцы, он со вздохом сказал:

— Нет, не годится так уходить с родной земли. Будем сегодня прощаться с землей нашей, взрастившей нас, а потом разбредемся кто куда. Но пока мы еще здесь, будем как у себя дома.

Он отправил двоих конников в ближайшее

селение, где у него были верные люди, за вином и едой, еще двоих, Сандро и другого парня, оставил собирать сушняк для костра и стеречь лошадей, а сам с двумя оставшимися пошел на охоту — подстрелить, если удастся, какую-либо дичь, а то и косулю на прощальный ужин.

Чекисту Сандро ничего не оставалось, как подчиниться и ждать подходящего момента, когда он сможет привести в исполнение приказ. Но пока что такой удобной ситуации не возникало.

Вечером все шестеро и седьмой снова собрались вместе: на краю леса возле пещеры разложили костер, расставили на холстине, привезенной из селения, хлеб, вино, соль, еду, что передали им на прощание верные люди Гурама Джохадзе. Костер разгорелся вовсю. Семеро приблизились к огню.

— Все ли кони оседланы и все ли готовы стать на стремя? — спросил Гурам Джохадзе.

В ответ все молча кивнули головами.

— Слушай, Сандро, — заметил Гурам Джохадзе, — дрова ты хорошие собрал, сильно горят, но почему ты оставил их так далеко от костра?

— Не беспокойся, Гурам, это моя забота, отвечать за огонь буду я. А ты скажи свое слово.

И тогда Гурам Джохадзе сказал:

— Други мои, мы проиграли свое дело. Когда

стороны воюют, кто-то побеждает, кто-то терпит поражение. На то они и воюют. Мы проливали кровь, и нашу кровь проливали. Много сынов и с той и с другой стороны сложили свои светлые головы. Что было, то было. Прощения прошу у погибших друзей и погибших врагов. Когда враг погибает в бою, он перестает быть врагом. Будь я сейчас на коне, я все равно просил бы прощения у погибших. Но судьба отвернулась от нас, потому и народ в большинстве своем отвернулся от нас. И даже земля, на которой мы родились и выросли, не желает, чтобы мы оставались на ней. Нам нет на ней места. И нет нам прощения. Если бы я был победителем, я бы не миловал своих врагов, говорю это как перед Богом. Сейчас у нас только один выход — унести свои головы в чужедальние стороны. Вон за той большой горой — Турция, рукой подать, а чуть в стороне, за хребтом, над которым поднимается луна, — Иран. Выбирайте, кому куда. Сам я отправляюсь в Турцию, в Стамбул, буду там грузчиком на пароходах. Каждый из нас должен сейчас решить, где ему приклонить голову. Нас осталось семеро. И через некоторое время мы, один за другим, отправимся на чужбину в семь разных сторон. Разбредясь по свету, каждому предстоит испить свою горькую чашу.

Больше мы никогда не увидимся. Это последний день, когда мы, семеро оставшихся в живых, вместе и когда мы видим и слышим друг друга. Так давайте же попрощаемся друг с другом и попрощаемся с землей нашей, попрощаемся с грузинским хлебом и солью, попрощаемся с нашим вином. Такого вина больше нигде не пригубишь. Простившись, мы разойдемся каждый в свою сторону. Мы ничего не уносим с собой, даже песчинки с грузинской земли. Родину невозможно унести, можно унести только тоску, если бы родину можно было перетаскивать с собой, как мешок, то цена ей была бы грош. Так выпьем напоследок и споем напоследок наши песни…

Вино было бурдючное, крестьянское, в нем сочеталось земное и небесное. Оно пробудило удалой хмель и желание излить свою печаль, в душах заново боролись веселье и грусть. И песня полилась сама по себе, как пробивается вдруг родник среди камней на горном склоне, и всему, что будет соприкасаться с его водой на всем пути, — тому цвести и умножаться. И тихо завели они песню отцов, и тихо нарастала она, гортанно журча, как родник со склона, — все семеро превосходно пели, ибо нет непоющего грузина, пели слаженно, каждый по-своему и в

свою силу, и песня разгоралась, подобно костру, вокруг которого они стояли.

Так начиналось прощальное песнопение семерых, вернее шестерых и седьмого, который, однако, не забывал ни на минуту о том, что ему предстояло совершить. Никто из них, и прежде всего Гурам Джохадзе, не должен был уйти безнаказанно за границу. Этого он, чекист, допустить не мог — так гласил полученный им приказ. И он должен был выполнить этот приказ.

А песни пелись одна за другой, и пилось вино, которое чем больше пьешь, тем охотнее оно пьется, и тем сильнее горит душа, жаждущая снова и снова вина и песни.

Они стояли в кругу, иногда возложив руки на плечи друг другу, иногда уронив их плетьми, а когда хотели, чтобы их услышала божественная сила, неведомая и неотвратимая, но всевидящая и всезнающая, воздевали руки к небу. Как же так, если Бог все видит и все знает, куда он гонит их с земли своей? И почему так устроено, что люди воюют и борются между собой, что льется кровь, льются слезы, и каждый считает себя правым, а другого неправым, и где же истина, и кто ее вправе изречь? Где тот пророк, который бы их рассудил по справедливости?.. Не об этом ли, не

об этих ли вылившихся в напеве страданиях, пережитых давным-давно, осмысленных отцами как изначальный опыт добра и зла, прочувствованных в их красоте и вечности, пелось в тех старинных песнях, сохраняемых в памяти народа? И потому в устах тех семерых от одной песни рождалась другая и они не размыкали круга, но седьмой, Сандро, время от времени покидал круг, чтобы поднести дров и подложить в костер. Не зря, пожалуй (на все ведь есть своя причина в жизни), не зря сложил он сушняк в лесу огромной кучей, зато теперь сам заведовал огнем. И песни он пел, как все, от души — ведь песни принадлежат всем в равной мере. Нет песен, которые бы пелись только царями, а другим их нельзя было бы петь, как нет таких песен, которые были бы достойны только черни. Пой, веселись, грусти и плачь, танцуй, покуда жив…

Кого ты любил, кого, трепеща, ждал на свидание, кто разлюбил тебя, и как страдал ты и как хотел, непонятый, умереть, и чтобы песню твою предсмертную услышала бы она, и как ласкала мать тебя в детстве, и где голову отец сложил, как други бились в бою кровавом, каким богам ты душу открывал в порыве чистом и бескорыстном; и думал ли, что такое рождение человека, и думал

ли, что смерть всегда с тобой, пока ты дышишь, а после смерти смерти нет, но жизнь выше смерти, нет меры в мире выше жизни — и потому избегни смертоубийства, но коли враг пришел на землю, землю свою защити; и честь любимой береги, как землю родную; изведал ли, что есть разлука и что разлука тяжка, как тяжко на себя взвалить гору, что без любимой ничто не отрадно: ни цвет, ни свет, ни день грядущий, — да и мало ли о чем поется в песнях — всего не перескажешь…

И не было в ту ночь людей родней и ближе меж собой, чем эти семеро грузин, поющих горестно и вдохновенно в час разлуки. Стихия песен сближала их еще тесней. Как много все же сумели предки пережить и придумать впрок для потомков задушевных слов, полных бессмертной гармонии. Как по полету можно отличить птицу, так по песне грузин грузина отличит за десять верст и скажет, кто он, откуда он, что с ним, что на душе у него, — на свадьбе развеселой был или горе его томит…

Уже луна довольно высоко поднялась над горами, луна заливала мягким светом всю землю — лес вкрадчиво покачивался темными верхушками от дуновения ветра, река приглушенно шумела, поблескивая, переливаясь влажным

серебром по валунам, ночные птицы, как тени, неслышно пролетали над головами поющих у костра, и даже лошади, оседланные, терпеливо ждущие хозяев, прядали чуткими ушами, и в глазах их плясали огненные блики… Тем лошадям был уготован путь в чужие страны, и тот час приближался…

Но песням, казалось, конца не будет, за все отпеться решил, должно быть, Гурам Джохадзе: «Так пойте, други, пейте вино, нам больше вместе не собраться в круг, и слух наш не ублажат грузинские напевы…» То пели порознь, то вместе, то танцевали под собственный аккомпанемент истово и яро, как перед смертью, и снова становились в круг те семеро, вернее шестеро и седьмой. Сандро же то и дело выходил из круга — дрова подбрасывал в огонь, и жарко-жарко горел костер.

Решили спеть последнюю песню, потом еще, еще одну на прощанье, все не унимались и снова собрались в круг, склонили головы — и задумчиво и мощно нарастал, как гул из-под земли, напев. Сандро же снова отошел за дровами, хотя костер горел ярко. То был точный расчет — со стороны он отчетливо видел каждого из шестерых, стоящих в кругу, а тем, что пели у слепящего зрение костра,

он плохо был виден… Тяжелый маузер был уже готов — на взводе. Настал неотвратимый час расплаты, час возмездия. Вскинул многозарядный скорострельный маузер, опустил на руку для опоры и первым выстрелом, прогрохотавшим во тьме подобно грому, свалил главаря Гурама Джохадзе и тут же, не умерли еще слова песни, слетавшие с уст, уложил подряд всех остальных, и они даже не успели понять, что произошло. И так и еще раз в порочной круговерти убиений, и еще раз за пролитую кровь кровь пролил.

Да, законы человеческих отношений не поддаются математическим исчислениям, и в этом смысле Земля вращается, как карусель кровавых драм… Так неужто карусели этой дано кружить до самого скончания света, пока вращается Земля вокруг Светила?

Огонь был метким, и лишь один вдруг судорожно приподнялся на руках, но Сандро подскочил к нему и уложил выстрелом в затылок… Кони шарахнулись в испуге и снова замерли на привязях…

Костер еще горел, река шумела, лес и горы — все на место, и луна на своем месте в невозмутимой высоте, только оборвалась песня, так долго звучавшая в тот вечер…

Лицо Сандро в ночи было бело как мел, он задыхался, схватил бурдюк с оставшимся на дне вином и, обливаясь, захлебываясь, стал пить, чтобы залить огонь внутри… Потом отдышался, спокойно обошел убитых, что в разных позах лежали вокруг костра. Затем снял оружие убитых, привесил к лукам их седел, сбросил уздечки и недоуздки с конских голов и отпустил коней на волю. Отпустил всех семерых коней, в том числе и своего гнедого… И смотрел, как они, почуявши свободу, гуськом пошли в низовья, в предгорное селение к людям… Ведь лошади всегда идут туда, где живут люди… Но вот стих и цокот подков, и скрылись в зыбкой лунной придымленности идущие цепочкой силуэты лошадей внизу…

Все было сделано. Сандро еще раз молча обошел шестерых, сраженных наповал, и, отойдя чуть в сторону, приставил дуло маузера к виску. Еще раз выстрел прозвучал в горах коротким эхом. Теперь он был седьмым, отпевшим свои песни…

Так завершилась та грузинская баллада.

Об этом я вдруг вспомнил, слушая в музее болгарских певцов, исполнявших староболгарские церковные песнопения. Эти песнопения были созданы людьми, возвышенно и даже исступленно взывающими из тьмы веков к Всевышнему,

сотворенному ими же, к нереальности, превращенной ими же в духовную реальность, людьми, убежденными, что они так одиноки в этом мире, что лишь в песнях и молитвах они найдут Его.

Я вспомнил и пережил всю ту историю в какие-то секунды. По сравнению со скоростью мышления скорость света — ничто; мысль, что, уходя в прошлое, может двигаться в обратном направлении во времени и в пространстве, быстрее всего…

Теперь я поверил, что так оно и могло быть в те годы в самом деле. В заключение рассказа «Шестеро и седьмой» автор писал, что Сандро, то есть седьмой, был посмертно награжден каким-то орденом.

Но когда б трагедии гражданских войн не оборачивались трагедиями нации, когда б сопротивление одних истории нововходящей и нетерпение других в борьбе за ускорение этой же истории не переменяли жизнь на корню, откуда бы эти страшные борозды на пашне революции и разве имела бы грузинская баллада такой исход?.. Цена ценою познается… Ведь тот, седьмой, мог бы торжествовать, остаться жить, но он не остался — по причинам труднообъяснимым. Всякий может истолковать их по-своему. А мне в тот час, когда я

плыл в ладье болгарских песнопений под белым парусом возвышенного духа, что вечно бороздит вдали открытый океан бытия, подумалось, что причиной такого завершения грузинской были послужили песни, в которых заключалась вера всех семерых…

Когда открытие делаешь для себя, все в тебе согласно и наступает просветление души. Глядя, как праведно, преданно и вдохновенно сияли глаза софийских певчих, поющих заветные гимны, как лица их от напряжения покрылись обильным потом, завидовал, что я не среди них, что я не тот, не мой двойник.

И на той волне нахлынувшего просветления подумалось вдруг: откуда все это в человеке — музыка, песни, молитвы, какая необходимость была и есть в них? Возможно, от подсознательного ощущения трагичности своего пребывания в круговороте жизни, когда все приходит и все уходит, вновь приходит и вновь уходит, и человек надеется таким способом выразить, обозначить, увековечить себя. Ведь когда все кончится, когда наступит тот грядущий через миллиарды лет конец света и планета наша умрет, померкнет, какое-то мировое сознание, пришедшее из других галактик, должно непременно услышать

среди великого безмолвия и пустоты нашу музыку и пение. Вот ведь что неистребимо вложено в нас от сотворения — жить после жизни! Как важно осознавать человеку, как необходимо быть уверенным ему в том, что такое продление себя возможно в принципе. Наверное, люди додумаются оставить после себя какое-то вечное автоматическое устройство, некий вокально-музыкальный вечный двигатель — это будет антология всего лучшего в культуре человечества за все времена, и верилось мне, когда я наслаждался пением певчих, что те, кто услышит эти слова и музыку, смогут понять, почувствовать, какими противоречивыми существами, какими гениями и мучениками были люди на земле, единственные обладатели разума.

Жизнь, смерть, любовь, сострадание и вдохновение — все будет сказано в музыке, ибо в ней, в музыке, мы смогли достичь наивысшей свободы, за которую боролись на протяжении всей истории начиная с первых проблесков сознания в человеке, но достичь которой нам удалось лишь в ней. И лишь музыка, преодолевая догмы всех времен, всегда устремлена в грядущее… И потому ей дано сказать то, чего мы не могли сказать…

Посматривая на часы, я не без ужаса ожидал,

что кончится концерт в любимом мною Пушкинском музее и мне предстоит отправиться на Казанский вокзал, совсем в иной мир, и погрузиться в совсем иную жизнь, ту, что колобродит испокон веков в омутах суеты и коловращений, где божественные песни не звучат, да и ничего не значат… Но именно поэтому я должен быть там…

V

Минуло полдня, поезд уже шел по приволжским краям, и в купированных вагонах успел установиться свой, насколько это возможно, стабильный дорожный быт, рассчитанный на много дней пути, а в общем вагоне, в котором ехал Авдий Каллистратов, шла, можно сказать, коммунальная жизнь. Народ ехал разный, и у каждого была своя причина следовать в поезде. И все это было в порядке вещей — людям надо, люди едут. И среди них — гонцы за анашой, попутчики Авдия Каллистратова. Он догадывался, что гонцов в этом поезде ехало с добрый десяток, но сам он пока знал только двоих — тех, к которым приставил его на вокзале разбитной носильщик Утюг. То были мурманские молодчики — один постарше, Петруха, лет двадцати, и второй совсем еще мальчик, шестнадцати лет, звали его Леней, но и он, Леня, отправлялся на промысел уже во второй раз. Оттого считал себя бывалым волком и даже кичился тем. Держались мурманчане поначалу сдержанно, хотя и знали, что Авдий, Авдяй, как стали они его звать на северный лад, свой человек, что начинает он в

гонцах по рекомендации надежных людей. Разговаривать намеками о делах пришлось в основном в тамбуре, на перекурах. Народ теперь не терпел уже курящих в вагоне — при таком скоплении и при без того спертом воздухе. Вот и выходили в тамбур поболтать да покурить. Первым обратил внимание, что курит Авдий не так, как следовало бы людям их пошиба, Петруха:

— А ты, Авдяй, сроду не курил, что ли? Как дамочка какая, боишься, что ли, затянуться? Пришлось соврать:

— Курил когда-то, да бросил…

— Оно и видно, а я вот сызмальства привык. А наш Ленька — тот куряка так куряка, как дед какой смолит, да и выпить при случае не пропустит. Сейчас нам, правда, нельзя, зато потом врежем.

— Так ведь мал он еще!

— Кто мал, Ленька? Мал, да удал. Ты-то вот вроде впервой движешься по крупному делу, это тебе не шабашка какая. А он уже все ходы-выходы знает, будь здоров!

— И травку тоже потребляет или в гонцах только ходит? — поинтересовался Авдий.

— Ленька-то? А то как же, курит. Теперь все курят. Так ведь курить надо с умом, — стал рассуждать Петруха. — Иные есть — наглотаются до

умопомрачения, такие в дело не годятся. Это тухляки. Завалят всю малину. Травка — она какая, она — радость приносит, на душе рай от нее.

— А отчего радость?

— А оттого, вон, скажем, маленький ручеек протекает, его перешагнуть да переплюнуть, а для тебя он — река, океан, благодать. Вот тебе и радость. А ведь радость — дело какое, откуда взять ее — радость? Ну, к примеру, хлеб купишь, одежду купишь, обувку тоже купишь, водку все пьют тоже за деньги. А от травки, хоть и деньги платятся немалые, — приятность особая: ты будто во сне, и все вокруг ну прямо как в кино. Только разница в том, что кино глазеют сотни да тысячи, а тут ты сам по себе только, и никому нет дела, а кто сунется, тому можно и в рыло дать, не твое, мол, дело, как хочу, так и живу, не лезь в чужой огород. Вот ведь оно какой оборот! — И, помолчав, намекнул хамовато, щуря острые глаза: — А то, Авдяй, попробуешь, может, травки, покайфуешь для приятности, могу уделить из личных запасцев…

— Да я уж своего попробую, — отказался Авдий, — вот когда свой пай добуду, тогда другое дело.

— Тоже верно, — согласился Петруха, — свое

есть свое. — Помолчал и решил высказаться дальше: — В нашем деле, Авдяй, главное — осторожность, потому как все вокруг наши враги: каждая бабка, каждый ветеран с медалехой, каждый пенсионер, а о других и говорить нечего. Всем так и хочется, чтобы нас засудили да рассовали подальше по каторгам, чтобы с глаз долой. А потому правило у нас такое — веди себя вроде ты никто, неприметная серая птичка, пока свой куш не сорвал. А потом знай наших! Когда деньги в кармане, пошли они все к такой-то матери… А если что, Авдясь, умри-подохни, но своих не выдавать. Это закон. А не выдержишь, так и так — хана, пришить могут как собаку. Хоть и в зоне, а все равно достанут. Это тебе не шуточки-игрушечки…

Выяснялось постепенно, что Петруха где-то на строительствах разных работал, а как лето наступало, отправлялся в примоюнкумские края, знал места, богатые анашой. Говорил, заросли есть такие, особенно по балкам, завались, хоть на весь мир хватит. Дома у него только мать была престарелая, пьющая. Братья разъехались кто куда, в Заполярье, на газопровод. Зашибают, как выразился, бедолаги, деньгу то в холодах, то в гнусе сплошном. А он прогуляется разок в Азию-

косоглазию, и хоть весь год живи поплевывай себе в потолок, только бы слюны хватило. А у его напарника Леньки дела семейные обстояли еще хуже. Матери не знал. Определен был в Дом малютки. А когда было ему года три, какой-то мурманский капитан дальнего плавания, что главным образом на Кубу ходил, заявился с женой в приют и взял по всем правилам мальчишку на усыновление. Детей своих у них не было. А через пять лет все пошло прахом. Жена капитана укатила с кавалером куда-то в Ленинград. Капитан запил, перешел на портовые работы. Ленька учился в школе кое-как, жил то у тетки капитана, то у брата его, бухгалтера, а у того жена — цербер, и так и пошло все одно к одному, и отбился малый от рук, остервенел. Ушел от капитана насовсем. Пристроился у одного инвалида войны, бывшего подводника, одинокого, доброго, но влияния на Леньку не имевшего. Парень жил как хотел. Захотелось куда-то закатиться — закатился. Захотелось вернуться — объявился. И вот уже второй сезон Ленька отправлялся гонцом за анашой, да и сам, похоже, пристрастился к этому зелью дурному, а ведь ему всего шестнадцать лет, и впереди вся жизнь…

Авдию Каллистратову стоило немалой выдерж-

ки не реагировать на все вопиющие подробности, поскольку он поставил себе задачу — постичь природу этих явлений, затягивающих в свои тенета все новых и новых молодых людей. И чем больше вникал он в эти печальные истории, тем больше убеждался, что все это напоминало некое подводное течение при обманчивом спокойствии поверхности житейского моря и что, помимо частных и личных причин, порождающих склонность к пороку, существуют общественные причины, допускающие возможность возникновения этого рода болезней молодежи. Причины эти на первый взгляд было трудно уловить — они напоминали сообщающиеся кровеносные сосуды, которые разносят болезнь по всему организму. Сколько ни вдавайся в эти причины на личном уровне, толку от этого мало, если не вовсе никакого. Тут необходимо было как минимум написать целый социологический трактат, а лучше всего открыть дискуссию — в печати и на телевидении. Вон он чего захотел, ну точно пришелец… А он и был таковым, если учесть его семинаристскую ограниченность и неведение повседневной жизни. Потом он убедится: никто не заинтересован в том, чтобы о подобных вещах говорилось в открытую, и объяснялось это

всегда соображениями якобы престижа нашего общества, хотя, по сути дела, речь шла прежде всего о нежелании рисковать лишний раз своим положением, зависящим от мнения и настроения других лиц. Видимо, для того чтобы поднять тревогу о неблагополучии в какой-то части общества, помимо всего прочего нужно было еще не бояться поступить во вред себе. К счастью и несчастью своему, Авдий Каллистратов был свободен от бремени такого затаенного страха. Но пока все эти житейские открытия были впереди. Он только вступал на этот путь, только соприкасался с той стороной действительности, которую он из сострадания к заблудшим душам жаждал познать на собственном опыте, чтобы помочь хотя бы некоторым из этих людей, и не нравоучениями, не упреками и осуждением, а личным участием и личным примером доказать им, что выход из этого пагубного состояния возможен лишь через собственное возрождение и что в этом смысле каждому из них предстоит совершить революцию в масштабах хотя бы своей души. Но опять же он не предполагал, как дорого придется платить за такие прекраснодушные идеи.

Молод был. Разве что только молод был… А ведь как изучал в семинарии историю Христа

— переносил Его муки на себя в такой степени, что плакал навзрыд, когда прочел, как в Гефсиманском саду Его предал Иуда! О, какое крушение мироздания видел он в том, что Христа распяли в тот жаркий день, на той горе на Лысой. Но не подумал в ту пору малоопытный юнец: а что, если существует на свете закономерность, согласно которой мир больше всего и наказывает своих сынов за самые чистые идеи и побуждения духа? Быть может, стоило подумать: а что, если это есть форма существования и способ торжества таких идей? Что, если это так? Что, если именно в этом — цена такой победы?

Хотя еще в самом начале был как-то об этом разговор с Виктором Городецким, которого, несмотря на небольшую разницу в годах, Авдий величал Никифоровичем. А разговор зашел перед тем, как Авдий уже решился порвать с духовной семинарией.

— Что мне сказать? Видишь ли, отец отрок, ты не обижайся, Авдий, что подчас отцом отроком тебя зову, но сочетание уж больно хорошее, — размышлял Городецкий, когда они пили чай у него дома. — Ты уйдешь из семинарии, а скорей всего тебя отлучат от церкви, я уверен, что наставники твои не допустят, чтобы ты покинул их,

бросив им вызов… Тем более, что ты уходишь по причине, так сказать, редкой и очень неприятной для церкви — не потому, что ты какую-нибудь несправедливость испытал, не из-за обиды, притеснений и не потому, что поскандалил с каким-нибудь лицом церковным, нет, отец отрок, церковь перед тобой ни в чем не виновата… Ты порываешь, так сказать, по чисто идейным соображениям.

— Да, Виктор Никифорович, это так. Прямых причин нет, это было бы слишком просто — обида. Дело вовсе не во мне, а в том, что традиционные религии на сегодняшний день безнадежно устарели, нельзя всерьез говорить о религии, которая рассчитана была на родовое сознание пробуждающихся низов. Сами понимаете, если история сможет выдвинуть новую центральную фигуру на всемирном горизонте верований — фигуру Бога-современника с новыми божественными идеями, соответствующими нынешним потребностям мира, тогда еще можно надеяться, что вероучение будет чего-то стоить. Вот причина моего ухода.

— Понимаю, понимаю! — снисходительно улыбнулся Городецкий и, прихлебывая чай, продолжал: — Звучит все это вроде ошеломляюще.

Но прежде чем коснуться твоей теории, должен сказать тебе, что сижу сейчас, чай пью и радуюсь самым натуральным образом, что мы с тобой не в средние века живем. Да за такую неслыханную ересь где-нибудь в католической Европе, в Испании или в Италии, только за то хотя бы, что ты осмелился сказать, а я имел неосторожность выслушать тебя, нас бы с тобой, отец мой отрок, вначале четвертовали бы, потом сожгли бы на костре, потом перемололи бы останки в порошок и развеяли бы по ветру. Ух как люто расправилась бы инквизиция с нами, с каким удовольствием! Уж если священная инквизиция сожгла одного несчастного только за то, что в доносе на него было сказано, будто он позволил себе загадочно улыбнуться при упоминании непорочного зачатия, то надо думать…

— Виктор Никифорович, прости, но придется тебя перебить, — усмехнулся Авдий, нервно застегивая пуговицы черного семинаристского сюртука. — Я понимаю, что немало развеселил тебя, но без шуток, если бы в наше время существовала инквизиция и если бы завтра мне грозило сожжение на костре за мою ересь, я не отказался бы ни от одного своего слова.

— Верю, — согласно кивнул Городецкий.

— Я пришел к этой идее не случайно. Я пришел к ней, изучив историю христианства и наблюдая над современностью. И я буду искать новую, современную форму Бога, даже если мне никогда не удастся ее найти…

— Это хорошо, что ты упомянул об истории, — прервал его Городецкий. — Теперь послушай меня. Твоя идея о новом Боге — это абстрактная теория, хотя в чем-то и чрезвычайно актуальная, выражаясь языком наших интеллектуалов. Это твои соображения, как прежде говорили, умственные выкладки. Ты программируешь Бога, а Бог не может быть умозрительно придуман, как бы это заманчиво и убедительно ни выглядело. Понимаешь, если бы Христос не был распят, он не был бы Господом. Эта уникальная личность, одержимая идеей всеобщего царства справедливости, вначале была зверски убита людьми, а затем вознесена, воспета, оплакана, выстрадана, наконец. Здесь сочетается поклонение и самообвинение, раскаяние и надежда, кара и милость — и человеколюбие. Другое дело, что потом все было извращено и приспособлено к определенным интересам определенных сил, ну да это судьба всех вселенских идей. Так вот подумай, что сильнее, что могущественней и притягательней, что

ближе — Бог-мученик, который пошел на плаху, на крестную муку ради идеи, или совершенное верховное существо, пусть и современно мыслящее, этот абстрактный идеал.

— Я думал об этом, Виктор Никифорович. Вы правы. Но я не могу отрешиться от мысли, что настала пора пересмотреть прошлое, каким бы оно ни было незыблемым, представление о Боге, давно не соответствующее новым познаниям мира. Ведь это же очевидно. Не будем спорить. Очень возможно, что я иду от абстракции, ищу то, что не подлежит поискам. Ну что ж! Пусть мои мысли несовместимы с каноническим богословием. Я ничего не могу поделать с собой. Я был бы счастлив, если б кто-нибудь мог переубедить меня.

Городецкий понимающе развел руками:

— Я тебя понимаю, отец Авдий. Но при всем при этом должен предостеречь тебя — богоискательство, в представлении церковников, самое страшное преступление против церкви, это равносильно тому, что ты вознамерился бы перевернуть весь мир вверх дном.

— Я это знаю, — спокойно сказал Авдий.

— Но еще больше не любят богоискательства в миру. Ты об этом думал?

— Это парадоксально, — удивился Авдий.

— Поживешь — увидишь…

— По как же так? Здесь их позиции смыкаются?

— Не то что смыкаются, но никому это не нужно…

— Странно, самое нужное, выходит, никому не нужно…

— Думаю, тяжко тебе придется, отец Авдий. Я тебе не завидую, но и не останавливаю, — сказал напоследок Городецкий.

Прав он был. Во всем прав. Некоторое время спустя Авдий Каллистратов имел возможность в этом убедиться.

Небольшая история эта произошла перед тем, как быть ему изгнанным из семинарии. В этот день к ним в городок прибыло встреченное ректоратом на вокзале с большим почтением важное лицо — представитель Московской патриархии владыка Димитрий. В семинаристской среде его так и звали — отцом Координатором. Благообразный и благоразумный человек средних лет, каким в идеале он и должен был быть, отец Координатор прибыл на этот раз в связи с чрезвычайным происшествием, виновник которого, один из самых лучших семинаристов, Авдий Каллистратов встал на путь ереси — открытой

ревизии священного писания, выдвинув сомнительную идею о Боге-современнике. Разумеется, отец Координатор прибыл как наставник и миротворец, с тем чтобы силой своего авторитета вернуть заблудшего юношу в лоно церкви, не вынося размолвку за ее стены. В этом смысле церковь мало чем отличается от светских институтов, для которых честь мундира важнее всего. Будь на месте Авдия Каллистратова человек более опытный в житейском плане, он так бы и воспринял отеческое намерение Координатора, но Авдий совершенно искренне не понял видного церковника, чем сильно осложнил его расчеты. Авдий был вызван на беседу к отцу Координатору в середине дня и пробыл при нем часа три, никак не меньше. Поначалу отец Координатор предложил помолиться совместно у алтаря в академической церкви, устроенной в одном из залов главного корпуса.

— Сын мой, ты, безусловно, догадываешься, что у меня к тебе серьезный разговор, однако не будем спешить, соблаговоли проводить меня к алтарю Божьему, — попросил он Авдия, глядя на него выпуклыми красноватыми глазами, — чувствую, нам надо вначале помолиться совместно.

— Спаси вас, Господи, владыка, — сказал Ав-

дий, — я готов. Лично для меня молитва есть контрапункт постоянных размышлений о Всевышнем. Мне кажется, мысль о Боге-современнике никогда не покидает меня.

— Не будем столь поспешны, сын мой, — сдержанно промолвил отец Координатор, поднимаясь с кресла. Он даже пропустил мимо ушей дерзновенную фразу о Боге-современнике, о контрапункте, многоопытный клирик не пожелал обострять разговор с самого начала. — Помолимся. Должен тебе сказать, — продолжал он, — чем больше я живу на свете, тем больше убеждаюсь в благости Божией, в беспредельной его милости к нам. И счастлив, что дано это почувствовать в самозабвенной молитве. Бесконечно всепрощение Господне. Поистине Всевышний бесконечен в любви своей к нам. Возможно, наши молитвы для него всего лишь легкомысленный лепет, но в них наше нерасторжимое единство с Богом.

— Вы правы, владыка, — проговорил Авдий, стоя в дверях.

И затем, поскольку зелен был еще и нетерпелив, не выдержал требуемую приличием паузу в беседе и сразу выложил свой козырь:

— Осмелюсь заметить, однако, что Бог в нашем понятии бесконечен, но поскольку мысль

на земле развивается от познания к познанию, напрашивается вывод: Бог тоже должен иметь свойство развития. А как вы думаете, владыка?

И тут отец Координатор не смог уйти от ответа.

— Однако же ты горяч, сын мой, — проговорил он, глухо покашливая и оправляя на себе плотное облачение. — Не пристало так судить о Боге, пусть и по молодости. Нам не дано познать предвечного Творца. Он существует вне нас. Даже материализм признает, что мир существует вне нашего сознания. А Бог и подавно.

— Простите, владыка, но лучше называть вещи своими именами. Вне нашего сознания Бога нет.

— И ты уверен в этом?

— Да, потому и говорю.

— Ну что ж, не будем сразу ставить точки над «и». Допустим, мы устроим небольшую учебную дискуссию. К ней мы вернемся после молитвы. А пока, будь милостив, проводи меня в храм.

Уже один тот факт, что отец Координатор оказал Авдию честь помолиться вместе в академической церкви, по логике вещей должен был быть понят как знак доброжелательства, и семинарист, которому угрожало исключение, казалось бы, должен был воспользоваться этой

благоприятной для него ситуацией.

Они шли по коридору — впереди отец Координатор, сбоку на полшага позади Авдий Каллистратов. Глядя на прямую осанку владыки, на его уверенную поступь, на черную, свободную, ниспадающую до полу рясу, придававшую ему особую величественность, Авдий почувствовал в нем ту сложившуюся веками силу, которая в каждом человеческом деле, охраняя каноны веры, прежде всего соблюдает собственные интересы. С ней-то, этой противостоящей силой, и предстояло ему столкнуться на пути поисков истины в жизни. Но пока они оба шли к Тому, в которого верили, каждый по-своему, и именем которого обязаны были внушать другим людям общие для всех мысли о мире и месте в нем человека. И тот и другой уповали на Него, поскольку Он был всезнающ и всемилостив. Итак, они шли…

В академической церкви в тот час было пусто, и потому она показалась не такой уж малой. В остальном это была церковь как церковь, разве что в глубине притемненного алтаря лик Христа в строгом обрамлении потемневших волос, с пристальным, взыскующим взглядом слишком уж белел, выхваченный матовой подсветкой. К Нему обратили взоры и мысли оба коленопреклонен-

ных человека — пастырь и молодой обученец, пока еще не лишенный свободы собственного суждения. Каждый из них пришел сюда в надежде как бы на персональную беседу с Ним, ибо Он мог вести синхронный диалог в любое время суток с неисчислимым количеством желающих к Нему обратиться, практически со всем человечеством одновременно в любых точках земного пространства. В этом и была Его вездесущность.

И на этот раз все обстояло так же: творя молитву, каждый желал изложить вместе с тем и свои тревоги, и печали, и оправдания своих действий, исходящих из веры в Него, и каждый попытался соотнести себя с воображаемой вселенной, в которой он занимал столь микроскопическое место на столь микроскопический срок, и каждый, осеняя себя крестом, благодарил Творца за то, что ему суждено было родиться на свет, и каждый просил, когда настанет последний из последних дней, дать ему умереть с Его именем на устах…

Потом они снова вернулись в тот кабинет к своим делам, и здесь состоялся открытый разговор с глазу на глаз.

— Так вот, сын мой, я не стану читать тебе нравоучений, — произнес для начала отец Координатор, располагаясь поудобней в кожаном

кресле напротив Авдия Каллистратова, сидящего на стуле, смиренно положив руки на худые колени, остро выступающие из-под серого семинаристского одеяния.

Авдий был готов к крутому разговору, и это несколько удивило его — он не увидел в глазах владыки ни гнева, ни иных недобрых побуждений, наоборот, отец Координатор внешне был весьма спокоен.

— Слушаю, владыка, — ответил покорно семинарист.

— Так вот, повторяю, я не стану распекать тебя и читать тебе нотации. Такие примитивные способы воздействия не для тебя. Но те речи, что ты себе позволяешь — и не так по легкомыслию, как по горячности, — не могут не вызывать досады. Но и при этом ты, наверно, заметил, что я говорю с тобой как с равным. Более того, ты достаточно умен… Скажу тебе откровенно: в интересах церкви, чтобы ум твой не противостоял ее учению, а служил бы безраздельно и безусловно заветам Господа. И я не скрываю этого. Хотя мог бы и за уши отодрать тебя по-отечески, поскольку хорошо знавал твоего покойного батюшку и в добром был с ним взаимопонимании. Человек он был воистину христианских добродетелей и

к тому же весьма образованный. Но вот судьба свела и с тобой, Авдий, с сыном покойного дьякона Иннокентия Каллистратова, выражаясь канцелярским языком, многие годы бывшего служителем церкви. И что же выходит? Не скрою, вначале был весьма наслышан о тебе с положительной стороны, но привели меня сюда теперь, как сам понимаешь, обстоятельства тревожного свойства. Получается, что ты встал на путь ревизии вероучения, будучи, если взять твой статус, всего лишь обученцем. Из твоих даже чисто случайных высказываний я успел убедиться, что заблуждения твои, пожалуй, больше возрастного характера. Хотелось бы так думать. Дело в том, что молодости в силу целого ряда причин свойственна особая самонадеянность, которая по-разному проявляется у разных лиц в зависимости от темперамента и воспитания. Слышал ли ты когда-нибудь, чтобы пожилой человек, изведавший немалые жизненные муки, разуверился бы в Боге к концу жизни или стал бы толковать на свой лад божественные понятия? Нет, такое если и случается, то, несомненно, случается крайне редко. Суть божественного все глубже познается именно с возрастом. Ведь все европейские философы, в частности так называ-

емые французские энциклопедисты, начавшие в смутную предреволюционную эпоху атеистический штурм религии, который длится уже двести с лишним лет, были, кстати сказать, молодыми людьми, не так ли?

— Да, владыка, они были молоды, — подтвердил Авдий.

— Ну вот видишь. Не говорит ли это о том, что молодости свойствен эдакий — модное сейчас слово — экстремизм, прежде всего потому, что это ее возрастная особенность?

— Да, но эти молодые люди, которые, на ваш взгляд, владыка, оказались экстремистами, имели, скажем для справедливости, к тому же еще довольно основательные убеждения, — вставил Авдий.

— Безусловно, безусловно, — поспешил согласиться отец Координатор, — но это особый вопрос. Во всяком случае, они не были священнослужителями, их отношение к религии было их частным делом, с них другой и спрос, а ты, сын мой, будущем пастырь.

— Тем паче, — перебил его Авдий, — ведь, по идее, люди должны всецело верить мне и моим познаниям.

— Не спеши, — нахмурился отец Координа-

тор, — если ты не намерен взять в толк сказанное мной для твоего же блага, давай поговорим по-другому. Ну, во-первых, не тобой первым, не тобой последним овладевает дух противоречия на стезе постижения веры. Таких, как ты, засомневавшихся, церковь на своем веку знавала немало. Ну и что? В каждом великом деле неизбежны издержки. Такие преходящие моменты, случайности были и будут. Важно то, что они имеют совершенно неизбежный исход: или решительный отказ субъекта от своих сомнений и решительный его поворот с еще большим усердием и рвением к неукоснительному признанию истинной веры, из чего вытекает прощение его вышестоящими отцами, или, в случае его упрямства и несогласия, исторжение оного еретика из лона церкви и предание его анафеме. Тебе ясно, что третьего пути не дано, что третий путь исключается? Новомыслие твое не может быть принято. Тебе ясно?

— Да, владыка, но я допускаю, что третий путь необходим не так мне, как самой церкви.

— Ну-ну, — насмешливо покачал головой отец Координатор. — Это же надо такое нагородить! — воскликнул он и с горьким злорадством предложил: — Так изложи, будь милостив, что это

за третий путь ты уготовил Священной церкви. Уж не революцию ли какую? Ведь такого еще не знала история…

— Преодоление вековечной закоснелости, раскрепощение от догматизма, предоставление человеческому духу свободы в познании Бога как высшей сути собственного бытия…

— Остановись, остановись! — запротестовал отец Координатор. — Это самодеятельность смешна, дорогой!

— Ну если вы исключаете самостоятельность мысли как таковую, то, к сожалению, владыка, нам не имеет смысла дальше разговаривать!..

— Вот именно — не имеет смысла! — разгорячился отец Координатор и встал с места. Голос его загудел: — Очнись, юноша, отринь гордыню! Ты на гибельном пути! Ты мнишь, несчастный, что Бог лишь плод твоего воображения, а потому сам человек почти Бог над Богом, тогда как само сознание сотворено небесной силой. Дай волю новомыслию, и ты на нет сведешь тысячелетние заветы и запреты, так дорого оплаченные людьми в прозрениях и муках, чтобы пронести божественные устои через все поколения. Вот куда ты метишь, ратуя за раскрепощение от догматизма, тогда как догматы даны по благодати

Господа. Без новомыслий церковь может стоять, как стояла, а без догматов вероучения быть не может. И если уж на то пошло, запомни: догматизм — первейшая опора всех положений и всех властей. Запомни. Ты, якобы улучшая Бога новомыслием, на самом деле игнорируешь его. И ты готов собою подменить его! Но благо не от тебя и не от подобных тебе зависит, как Богу с нами быть, — твое же богохульство уничтожает только тебя самого. А Господь пребудет неизменно и вечно! Аминь.

Авдий Каллистратов стоял перед отцом Координатором с побелевшими губами: юноше было мучительно его бурное негодование. И все-таки он не отступался:

— Простите меня, владыка, не стоит приписывать небесным силам, что проистекает от нас самих. Зачем было бы Богу создавать нас столь несовершенными, если бы Он мог избежать того, чтобы мы, Его творения, сочетали в себе одновременно две противоположные силы — силы добра и силы зла. Зачем бы Ему понадобилось делать нас столь подверженными сомнениям, порокам, коварству даже в отношениях с Ним самим. Вы ратуете за абсолют вероучения, за конечное раз и навсегда постижение сущности мира и нашего

духа, но это же нелогично — неужто за две тысячи лет христианства мы не в состоянии добавить ни одного слова к тому, что было сказано едва ли не в добиблейские времена? Вы ратуете за монополию на истину, но это по крайней мере самообман, ибо не может быть такого учения, даже богоданного, которое бы раз и навсегда познало истину до конца. Ведь если это так, значит, это мертвое учение.

Он замолчал, и в наступившей тишине слышно стало, как зазвонил за окном колокол городской церкви. Так близок и так знаком был тот колокольный звон — символическая связь между человеком и Богом, и Авдию хотелось уплыть, удалиться, исчезнуть, как эти звуки, в бесконечности…

— Ты слишком далеко заходишь, молодой человек, — промолвил отец Координатор холодным, отчужденным тоном. — Мне не следовало бы заводить с тобой теологические споры, ибо твои познания весьма незрелы и даже сомнительны, — не говоришь ли ты по наущению врага рода человеческого — дьявола? Но одно скажу тебе на прощание: тебе с такими мыслями не сносить головы потому, что и в миру не терпят тех, кто подвергает сомнению основополагаю-

щие учения, ведь любая идеология претендует на обладание конечной истиной, и ты с этим непременно столкнешься. А жизнь мирская куда жестче, чем может показаться, и ты еще поплатишься за свое недомыслие и еще припомнишь наш разговор. Но довольно, готовься уходить из семинарии, ты будешь отлучен от церкви — дома Божьего!

— Моя церковь всегда будет со мной, — не отступался Авдий Каллистратов. — Моя церковь — это я сам. Я не признаю храмов и тем более не признаю священнослужителей, особенно в сегодняшнем их качестве.

— Что ж, мальчик, дай Бог, чтобы все обошлось, но можешь быть уверен: мир научит тебя слушаться, ибо там существует насущная необходимость — добывать себе кусок хлеба. И эта необходимость до сих пор повелевала жизнью миллионов таких, как ты…

Предостережения эти потом действительно припомнились не раз и не два, но всякий раз Авдию Каллистратову казалось, что главное в его предназначении, некий высший смысл — еще впереди, как черта видимого горизонта, что все перипетии и житейские невзгоды на пути к нему лишь временны и что настанет день, когда мно-

гие люди последуют его примеру, а не в этом ли цель его существования?

В те дни, когда он ехал вместе с гонцами за анашой в конопляные степи, глядя с утра до вечера на пустынные просторы из окна поезда, он говорил себе: «Ну вот, теперь ты сам по себе, ни с чем не связан, кроме задания редакции, во всем остальном ты волен распоряжаться собой по своему усмотрению. Ну и что, что тебе открылось в хождении по мукам? Вот она, жизнь, как она есть, и ты лицом к лицу с ней. Как и сто лет назад, народ едет в поезде откуда-то и куда-то, и ты один из пассажиров, и гонцы среди них тоже пассажиры как пассажиры, но потенциально они люди отчаянные — ведь они паразитируют на одном из самых страшных пороков. Тот горький дым, казалось бы, ничто, сладкий дурман, но он разрушает человека в человеке. А как ты защитишь их, когда они сами себя приносят в жертву? Знаешь ли ты, отчего все это проистекает? В чем кроются причины? Молчишь — не знаешь, с какого конца подойти, как объяснить, что предпринять? А не ты ли рвался с неудержимой силой из стен семинарии на стремнину жизни, чтобы хоть в чем-то изменить ее к лучшему? Соученики по семинарии тебя идеалистом окрестили. Не

зря, наверно. А сейчас ты уже думаешь, нуждаются ли эти гонцы в тебе, необходимо ли им, чтобы ты вмешивался в их дела и поступки. Да и что ты можешь для них сделать? Переубедить, заставить жить другой жизнью? И пока ты терзаешься, думаешь что да как, они едут с твердо намеченной целью, и жаждут удачи для себя, и видят в том счастье свое. Но как их разубедить, как повернуть их лицом к истине? А если не вмешаться, не помочь, они рано или поздно будут осуждены, заперты в колониях, но воспримут это не как вину, а как беду. Другое дело — суметь отвратить от зла, очистить покаянием, заставить самих отречься от этого преступного промысла и увидеть подлинность счастья в другом. Как это было бы прекрасно! Но в чем они должны увидеть свое счастье? В наших рекламируемых ценностях? Но ведь они порядком обесценены и вульгаризированы. В Боге, в котором они с детства видят дедкино-бабкино посмешище, сказку, и не больше? И в конечном счете что может слово перед возможностью заиметь запросто большие деньги? У всех ныне на устах расхожий афоризм — спасибо к делу не пришьешь, а деньги — это деньги! А эти деньги, что делают гонцы, наверно, не только наши, но очень даже возможно, что и

чужие, — вон сколько гонцов едет из портовых городов — из Мурманска, Одессы, Прибалтики, а говорят, и с Дальнего Востока. Куда уходит анаша и производное от пластилина и экстры? Да разве дело в этом — куда уходит? Почему это происходит, почему возможно такое в нашей жизни, в нашем обществе, которое на весь мир провозгласило, что наша социальная система недоступна для пороков. О, если бы удалось так сделать, написать такой материал, чтобы откликнулись на него многие и многие, как на кровное дело свое, как на пожар в собственном доме, как на беду собственных детей, только тогда слово, подхваченное многими небеспристрастными людьми, может пересилить деньги и победить порок! Дай-то Бог, чтобы так оно и получилось, чтобы сказано оно было не впустую, чтобы, если и вправду „Вначале было слово“, то чтобы оно и осталось в своей изначальной силе… Так бы жить, так бы думать…

Но, Боже, опять же к тебе обращаюсь: что есть глагол перед звонкими деньгами? Что есть проповедь перед тайным пороком? Как одолеть словом материю зла? Так дай же силы, не покидай меня в моем пути, я один, пока один, а им, одержимым жаждой легкой наживы, несть числа…

* * *

Оставив позади саратовские земли, поезд Москва — Алма-Ата уже вторые сутки шел по казахстанским краям. Впервые оказавшись на Туранской стороне континента, Авдий Каллистратов поражался в поездке размаху и масштабам края, обретенным некогда Россией географическим пространствам — перед взором расстилались поистине неоглядные дали: если взять вместе с Сибирью, мысленно представлял он себе, это же почти полсвета суши… И так редки тут поселения… Города, деревни и аулы, станции, разъезды, случайные скотные дворы и дома примыкали к железной дороге, как редкие мазки на необъятном степном холсте, лишь загрунтованном, но так и оставленном в незакрашенном сером однообразии… В здешней стороне повсюду простирались открытые степи, сейчас они находились в той поре цветения, когда великие и малые травы достигают своего апофеоза, преобразующего лик земли всего на несколько дней, чтобы снова затем пожухнуть под нещадным солнцем и затем целый год ждать весны…

В приоткрытые окна вагонов наплывами доносились густые запахи цветущих степных трав,

особенно сильные, если поезд задерживался на каком-нибудь безвестном полустанке, открытом со всех четырех сторон света, и тогда хотелось выскочить из душного вагона и побегать на воле по тем травам, невзрачным с виду, но таким полынно-пахучим, отдающим одновременно соком и сухостью почвы. Странно, думал Авдий, неужели и та проклятая конопля-анаша растет так же привольно и так же заманчиво пахнет? Пожалуй, запах у нее должен быть куда сильнее и резче, судя по тому, что рассказывают гонцы в минуту откровенности, но главное, говорят они, анаша длинная и стеблистая, и заросли ее высотой чуть ли не до пояса. Однако далеко не везде растет она, эта дикая конопля, есть у нее свои места произрастания, и слава богу, что не везде, что за ней надо ехать и ее надо разыскивать, была б она доступнее, можно представить себе, что творилось бы… Вот и едут гонцы из далеких портовых городов, из одного края света в другой, едут как завороженные в поисках одурманивающей анаши… Еще далеко, им еще ехать да ехать — и неизвестно, чем все это обернется, что выйдет из этой затеи.

А бывало, что Авдий Каллистратов, забывая на время о цели своей тайной поездки, рисовал в

воображении, кем и в какие времена населялись эти края, вспоминал в связи с этим прочитанные книги, фильмы, которые ему доводилось видеть в школьные годы, и радовался тому, что встречались еще приметы и следы ушедшей жизни: стада бурых верблюдов, разбросанные по степи, как покинутые города, кладбища-мазары, небольшие аулы в несколько кибиток, а то и промелькнет юрта — одна-одинешенька, насколько видит глаз, и страшно становилось за обитателей этого затерянного в мире ветхого жилища, проносились перед взором всадники то в одиночку, то группой, иные еще, как в былые времена, в островерхих шапках, на лошадях в старинной сбруе… И думалось ему: как могли люди жить здесь и не умереть от тоски и безводья в этих великих пространствах? А как им по ночам? Что чувствует человек здесь перед лицом ночного космоса, как, наверное, страшно и жутко ему от ощущения полного своего одиночества в беспредельности мира, и потому, должно быть, проходящие здесь поезда в радость и нисколько не действуют на нервы, как бывает в больших городах. А может быть, наоборот, величие степных ночей рождает в душах великие стихи, ведь что такое поэзия как не самоутверждение человеческого духа в

мировом пространстве…

Но такие размышления отвлекали его ненадолго, снова приходило на ум, что он следует вместе с гонцами за анашой, что имеет дело с точки зрения закона с преступными лицами и до поры до времени ему придется в интересах задуманного им социально-нравственного репортажа для газеты мириться с этой жизнью, с тем злом, которое анашисты несут в себе. Он чувствовал при этом невольный под ложечкой холодок, неприятное ощущение в желудке, смутную до озноба тревогу, будто он сам был одним из гонцов, одним из замешанных в этих преступных делах. И тогда он понимал внутреннее состояние тех, кто живет с тайным грузом на душе, понимал, что как ни велика земля, как ни радостны новые впечатления, но все это ничего не стоит, ничего не дает ни уму, ни сердцу, если есть в сознании хоть крохотная болевая точка, она определяет исподволь и самочувствие человека и его отношения с окружающими. Приглядываясь к гонцам, с которыми он делил теперь свой путь в конопляные степи, пытаясь разговорить их, вызвать на откровенность, Авдий Каллистратов предполагал, что при всей своей внешней самоуверенности каждый из гонцов-попутчи-

ков, должно быть, угнетен своим промыслом и неотступным страхом перед неотвратимым возмездием, и жалел их. Ведь ничем иным объясняются их бравада, вызывающий жаргон, карты, водка, их удаль — пан или пропал, ибо не видят они для себя иного хода жизни. Вызволить души этих людей из-под власти порока, раскрепостить их, раскрыть им глаза на самих себя, освободить от вечно преследующего страха, отравляющего их, как яд, разлитый в воздухе, — вот чего хотелось Авдию Каллистратову, и, призывая себе на помощь все свои познания и пусть небогатый, но все же и немалый житейский опыт, он пытался найти подступы к осуществлению этого возвышенного намерения и теперь понимал, что, уйдя из семинарии, расставшись с официальной церковью, в душе он оставался проповедником и что нести людям слово истины и добра так, как он понимал его, — самое великое, что он мог бы совершить на своем жизненном пути. А для этого не обязательно быть рукоположенным, для этого надо быть преданным тому, чему поклоняешься. Но между тем он пока еще не представлял себе в полной мере того, на что отваживался по велению разума и сердца, влекомый благими пожеланиями. Ведь одно дело прекраснодушно

мечтать и в мечтах нести спасение от пороков, а другое — творить добро среди реальных людей, вовсе не жаждущих, чтобы их наставлял на путь добродетели какой-то Авдий, такой же гонец-добытчик, кативший на край света так же, как и они, за длинным рублем. Какое им дело до того, что Авдий Каллистратов был одержим благородным желанием повернуть их судьбы к свету силой слова, ибо непоколебимо верил, что Бог живет в слове и, чтобы слово возымело божественное действие, оно должно идти от истины подлинной и безупречной. В это он верил, как в мировой закон. Но он пока не знал одного: что зло противостоит добру даже тогда, когда добро хочет помочь вступившим на путь зла… Это ему предстояло еще узнать…

VI

Горбатые отроги снежных гор, возникшие на рассвете четвертого дня, возвестили о приближении поезда к низовьям Чуйских и Примоюнкумских степей, куда они и направлялись. Снежные горы были лишь общим ориентиром в этих пространствах, с удалением в степные просторы и они должны были исчезнуть из поля зрения. Но вот появилось солнце на краю земли, и в несчетный раз все осветилось мирным светом, и поезд, полный людей с такими разными судьбами, не доезжая гор, сверкнул длинной вереницей вагонов в степи и свернул в затянутые маревом равнины — туда, откуда не видны горы…

На станции Жалпак-Саз гонцам-добытчикам предстояло сходить и дальше двигаться своим ходом на свой страх и риск — каждый сам по себе, но по единому замыслу и под единой командой. Это-то больше всего и занимало Авдия Каллистратова — кто он такой, Сам, главный в этом деле, неусыпное око которого следило за ними, о котором упоминали вскользь и негромко.

До станции Жалпак-Саз оставалось часа три езды. Гонцы зашевелились в сборах. Вызывая с

утра недовольство пассажиров, Петруха долго отмывался в туалете после ночной попойки, перед тем как отправиться к Самому за последними указаниями. В прошлый вечер он с дружками начал с шампанского, которое для них было детской забавой, — они пили его стаканами, как лимонад, а потом перешли на водку, и это дало себя знать. Малолетний Ленька — так тот совсем сомлел, и Авдию с трудом удалось поднять его на ноги. Только упоминание о том, что скоро Жалпак-Саз, заставило Леньку пересилить себя и сесть на полке, свесив лохматую голову на безвольной, тощей и грязной шее. Кто бы мог подумать, что этот мальчишка зарабатывает неплохие деньги преступным путем и что жизнь его уже загублена.

Поезд шел ровно и ходко по ровным степным просторам, и где-то в каком-то вагоне находился Сам, к которому и поспешил осоловелый Петруха, опрокинув стакан густого и черного, как деготь, чая для окончательного протрезвления. Видимо Сам не очень-то жаловал выпивох. За всю дорогу Авдию Каллистратову так и не удалось увидеть Самого хотя бы издали, а ведь ехали все в одном поезде. Кто он, каков из себя? Попробуй угадай его среди сотен пассажиров. Но кто бы он ни был, он был осторожен, как камышовый зверь, затаив-

шийся в чаще, за всю дорогу ничем не выдал себя. Вскоре Петруха вернулся от Самого, как побитая собака, угрюмый, обозленный, очень посерьезневший. Разумеется, Сам крепко выматерил его за ночной перепой как раз накануне прибытия. Его можно было понять — с того часа, как поезд прибудет в Жалпак-Саз, самое время действия для добытчиков анаши, а олух Петруха надрался так, что будет всю неделю маяться головной болью. Недовольно глянув на Авдия, будто тот был в чем-то перед ним виноват, Петруха буркнул:

— Пошли, разговор есть.

Они подались в тамбур. Там закурили. Стучали, гремели колеса.

— Ты вот что, Авдяй, значит, запомни, — начал Петруха.

— Да слушаю, — поморщился Авдий.

— А ты не больно вороти нос, — обозлился Петруха. — Кто ты такой есть?

— Да что ты, Петр, — постарался утихомирить его Авдий, — зачем зря обижаться? Ну я не пью, ты выпиваешь, так что из этого, зачем ругаться? Ты лучше скажи, что будем дальше делать?

— Дальше будет, как Сам скажет.

— Ну вот об этом я и говорю. Что Сам-то сказал?

— Твое дело малое, — оборвал его Петруха. — Ты для нас новый, а потому пойдешь со мной и Ленькой, в общем, трое нас будет. А другие ребята, кто сам по себе идет, а кто и на пару с дружком.

— Ясно. Только куда идти-то?

— А это не твоя печаль, со мной пойдешь. Выйдем в Жалпак-Сазе. А дальше добираться надо самим. На попутных машинах до совхоза «Моюнкумский», а дальше безлюдье — там пойдем уже пешком.

— Вот как?

— А ты как думал, на «Жигульке», что ли, тебя доставят? Нет, братец! Там ведь, если заметят кого, могут и зацапать, а если кто на машине или на мотоцикле едет, совсем хана!

— Ну и ну! А Сам что, Сам-то где будет, он с кем идет?

— А тебе какое дело? — возмутился Петруха. — И чего ты все спрашиваешь о нем? Идет, не идет! А может, он и совсем не идет! Он что, тебе подотчетный, или как это понимать?!

— А никак. Раз он у нас главный, надо в случае чего знать, где он.

— Вот как раз об этом тебе знать и не надо! — высокомерно заявил Петруха. — Не наше это с тобой дело, где он будет да как. Понадобится ему,

так он тебя хоть из-под земли достанет. — Петруха многозначительно помолчал, как бы оценивая произведенное впечатление, и потом добавил, глядя в упор мутными, все еще не протрезвевшими глазами: — А тебе, Авдяй, Сам передавал: ежели будешь работать как надо, будешь постоянно наш ходок, а ежели, не ровен час, курвой окажешься, лучше тебе сейчас из дела выйти. Вот сойдем мы на станции, и валяй потихоньку на все четыре стороны, мы тебя не тронем, ну а как войдешь в дело — все, назад ходу нет. Скурвишься — на земле тебе места не будет. Понял?

— Понял, конечно, что тут понимать. Не маленький, — отвечал Авдий.

— Ну так вот, запомни: я тебе передал, ты слышал, чтоб потом никаких — не знал да не понял, простите да помилуйте.

— Хватит, Петр, — прервал его Авдий. — Не повторяй без толку. Я ведь тоже сам себе голова. Знаю, на что иду, и знаю, что мне надо. Ты лучше послушай теперь мой совет. С сегодняшнего дня завяжи и Леньку не спаивай. Он дурачок. Да и тебе зачем? Вот двинемся в те края, поддатые да на такой жаре — какие же мы добытчики будем?

— Согласен, — отрезал Петруха и с облегчением улыбнулся, скривив мокрые губы. — Что верно,

то верно. Верь, Авдяй, сам не возьму ни капли в рот и Леньке не позволю. Все, крышка!

Они помолчали, довольные тем, что разговор завершился к общей пользе. Поезд, раскачиваясь, поспешал к узловой станции Жалпак-Саз, где происходит пересмена тяги и машинистов. Многие пассажиры, которым предстояло выходить, уже собирали вещи. Ленька тоже обеспокоенно выглянул в тамбур.

— Вы чего тут? — поинтересовался он, морщась от головной боли. — Собираться ведь надо. Через часок приезжаем.

— Не боись, — отвечал Петруха. — Что нам собираться? Чай, не девки. Рюкзачок за плечи — и айда.

— Леня, — подозвал к себе мальчишку Авдий. — Подойти ко мне. Голова болит? — Ленька виновато покачал головой. — Вот мы с Петром постановили: с сегодняшнего дня чтобы ни капли. Согласен? — Ленька молча закивал головой. — Ну иди, мы сейчас подойдем. Успеем, не беспокойся.

— Да времени еще навалом, — сказал Петруха, глянув на часы. — Целый час с лишним. — А когда Ленька ушел, сказал: — Это ты верно насчет Леньки-то. Сам же, гаденыш, рвется пить, а выпьет — на ногах не стоит. Но теперь — баста! Дело

есть дело. Это мы в дороге малость побаловались. А потом, не думай, я на Ленькины деньги не пил, может, сам он что… но я пью на свои.

— Да разве в этом дело, — отозвался с горечью Авдий. — Просто жалко мальчишку.

— Это ты верно, — вздохнул с пониманием Петруха. Откровенный разговор навел, должно быть, Петруху на какую-то давно не дававшую ему покоя мысль. — Слушай, Авдяй, а до этого, до нас то есть, ты чем промышлял или работал где? Может, ты из фарцовщиков будешь? Ты не зажимайся, нам теперь или за одним столом гулять в ресторане, или одну парашу выносить из камеры. Кидай хоть так, хоть эдак!

Авдий не стал скрывать:

— Никакой я не фарцовщик. И зажиматься мне нечего. До этого я в духовной семинарии учился.

Такого оборота Петруха, должно быть, никак не ожидал.

— Постой, постой! В семинарии, говоришь, — так, значит, ты на попа учился?

— Да, выходит, так…

— Ого! — вытаращил глаза Петруха и дурашливо присвистнул, сложив губы дудочкой. — Так чего же ты ушел оттуда, или погнали за что?

— И то и другое. В общем, ушел я.

— А чего так? Бога не поделили, что ли? — озорно продолжал Петруха. — Вот смеху-то!

— Выходит, не поделили.

— Ну вот скажи, раз ты все так знаешь… Бог есть или нет?

— На это трудно ответить, Петр. Для кого он есть, а для кого его нет. Все зависит от самого человека. Сколько будут люди жить на свете, столько они будут думать, есть Бог или нет.

— Ну а где же он, Авдяй, если он, скажем, есть?

— Он в наших мыслях и в наших словах…

Петруха примолк, обдумывая сказанное. Громче и явственней застучали колеса вагонов — их звук доносился в оставленную не закрытой какими-то прошедшими через вагон пассажирами дверь тамбура. Петруха прикрыл дверь, прислушался к приглохшему стуку колес и наконец сказал:

— Выходит, у меня его нет. А у тебя, Авдяй, он есть или нет?

— Не знаю, Петр. Хотелось бы думать, что есть, хотелось бы, чтобы был…

— Значит, тебе это нужно?

— Да, для меня это необходимо…

— Вот и пойми тебя, — огрызнулся Петруха. Что-то его, видимо, задело. — А на хрен в таком

случае едешь ты с нами, коли тебе Бог нужен?

Авдий решил, что пока не время и не место углублять разговор.

— Но деньги ведь тоже нужны, — сказал он примирительно.

— Э, вон ты как запел. Или Бог, или шалые деньги. А сам все же за деньгами двинулся!

— Да, пока получается так, — вынужден был признать Авдий.

Этот разговор послужил для Авдия Каллистратова толчком к размышлению. Во-первых, он отчетливо уяснил для себя, что Сам, тот, который незримо держал поездку гонцов за анашой под своим контролем на протяжении всего пути, крайне недоверчив, расчетлив и, должно быть, жесток и что, если он заподозрит что-то неладное в каком-нибудь звене проводимой им операции, он не остановится ни перед чем, чтобы отомстить или обезопасить себя и стоящих за ним. Этого надо было ожидать — на то она и торговля наркотиками. Второе, что понял он из дорожных разговоров с Петрухой и другими, — на гонцов имеет смысл воздействовать словом, что долг проповедника — доверительный разговор, внушение словом без оглядки на грозящую опасность: несли же некогда самоотверженные

миссионеры слово Христа диким африканским племенам, рискуя жизнью своей, ибо спасение душ ценой жизни может оказаться конечным итогом, судьбой, смыслом его жизненного пути, — так он спасет душу.

На станцию Жалпак-Саз прибыли они около одиннадцати часов дня. Станция была узловая, пересадочная, две ветки отходили отсюда в сторону завидневшихся на рассвете далеких снежных гор, и потому проезжих в разные концы здесь было много, что для гонцов имело свои удобства: можно затеряться в той станционной суете. И все обошлось как нельзя лучше. Авдий удивился, как запросто и деловито просочились они в обеденное время в привокзальную столовую. Вместе с Авдием их было человек двенадцать (так показалось ему), тех, кому предстояло отправиться дальше в степи за анашой. Сидели гонцы за столиками разобщенно, по одному, по двое, но на виду друг у друга, хотя между собой открыто не общались и внешне не выделялись среди дорожной толпы — таких, как Ленька, и более взрослых парней, как Петруха, было полно. Все куда-то и откуда-то ехали в разгар летнего сезона — типичное смешение азиатских и европейских лиц… И хотя сюда то и дело заходили работники

милиции для наблюдения за порядком, и хотя на станции на каждом шагу встречался милиционер, их это не беспокоило. Пообедали они быстро, уступив место другим жаждущим своей очереди перекусить дежурными блюдами, и после этого по какому-то неуловимому знаку незаметно рассредоточились — каждый со своим багажом: с вещмешком, с портфельчиком, в которых несли они хлеб, консервы и прочие нужные им вещи. Вот так гонцы разъехались по местам, растворились в бескрайних просторах здешних степей Примоюнкумья.

Петруха, а с ним Авдий и Ленька отправились втроем, как и было задумано и санкционировано Самим, которого Авдию так и не удалось увидеть. Но в том, что Сам незримо руководил всей операцией, не было никакого сомнения. Ехали они с Петрухой в самый отдаленный конец, чуть не к Моюнкумам, на попутной грузовой машине до отделения совхоза «Учкудук» за четвертной, выплачиваемый Петрухой из денег, отпущенных Самим. На всякий случай сочинили они себе легенду: они-де шабашники. Авдий — плотник, самый нужный в здешних краях человек, что, кстати, соответствовало истине: Авдий и в самом деле был неплохим плотником. Отец с детства

научил. Петруха положил ему в вещмешок, тоже на всякий случай, немудреный инструмент — рубанок, топор, долото, предусмотрительно захваченные им из дому. Себя и Леньку Петруха должен был выдавать за штукатуров и маляров — они, мол, на каникулах, учащиеся ПТУ и ехали, стало быть, на отхожий промысел, в далекий Учкудук, в Примоюнкумье подзаработать у степняков на постройках домов. Версия вполне правдоподобная.

День стоял знойный, но в открытом грузовике было легче — не так припекало и продувало свежим степным ветерком. Правда, дорога, как и всякий проселок, была никудышная — вся разбитая.

Когда машина притормаживала у колдобин, пыль из-под колес настигала тучей — оставалось только отмахиваться да откашливаться. Единственное, что примиряло с тяжелой дорогой, — окружающие пространства, невольно появлялась мысль: были бы крылья, полетел бы над землей… «Теперь я как бы воочию убедился, что земля — это планета, — думал Авдий, стоя у кабины. — А как тесно человеку на планете, как боится он, что не разместится, не прокормится, не уживется с другими себе подобными. И не в том

ли дело, что предубеждения, страх, ненависть сужают планету до размеров стадиона, на котором все зрители заложники, ибо обе команды, чтобы выиграть, принесли с собой ядерные бомбы, а болельщики, невзирая ни на что, орут: гол, гол, гол! И это и есть планета. А ведь еще перед каждым человеком стоит неизбывная задача — быть человеком, сегодня, завтра, всегда. Из этого складывается история. Куда мы едем сейчас, ради какой жизненно важной надобности люди ищут отравы себе и другим, что их толкает на это и что они находят в том страшном круге отречения от самих себя?»

* * *

В Учкудуке, в этом поистине затерянном и богом забытом казахском поселке, они с ходу нашли себе работу — подрядились на пару дней штукатурить и столярничать в недостроенном доме одного чабана. Сам чабан находился с отарой на отгоне, семья была с ним, а стройка пустовала, порученная соседу-родственнику на тот случай, если объявятся вдруг, как в прошлом году, шабашники. Они объявились, будто наперед знали, — Петруха, Авдий, Ленька, три гонца-молодца.

Жили они в том же строении, благо крыша была и погода стояла жаркая. Очажок устроили на дворе и кое-что варили даже. Надо сказать, работали как звери. Петруха сам поднимался спозаранку, будил немедленно своих артельщиков, Авдия и Леньку, и они принимались за дело, вкалывали до самой темноты. Ужинали уже при свете костерка, и только тогда Петруха позволял себе немного передохнуть и поразмышлять.

— Ты вот, Авдяй, смотрю, очень доволен даже — работаешь. Что-то, как положено, с хозяина, конечно, получим. Но такие деньги, если хочешь знать, нам тьфу! На один зуб! Это мы так, для отвода глаз. А вот как двинемся, да на хорошее место выскочим, чтобы в две руки обрывать тот цвет, там дело другое — один денек помотался по степи, зато целый год живи, как министр. Ленька, ты-то знаешь? Так ведь?

— Знаю немного, — отвечал все больше помалкивавший Ленька.

— Только смотрите, ребята, — строго предупреждал Петруха, — никому ни слова, ни соседу, ни другим здешним, они люди добрые, и все равно — умри, но никому ни слова. Особенно если кто заявится да начнет расспрашивать. Ты, Авдяй, говори: мол, знать не знаю, ведать не ведаю, вон,

мол, наш бригадир, это я, стало быть, с ним, мол, и разговаривай, а я человек маленький, ничего не знаю. Ясно?

Что тут еще ответишь — ясно, значит, ясно… Но не это беспокоило Авдия, а то, что вынужден был помалкивать, не мог пытаться как-то повлиять на ребят, вступивших на скользкий путь, жаждущих любой ценой добыть те преступные деньги, — такого вмешательства требовала его душа, но он не мог себе этого позволить. Если бы даже Авдию удалось силой мысли и слова поколебать их, заставить задуматься о своем падении, если бы даже допустить, что эти двое послушают голос разума и решат порвать с такой жизнью, они не посмеют и не смогут этого сделать по той простой причине, что они уже крепко-накрепко повязаны некой жесткой круговой порукой с другими, имеющими неписаное право карать их за измену. Но как разорвать этот порочный круг? Утешало Авдия лишь то, что он может послужить благородному делу, узнав на своем опыте, как действуют гонцы-анашисты, и затем, изложив это в большом газетном материале, раскрыть глаза людям. И это будет, как он надеялся, началом моральной борьбы за души оступившейся части молодежи. Лишь это помогало Авдию

примириться с тем, что он невольно оказался замешанным в их дела, состоял в группе Петрухи.

На третий день их пребывания в Учкудуке произошел один небольшой случай — Авдий ему не придал большого значения, Петруха же, узнав о нем, очень обеспокоился. Сам Петруха в тот час отлучился с соседом-стариком, инвалидом войны, они поехали на его коляске в центральную усадьбу совхоза консервами, сигаретами да сахаром запастись, так как на другой день с рассветом решили двигаться в степь — вроде бы уходили шабашничать в другое место.

Ленька доштукатуривал дом внутри, а Авдий, пристроившись в тени, сбивал для сарайчика дверь. Когда с улицы вдруг донеслось тарахтение мотоцикла, Авдий оглянулся, приставил ладонь к глазам. Возле дома остановился, гудя, большой мотоцикл, водитель легко спрыгнул с седла. К удивлению Авдия, мотоциклистом оказалась совсем молодая женщина. Как только она управляется с этой тяжелой машиной, да еще по таким дорогам?! Женщина сдернула с головы круглый шлем с болтающимся ремешком, сняла ветрозащитные очки, встряхнув головой, разметала по плечам густые светлые волосы.

— Запарилась! — улыбнулась она, показав бе-

лый ряд зубов. — А запылилась-то как, боже ты мой! — радостно воскликнула она, отряхивая с себя пыль. — Здравствуйте!

— Здравствуйте, — смущенно ответил Авдий. Дурацкие наставления Петрухи подействовали на него. «Кто она? Зачем сюда приехала?» — подумалось Авдию.

— А хозяин на месте? — спросила мотоциклистка, все так же приветливо улыбаясь.

— Какой хозяин? — не понял Авдий. — Хозяин дома, что ли?

— Ну да, конечно.

— Так вроде он сейчас не тут, а где-то на отгоне.

— А вы что, не видели его?

— Нет, не видел. Нет, видел, только мельком, он тут приезжал недавно. Но я с ним не разговаривал.

— Странно, как же вы с ним не разговаривали, — вы, кажется, здесь работаете, строите ему дом?

— Простите, но я действительно не успел с ним поговорить. Он тогда, кажется, спешил. С ним разговаривал мой старшой. Его зовут Петром. Сейчас его нет. Он скоро должен приехать.

— Да мне это ни к чему, извините, если что.

Просто мне хотелось повидать Ормана — он чабан и знает то, что меня интересует. Потому и заскочила по пути, думала, застану его. Ну извините, я, кажется, помешала.

— Да нет, что вы.

Мотоциклистка снова надела шлем с болтающимся ремешком, завела мотор, отъезжая, глянула на Авдия сквозь стекла наглазников и мельком кивнула. Авдий же в ответ, сам того не замечая, помахал ей рукой. И долго потом мысли его были заняты этим, казалось бы, незначительным, случайным эпизодом. И вовсе не потому, что в душу его закралось подозрение: так ли безобиден ее неожиданный визит накануне их выхода за добычей и не вынюхивает ли она чего, — нет, совсем о другом думал он. Уже после того как она укатила, оставляя позади клубы пыли, он представил ее себе, зримо, подробно, точно бы задался целью на всю жизнь запомнить ее. И теперь отмечал, с удивлением и удовольствием, что она была хорошо сложена, невелика ростом, чуть выше среднего, но все в ней было женственно и соразмерно, как и хотелось ему. «Нет, кроме шуток, — говорил он так, будто спорил с кем-то. — Женщина такой и должна быть! Вот именно такой и должна быть женщина».

Авдию запомнились необыкновенно тонкие черты ее одухотворенного лица, карие, едва ли не черные глаза, сияющие живым блеском, при том, что волосы ее, свободно падавшие на плечи, обрамляя лицо, были совсем светлые, и это сочетание темных глаз и светлых волос придавало ей особую прелесть. И все в ней ему нравилось: и небольшой, едва заметный шрам на левой щеке (может быть, в детстве упала?), и то, как ладно она была одета — джинсы, куртка, поношенные сапоги с отвернутыми голенищами, — и то, как уверенно она вела мотоцикл: ведь сам Авдий умел ездить разве что на велосипеде… И еще как он оконфузился, когда она спросила насчет хозяина, а он: видел, нет, не видел, нет, видел… просто как мальчишка, и чего это он так растерялся?

Занятно, очень занятно было Авдию Каллистратову думать о ней, хотя, казалось бы, и вспоминать не о чем — приехала, внезапно уехала, только и всего. И все же кто она такая, откуда она появилась, судя по всему, она откуда-то приехала, но зачем и что делать такой женщине в этих пустынных местах?..

Петруха, узнав, что к ним заезжала странная женщина на мотоцикле, не на шутку всполошился и долго и занудно выспрашивал, что она

говорила, да чем интересовалась и что Авдий ей отвечал. Пришлось пересказывать их разговор несколько раз слово в слово.

— Тут что-то не то, тут что-то не то, — с сомнением покачивал головой Петруха. — Жаль, что меня не было, я бы с ходу раскусил, что за птица такая. Видишь, Авдяй, хоть ты и умный и грамотный, а я б лучше тебя тут справился, расспросил бы ее, раз такое дело. Выяснил, кто такая да что ей надобно, а ты, друг, растерялся, вижу, что растерялся, хоть я тебя на такой случай и предупреждал.

— Что ты переживаешь? — пытался урезонить его Авдий. — Ну чего тут такого, чтобы так бояться?

— А то, что на наш след могут выйти легавые. Что, как ее подослали высмотреть да разузнать?

— Да брось ты чепуху городить!

— Интересно, что ты потом скажешь, когда за решеткой очутишься или когда Сам с тебя спросит, а уж он спросит построже, чем легавые: шкуру сдерет, а то и чикнет. Ты хоть понимаешь, что такое — чикнуть?

— Успокойся, Петр, чему быть, того не миновать. Об этом надо было раньше думать. Вот Ленька, малыш еще, а кто его затянул в такое дело? Или хотя бы ты, сколько тебе лет — двадцать

будет или нет? А ты как болван, шагу ступить не смеешь, слова лишнего не скажешь — как бы не прогневать Самого. Подумал бы лучше над тем, как оно дальше будет, тут есть над чем поразмыслить.

Но заход Авдия не имел успеха — Петруха сразу обозлился.

— Ты это брось, Авдяй, и Леньку не трожь. Если ты на попа учился, забудь об этом. Забудь. От твоих хороших слов пользы грош, а при нем, при Самом, мы деньги загребаем. Ясно? Ленька сирота — кому он нужен, а с деньгами он сам с усам. Хочу — пью, хочу — ем. А твоими баснями сыт не будешь, а уж насчет того, чтобы погулять с дружками на славу, чтобы столы ломились и чтобы девки на эстраде так пели, чтоб до печеночек пронимало, — и не мечтай. Вон у меня братья-братухи, трудяги-работяги, а глянул бы, как им дается этот рубль! Работают не разгибаясь. А мне нипочем рубленкой подтереться! Деньги не любит только дурак, верно ведь, Ленька?

— Верно, — блаженно улыбаясь, тот согласно кивал головой, не усомнившись ни в чем.

Но это был лишь подступ к более основательному разговору, когда представится случай. Авдий понимал, что не следует слишком далеко захо-

дить, — иначе кто поверит, что он гонец-анашист, жаждущий прежде всего добыть деньги.

На другой день поднялись с рассветом. На краю земли едва занялась заря, раскинувшиеся поодаль дворы поселка еще спали, и даже собаки не лаяли, когда трое гонцов бесшумно пробирались огородами в открытую степь. По словам Петрухи, идти было не так далеко. Он знал, куда путь держать, и обещал, как только увидит где коноплю-анашу, сразу показать ее Авдию.

Вскоре такой случай представился. Довольно прочное, стеблистое, прямое растение с плотной бахромой соцветий вокруг стебля оказалось той самой анашой, ради которой они ехали из Европы в Азию. «Боже мой, — думал Авдий, глядя на анашу, — с виду такое обычное, почти как бурьян, растение, а столько дурманной сладости в нем для иных, что жизнь кладут на это зелье! А здесь оно под ногами!» Да, то была анаша, солнце уже поднялось и начало припекать, а они стояли среди безлюдного степного простора, где нет ни единого деревца, и вдыхали, разминая пальцами лепестки, прилипчивый запах терпкой дикой конопли. А ведь какие только причудливые видения не порождала анаша у курильщиков на протяжении многих веков! Авдий пытался пред-

ставить себе былые восточные базары (он читал о них в книгах) в Индии, Афганистане или Турции, где-нибудь в Стамбуле или в Джайпуре у старых крепостных стен, у ворот некогда знаменитых дворцов, где анашу открыто продавали, покупали и там же и курили и где каждый на свой лад, в меру своей фантазии предавался разнообразным галлюцинациям — кому мерещились услады в гаремах, кому выезды на золоченых шахских слонах под роскошными балдахинами при стечении пестрого люда и трубном громогласии на праздничных улицах, кому мрачная тьма одиночества, порождаемая в недрах омертвелого сознания, тьма, вызывающая клокочущую ярость, желание сокрушить и испепелить весь мир. Немедленно, сейчас, один на один!.. Не в этом ли крылась одна из роковых пагуб некогда процветавшего Востока? И неужели то сладостное помутнение разума таилось в дикой конопле, запросто и обыденно произраставшей в этих сухих степях?..

— Вот она, родная! — приговаривал радостно Петруха, обводя широким жестом степные просторы. — Глянь, а вон еще и еще! Это все она — анаша! Но только здесь не будем собирать — это что! Это так себе! Я поведу вас в такие места, аж голова поплывет кругом…

И они пошли дальше и через час набрели на такие густые заросли анаши, что от одного духа ее повеселели, как от легкого опьянения. Конопли здесь было сколько душе угодно. И они стали собирать и листья и цвет анаши и расстилали собранное для просушки. Петруха утверждал, что просушивать следует часа два, не больше. Работа спорилась… И все шло как нельзя лучше. Но вдруг откуда-то послышался гул вертолета. Он низко летел над степью и, кажется, направлялся в их сторону.

— Вертолет, вертолет! — по-мальчишески громко и радостно заорал Ленька и дергано запрыгал. Но Петруха — тот не растерялся.

— Ложись, дурак! — закричал он и пустил матом.

И все они легли ничком, попрятались в траве — вертолет прошел чуть стороной, но вряд ли вертолетчики заметили их, но Петруха потом все не мог успокоиться и долго выговаривал Леньке — ему казалось, что вертолет специально прилетал высматривать гонцов.

— А что, — рассуждал он, — сверху все видно, каждую мышку. А нас, дураков, видно за сто верст. Он как увидит, так и сообщит куда надо по рации. А если нагрянет милиция на машинах,

здесь деваться некуда — только руки вверх, и крышка!

Но вскоре и он забыл об этом, надо было работать. Именно в тот день и произошел совершенно немыслимый случай: Авдий встретился с волчьим семейством. А произошло это так.

Сделали перекур, подзакусили немного, и тут Петруха и сказал:

— Слушай, Авдяй, ты вроде прижился уже у нас, стал свой в доску. Так вот я тебе что скажу. Значит, так, есть у нас один закон для новеньких, таких, как ты. Если первый, значит, раз на дело идешь, должен вроде сделать Самому уплату или подарок, как хошь понимай.

— Какой еще подарок? — развел руками Авдий, удивленный таким оборотом дела.

— Да ты постой, ты чего всполошился? Ты что думаешь, в магазин, что ли, за подарком бежать надо? Тут не добежишь. А я вот, значит, о чем толкую. Надо тебе пластилинчику подсобрать, ну хоть бы со спичечный коробок. Побегаешь тут по травкам, я тебе расскажу, как это делается, а тот пластилин, стало быть, при встрече преподнесешь вроде в дружбу, да ты же умный человек, все понимаешь: Сам — он главный, ты подчиненный, такое тебе от него доверие…

Авдий задумался: а ведь для него есть тут свой резон — подношение пластилина, пыльцовой массы анаши, самого ценного продукта, могло открыть доступ к Самому. Возникала возможность увидеть наконец Самого. А как бы это было нужно! Вдруг удастся разговориться с Самим, под чьей властью были все гонцы. «Власть, власть, где два человека, там уж и власть!» — горько усмехнулся Авдий Каллистратов.

— Хорошо, — сказал он, — значит, соберу я пластилин и отдам его Самому. А когда отдам, на станции, что ли?

— Точно не знаю, — признался Петруха. — Может, завтра и отдашь.

— Как завтра?

— А так. Восвояси пора возвращаться. Хватит. А завтра — двадцать первое число. Завтра нам как штык до четырех дня надо быть на месте. Вот и двинемся.

— На каком месте?

— А на таком, — чванился своей осведомленностью Петруха. — Соберемся, тогда узнаешь. На триста тридцатом километре.

Авдий больше не стал спрашивать — понял и так, что триста тридцатый километр — это какой-то участок железной дороги на Чуйской ветке;

важно было другое — встреча с Самим скорее всего могла состояться там и скорее всего завтра. Так не лучше ли, не теряя времени, приступить к сбору этого самого пластилина?

Дело оказалось немудреное, но до предела выматывающее и по способу варварское. Надо было, раздевшись догола, бегать по зарослям, чтобы на тело налипала пыльца с соцветий конопли, что он и делал. Ну и пришлось же побегать Авдию Каллистратову в тот день — никогда в жизни он столько не бегал! Пыльца эта, едва видимая, почти микроскопическая, почти бесцветная, хотя и налипала, но собрать с тела этот почти незримый слой оказалось не так-то просто — в результате всех усилий пластилина получалось ничтожно мало. И только сознание, что это необходимо для встречи с главным, величаемым Самим, для того чтобы, накопив материал, вскрыть потаенные пружины поведения гонцов и через слово, через газету огласить криком боли всю страну, — только это заставляло Авдия бегать и бегать взад-вперед под жарким солнцем.

В той беготне Авдий порядком удалился от дружков, выискивая в степи наиболее густые заросли анаши. И тут наступил какой-то момент удивительного состояния легкости, парения то

ли наяву, то ли в воображении. Авдий и не заметил, как это случилось. В небе щедро светило солнце, воздух был пронизан теплом, порхали и пересвистывались какие-то птицы, особенно заливались жаворонки, мелькали бабочки и другие насекомые и тоже издавали разные звуки, — словом, рай земной, да и только, и в том раю, раздевшись догола, оставив на себе только панаму, очки, плавки и кеды, Авдий Каллистратов — белокожий тощий северянин, охмелевший от пыльцы, носился как заводной взад-вперед по степи, выбирая наиболее высокий и густой травостой. Вокруг него клубилась потревоженная пыльца цветущей, завязывающей семя конопли, и от долгого вдыхания того летучего дурмана в воображении Авдия, естественно, возникали разные видения. Особенно отрадно было одно: он мчится на мотоцикле, устроившись позади вчерашней мотоциклистки. Причем его нисколько не смущало то обстоятельство, что он сидит не за рулем могучего мотоконя, как подобало бы настоящему мужчине, а пассажиром, пристроившись позади — там, где обычно сидят женщины. Но что делать, если он не умеет водить мотоцикл да и вообще далек от техники. Его вполне устраивало то, что он ехал вместе с ней на одном мотоцик-

ле. Ее волосы развевались на ветру, выбиваясь из-под шлема, касались его лица, как руки ветра, липли к губам, к глазам, щекотали шею, и это было прекрасно; иногда она оглядывалась, озорно улыбалась ему, сияла глазами — как ему хотелось, чтобы так продолжалось вечно, без конца.

Очнулся он, лишь когда увидел возле себя троих волчат. Вот те на! Откуда они взялись? Он не верил своим глазам. Три волчонка, виляя хвостиками, хотели приблизиться к нему, поиграть с ним — робели, но не убегали. Голенастые, как подростки, с полуторчащими, нестойкими ушами, остромордые еще и с живыми и до смешного доверчивыми глазами. Это почему-то так тронуло Авдия, что, позабыв обо всем, он стал ласково подзывать их к себе, забавлять и подманивать, а сам весь сиял от расположенности человеческой, и именно в этот момент он увидел — блеск белой молнии, белый оскал набегающей на него волчицы… Это было так неожиданно, так стремительно, но и так медленно и страшно, что он и не почувствовал, как сами собой подогнулись колени и как он присел на корточки, схватившись за голову, — он и не ведал, что именно это спасло ему жизнь; а волчица была уже в трех шагах и в яростном прыжке вдруг перемахнула через

его голову, обдав звериным духом, и в ту минуту их глаза встретились, Авдий увидел огненный синий взор волчицы, ее бесподобно синие и жестокие глаза, и мороз прошел по коже, а волчица тем временем еще раз стремительно, как ветер, перескочила через него, и кинулась к волчатам, и с налета погнала их прочь, пустив в ход зубы, и заодно круто завернула с пути высунувшегося из оврага страшного зверя — громадного волка со вздыбленным загривком, и все они вмиг исчезли, словно бурей их унесло…

А Авдий, унося ноги, долго бежал по степи, и страх криком выходил из него. Он бежал, а голову мутило, тело отяжелело, и земля качалась под его заплетавшимися ногами — ему хотелось упасть, свалиться, заснуть, и тут его начало рвать, и он почувствовал, что настал его смертный час. И все-таки у него хватило воли отбегать каждый раз в сторону от мерзкой блевотины и бежать дальше, пока новый приступ рвоты не скрючивал его в три погибели, вызывая адские боли и резь в животе. Изрыгая пыльцовую отраву, мучаясь от судорог, Авдий, стеная, бормотал: «О Боже, прекрати, хватит! Никогда, никогда больше не буду собирать анашу! Хватит с меня, я не хочу, не хочу видеть и слышать этот запах, о Боже, сжалься

надо мной…»

Когда наконец рвота отпустила и он собрался уже идти искать свою одежду, к нему подбежали Петруха с Ленькой. Рассказ о встрече с волками страшно подействовал на них. Особенно перепугался Ленька.

— Ну не дрейфь ты! Чего так дрожишь? — напустился на него Петруха. — Когда люди за золотом шли, какие были случаи, и ничего, все равно шли… А ты каких-то волков испугался — так ведь их уже и след простыл…

— Так то за золотом, — сказал Ленька, помолчав.

— А какая тебе разница? — огрызнулся Петруха. Этим и воспользовался Авдий.

— Разница есть, Петр, — промолвил он. — И очень большая разница. От золота тоже много зла, но его открыто добывают, а анаша — она отрава для всех. На себе испытал, чуть концы не отдал, всю степь облевал…

— Да перестань, отравился малость с непривычки, кто тут виноват, — недовольно махнул рукой Петруха. — Тебя что, тащили сюда? Ты все о Боге, да что хорошо, да что плохо, чего ты нам игру портишь? Чего ты все воду мутишь? А как деньги, так ты тут — прикатил, чуть волкам в

пасть не попал!

— Я хочу не мутить, а очистить воду. — Авдий решил, что придется раскрыться больше, чем рассчитывал. — Вот ты, Петр, вроде умный парень, но не может быть, чтобы ты не понимал, что на преступление идешь…

— Иду! А ты на что идешь?!

— Я иду, чтобы спасать!

— Спасать! — зло крикнул Петруха. — Это как же ты будешь спасать нас? Ну-ка расскажи!

— Для начала — покаемся пред Богом и пред людьми…

К удивлению Авдия, они не рассмеялись. Только Петруха сплюнул, будто в рот ему гадость какая попала.

— Покаемся! Придумал тоже, — проворчал он. — Это ты кайся, а мы будем деньгу делать. Нам нужны деньги, понял — просто и ясно! А ты — покайся! И если шутишь, Авдяй, шути поосторожней! Узнает Сам, что ты тут сбиваешь нас, до мест своих не доберешься, запомни! Я тебе как другу говорю. И нас не смущай, для нас деньги — прежде всего! Ленька, скажи, что тебе нужно — Бог или деньги?

— Деньги! — ответил тот.

Авдий промолчал. Решил повременить, отло-

жить разговор.

— Ну хватит, поговорили, и довольно, будем собираться, — примирительно распорядился Петруха. — А с твоим пластилином, Авдяй, так, стало быть, ничего и не получилось?

— К огорчению, нет. Как кинулась на меня волчица — сам не знаю, где что оставил. И одежда где-то, пойду искать…

— Одежда-то найдется твоя, куда она денется, а вот пластилинчику наскрести уже не успеешь. Сегодня уходить пора. Ладно, расскажем, как дело было, поймет. А не поймет, в следующий раз насобираешь…

С рюкзаками, набитыми травой анашой, до самой полуночи шли они в сторону железной дороги. Идти было не так тяжело, какая уж там тяжесть — подсушенная трава, но сильный запах анаши, не приглушаемый даже полиэтиленовыми пакетами, кружил голову, клонил ко сну. В полночь гонцы завалились спать где-то в степи, с тем чтобы на рассвете двинуться дальше. Ленька втиснулся между Авдием и Петрухой — после того случая боялся волков. Понять нетрудно было — мальчишка еще. Получилось все наоборот, так хотелось спать на ходу, а когда легли, Авдий долго не мог заснуть. То, что Ленька попросился в

середку, его очень тронуло, кто бы мог подумать — эдакий парнишка, волков боится, — но какова должна быть власть порока, исковерканных сызмальства представлений о жизни, если даже Ленька давеча не моргнув глазом ответил, что деньги для него важнее Бога. Бог, конечно, имелся в виду условно, как символ праведной жизни. Вот о чем думалось Авдию…

Есть своя красота в степных ночах в летнюю пору. Тишина безмерная, исходящая от величия земли и неба, теплынь, напоенная дыханием многих трав, и самое волнующее зрелище — мерцающая луна, звезды во всей их неисчислимости, и ни пылинки в пространстве между взором и звездой, и такая там чистота, что прежде всего туда, в глубину этого загадочного мира, уходит мысль человека в те редкие минуты, когда он отвлекается от житейских дел. Жаль только, ненадолго…

А думалось Авдию о том, что все пока что сошлось, как он того хотел: добрался с гонцами до конопляных степей, увидел все воочию и, как говорится, попробовал все на себе. Теперь оставалось самое сложное — сесть на поезд и уехать. Для гонцов наиболее опасный момент был провезти анашу. Задерживала их милиция

главным образом на азиатских станциях, в российской части в этом смысле было полегче. А уж если удавалось добраться до Москвы и далее до места — это уж полный триумф. Великое зло бытия торжествовало, обернувшись маленьким успехом маленьких людей.

Смириться с этим Авдию было трудно даже в мыслях, но и предпринять что-либо, чтобы не просто пресечь, скажем, данное преступление, а перековать мышление, разубедить и переубедить гонцов, это — он понимал — ему не по силам. Тот, кто ему противостоял, находясь где-то здесь, в этих степях, тот, кто незримо держал в руках всех гонцов, и в том числе имел контроль и над ним, Авдием, тот, кто именовался среди них Самим, был гораздо сильнее его. И именно он, Сам, был хозяином, если не более того, — микродиктатором в их походе за анашой, а он, Авдий, примкнувший к ним, как бродячий монах к разбойникам, был по меньшей мере смешон… Но монах, господний идеалист и фанатик, при всех обстоятельствах должен оставаться монахом… Это и ему предстоит…

Думалось ему еще о том, какой странный случай пережил он минувшим днем, — эти волчата, неразумные длинноногие переростки, приняв-

шие человека за некое смешное безобидное существо, с которым они не прочь были порезвиться, и вдруг эта синеглазая разъяренная волчица. Какой гнев вскипел было в ней, и как затем все обошлось, и какой смысл в том, что она дважды перепрыгнула через него? И если на то пошло, что стоило ей и ее волку растерзать его вмиг, голого — если не считать панамы и плавок — и беззащитного городского идиота, настолько голого и беззащитного, что только в анекдоте могло быть такое. И вот надо же — судьба в лице этих зверей смилостивилась над ним: не значит ли это, что он еще необходим этой жизни? Но как хороша, как стремительна была необыкновенная синеглазая волчица в своем яростном порыве, в страхе за детенышей. Да, конечно, она была права по-своему, и спасибо ей, что не налетела, не наделала беды, ведь и он был ни в чем не повинен. И думая об этом, Авдий тихо рассмеялся, представив, что, если бы увидала его тогда та самая мотоциклистка, вот посмеялась бы! Потешалась бы небось, как над клоуном в цирке. Но потом его охватил страх: а что, если мотоцикл вдруг заглохнет где-то посреди безлюдной степи, она одна, а тут налетят волки?! И тогда он стал суеверно заклинать синеглазую волчицу: «Услышь меня,

прекрасная мать-волчица! Ты здесь живешь и живи так, как тебе надо, как ведено природой. Единственное, о чем молю, если вдруг заглохнет ее мотоцикл, Бога ради, ради твоих волчьих богов, ради твоих волчат, не трогай ее! Не причиняй ей вреда! А если тебе захочется полюбоваться на нее, такую прекрасную на могучей двухколесной машине, беги рядом, по обочине, беги тайно, обрети крылья и лети сбоку. И может, если верить буддистам, ты, синеглазая волчица, узнаешь в ней свою сестру в человеческом облике? Может же быть такое — ну и что, что ты волчица, а она человек, но ведь вы обе прекрасны, каждая по-своему! Не буду скрывать от тебя — я бы полюбил ее всей душой, да дурак я, конечно, дурак, кто же еще! Только безнадежные дураки могут так мечтать. А если бы она каким-то образом узнала, о чем я думаю, то-то посмеялась бы, то-то нахохоталась бы! Но если бы это порадовало ее, пусть смеется...»

Было еще относительно темно — только-только свет над степью разлился, когда Петруха стал будить Авдия и Леньку. Пора было вставать да двигаться к триста тридцатому километру. Чем раньше, тем лучше. Потому что не они одни, а еще две-три группы гонцов должны были к тому времени сойтись в том месте с добытой и уже

подсушенной анашой. Предстояло остановить какой-нибудь проходящий товарняк, незаметно сесть в него и добраться так до станции Жалпак-Саз, а уж там просочиться на другие поезда. В общем, для гонцов начинался самый опасный отрезок пути. Всей операцией вроде бы должен был руководить Сам. Он ли их встретит, они ли его отыщут на триста тридцатом километре — Петруха толком не объяснил. То ли не знал, то ли не желал говорить.

И снова вскинули рюкзаки на плечи и двинулись за Петрухой. Удивляло Авдия топографическое чутье, память Петрухи. Он заранее предсказывал, где какой овраг, где родничок в притенении, где ложбинка или балочка. И сожалел Авдий, что такие способности, такая память в Петрухе пропадают! Наездами здесь бывал, а как все знает!

Так я, говорил он, родом из крестьянской семьи. Рассказывал еще Петруха, что, по слухам, километрах в двухстах от этих мест начинается пустыня Моюнкум, а там, дескать, сайгаков этих, антилоп степных, видимо-невидимо и что вроде хорошие люди, у которых добрые служебные «газики», наезжают на охоту чуть ли не из самого Оренбурга. И приезжают-то как — закуска живая

бегает, а выпивон, какой хошь, с собой привозят. Да, царская охота! Но и опасность вроде немалая, бывали случаи, что машина выходила из строя, а охотники погибали от жажды, заплутавшись в степи. А зимой, случалось, и буран застигал степной. Потом находили, мол, только косточки. А один охотничек даже умом тронулся — его потом на вертолете искали. Вертолет за ним летит, хочет его спасти, а он от вертолета бежит, прячется. Долго за ним гонялись, а когда поймали, он уж разговаривать разучился. А жена, говорят, тем временем за другого успела выскочить! Вот стерва! Все они такие! Вот я и не думаю жениться. Есть у меня в городе одна баба классная, подкинешь ей на шмотки, так лучше нет, и слово дает — никаких ребеночков не будет. А самое главное — мотягу уже купил, чехословацкий спортач в сарае стоит, а теперь, значит, «Жигуль» — это не проблема, вот бы где «Волгу», ту, новую, что на «мерседес» похожа, вот где бы такую отхватить с кассетником, чтобы включил бы, а она тебе поет, в печенки лезет. Блат нужен, всюду плата и переплата. Да на своей «Волге»-то покатить в Воркуту — пусть братуханы поглядят. Хе-хе, жены-то их от зависти лопнут. А в багажнике выпивон на выбор, все больше иномарка. Ну и своя водочка

— лучше нет, конечно. Как тут не позавидовать, вроде Иванушка-дурачок, а на тебе… А потому и хожу в гонцах и вас, милые дружочки, веду поживиться, живи, когда лафа, а нет — соси лапу до вздутия живота…

Слушая эту, казалось бы, никчемную, непритязательную болтовню Петрухи, занимавшего тем самым себя и своих попутчиков, Авдий думал о своем, о том, что человек раздирается между соблазном обогащения, подражанием тотальному подражанию и тщеславием, что это и есть три кита массового сознания, на них всюду и во все времена держится незыблемый мир обывателя, пристанище великих и малых зол, тщеты и нищеты воззрений, что трудно найти такую силу на земле, включая и религию, которая смогла бы перебороть всесильную идеологию обывательского мира. Сколько самоотверженных взлетов духа разбивалось об эту несокрушимую, пусть и аморфную твердыню… И то, что он шел в этот час на явку добытчиков анаши, свидетельствовало о том же — дух беспомощен, хоть и неустанен… И такова, выходит, его планида… Всю дорогу он мысленно готовил себя к встрече с Самим — он должен был быть готов к бою…

Они вышли на триста тридцатый километр

часа на два раньше — и в третьем часу были уже на месте. Приближаясь к балке, что шла вдоль железной дороги, Петруха предупредил: рюкзаки прятать там, где укажет, не высовываться, не разгуливать на виду у проходящих поездов. Все время ждать его указаний.

Устали все же порядком — еще бы, столько пройти за день! Приятно было растянуться в балке на шелковистом лугу, где вперемешку с шалфеем рос ковыль. Приятно было слышать, как возникал вдали гул поездов, как он нарастал, как гудели и подрагивали рельсы под набегающими тяжеловесными километровыми составами, как грозно пролетали поезда, громыхая колесами и принося с собой дух железа и мазута, и как долго еще не умолкал вдали шум движения, постепенно растворяясь в океане окружающей тиши… Пролетали и пассажирские поезда, один — в одну, другой — в другую сторону. Авдий встрепенулся было — он с детства любил стоять смотреть, куда несутся пассажирские поезда, кто мелькает в окнах, чьи фигуры и лица. Ах, счастливцы, возьмите меня с собой! В этот раз, однако, и этих мимолетных радостей он был лишен — пришлось притаиться за кустиком и не поднимать головы. А что хуже того — ему предстояло быть

соучастником или хотя бы очевидцем бандитской остановки одного из товарных поездов на этом участке. Нет, никто не собирался грабить состав, но остановка поезда позволяла гонцам заскочить в вагоны, а дальше уже все шло само собой. Дальше им предстояло укатить, спрятавшись в товарняке…

Поезда шли туда-сюда. Потом наступила длительная пауза и полная тишина. Авдий было задремал, но тут раздался свист. Петруха прислушался, тоже свистнул — и в ответ ему еще раз раздался свист.

— Ну, вы тут ждите спокойно, — сказал Петруха, — а я пойду, меня вызывают. И чтобы без меня никуда, слышал, Авдяй, слышал, Ленька? Товарняк застопорить не такое простое дело. Тут надо действовать с головой.

С этими словами он исчез. Вернулся он примерно через полчаса. И странный какой-то он вернулся, Петруха. Что-то в нем неуловимо изменилось, глаза были вороватые, избегали прямых взглядов. Авдий не любил в таких случаях давать волю своей подозрительности, гнал от себя ненужные мысли. Мало ли что может показаться — вдруг у человека просто живот болит… И потому спокойно осведомился:

— Ну что, Петр, как дела-то?

— Пока ничего, все нормально. Скоро будем действовать.

— Товарняк останавливать, что ли?

— Ну ясно. Самое верное в нашем деле — укатить на товарняке. А самое лучшее — если б на ночь глядя прикатить на станцию да поставить бы состав на запаску.

— Вот оно как.

Они помолчали. Петруха закурил и сказал как бы между прочим, затягиваясь сигаретой:

— Тут у нас один друг ногу подвернул, Гришаном зовут. Я сейчас его повидал. Не повезло Гришану. С ногой разве что насобираешь — куда там, с палкой ходит. Обидно, конечно, человеку. Так вот, может, скинемся все понемногу, сколько нас тут будет, гавриков, — человек десять. Каждый понемногу отсыплет от себя анашишки, смотришь, и выручим парня.

— Я готов, — отозвался Авдий. — Ленька вон спит, но думаю, и он не поскупится.

— Ну, Ленька-то — он свой оголец! А ты, Авдясь, пошел бы да поговорил бы с Гришаном. Как, мол, да что, человек ты грамотный, вроде и настроение бы поднял захромавшему…

— А Сам где, там, что ли? — неосторожно спро-

сил Авдий.

— Да что ты все — Сам да Сам, — рассердился Петруха. — Откуда мне знать? Я тебе про Гришана, а ты мне про Самого. Надо будет, он найдет нас, а не надо, наше дело маленькое. Что ты все беспокоишься?

— Да ладно тебе. Ну спросил ненароком. Успокойся. А где он, Гришан-то? В какой стороне?

— А иди вон туда — вон он там, в тенечке, под кустом сидит. Иди, иди!

Авдий и направился в ту сторону и вскоре увидел Гришана — тот сидел среди трав на маленьком раскладном стульчике, держа палку в руках. Кепочка прикрывала ему лоб. Верткий, кажется, был человек — не успел Авдий подойти, а он уж оглянулся и в кулак кашлянул. Неподалеку от него сидели еще двое. Всего их было трое. И Авдий понял, что это и был Сам… Замедляя шаги, он почувствовал, как пронизало его холодом и сердце учащенно заколотилось…

Часть вторая

I

— Привет пострадавшему, — сказал Авдий как можно обыденнее, пытаясь умерить тем самым сердцебиение в груди.

Гришан, сидевший на своем крохотном, раскладном, как у рыбаков, стульчике, поигрывая палкой, прищурил один глаз.

— Привет-то привет, а от кого привет?

Авдий невольно улыбнулся:

— От того, кто для начала должен осведомиться о твоем самочувствии.

— А, вон как! Очень признателен, положительно признателен, хоть и только для начала. В безлюдной степи такое внимание вдвойне дорого. Еще бы! Все мы человеки, не так ли?

«А он многословен и если к тому же еще и начитан, то беда. Вот уж чего не ожидал, так не ожидал. Рисуется, выдает себя за говоруна, — подумал Авдий. — К чему бы? Или это игра Самого?» И еще отметил Авдий про себя отсутствие каких-либо примечательных черт в облике Гришана. Все в нем было заурядно: в меру шатен, выше среднего роста, худощав, одет не броско, как обычно одеваются в его возрасте, — джинсы, заношенная

рубашка на «молнии», неприметная кепочка, которую в случае чего можно сунуть в карман. Если бы Гришан не прихрамывал и из-за этого не ходил с толстой суковатой палкой, его трудно было бы выделить, повсюду он бы затерялся в толпе. Разве что глаза Гришана запомнились бы, если за ним понаблюдать побольше. Выражение его юрких карих глаз все время менялось, возможно, он и сам не замечал, как часто щурился, косился, играл бесцветными бровями, напоминая загнанного в угол хищного зверька, который хочет кинуться, укусить, но не решается и все-таки храбрится и принимает угрожающую позу. Возможно, такому впечатлению способствовал обломанный верхний резец, обнажавшийся при разговоре. «А ведь мог поставить себе какую-нибудь золотую коронку, но почему-то не делает этого, — подумал про него Авдий. — Возможно, не желает иметь лишнюю примету».

— С ногой-то что? Подвернул? Недоглядел, стало быть? — поинтересовался он из вежливости. Гришан неопределенно покачал головой.

— Да, можно сказать, повредил малость. Недоглядел, ты прав, Авдий, так, кажется, тебя зовут?

— Да, я именуюсь Авдием.

— Имя-то редкое какое, библейское, — наро-

чито растягивая и смакуя слова, размышлял Гришан. — Авдий — определенно имечко церковноприходского разлива, — задумчиво заключил он. — Да, когда-то люди с богом жили. Вот откуда на Руси — Пречистенские, Боголеповы, Благовестовы. И фамилия у тебя, Авдий, должно быть, соответствующая?

— Каллистратов.

— Вот видишь, все совпадает… Ну а я попроще зовусь, по-пролетарски — Гришаном. Да не это важно. Так вот, прав ты, Авдий Каллистратов, недоглядел я с ногой. Страшноватый вывод напрашивается из этого: человек, коли он не последний дурак, непременно должен себе под ноги смотреть. И байка о дурной голове, от которой ногам покою нет, о том же. Как видишь, инвалидствую. Банальная история, собственно.

— И на чем это отразилось? — спросил Авдий, имея в виду намеки Петрухи.

— Не понял, — насторожился Гришан.

— Я о том, что эта банальная история отразилась на твоем деловом успехе — так надо понимать? — пояснил Авдий.

— Ну, это уже другой разговор! — Гришан сразу переменился, отбросил пустой наигрыш. — Если ты о деле речь ведешь, тогда ты прав. Но не это

сейчас главное, не это меня беспокоит. Я, да ты и сам, конечно, догадываешься, иначе зачем бы я сейчас с тобой разговаривал, зачем мне это пустопорожнее бле-бле-бле… Словом, я тут вроде распорядителя, что ли, или, скажем, старшины армейского, и для меня самое главное пробиться через линию фронта, сохранив живую силу.

— Чем могу быть полезен в таком случае? Да и вообще стоило бы поговорить, — предложил Авдий. — Мне ведь тоже об этой живой силе есть что сказать…

— Ну, коли такое совпадение интересов, тут уж не поговорить, а потолковать надо, — уточнил Гришан. — Я как раз на это и нацеливался. Ну вот, к примеру, напрашивается вопрос, так сказать, между нами, девочками, говоря, — хитровато намекнул он и, помолчав, велел тем двоим гонцам, что, не вмешиваясь в разговор, сидели в сторонке: — А вы, чем без дела сидеть, ступайте, готовьтесь!

И они молча ушли выполнять то, что было, видимо, заранее обговорено. Отдав распоряжение, Гришан взглянул на часы.

— Через часок начнем посадочную операцию. Посмотришь, как это делается, — пообещал он Авдию. — У нас здесь строго. Дисциплина как

в десанте. А мы и есть настоящий десант беззаветно преданных родине. С большой буквы. И ты тоже должен действовать, как прикажут. Без всяких там «могу», «не могу». Если все сработаем как надо, к вечеру доберемся до этого самого Жалпак-Саза.

Гришан многозначительно замолчал. Потом, бросив злорадный взгляд на Авдия, сказал с усмешкой, обнажив щербатый зуб:

— А теперь о главном. О том, что тебя к нам привело. Ты не торопись, не спеши. Так вот, в так называемом преступном мире, в котором ты странным образом очутился, о чем речь будет еще впереди, экспозиция твоя такова: ты — гонец, ты повязан с нами и ты слишком много знаешь. Ты, похоже, не дурак, но ведь ты сам полез в капкан. Так что теперь, будь ласка, оплачивай мое высокое доверие не менее высокой ценой.

— Что ты имеешь в виду?

— Думаю, ты сам догадываешься…

— Догадываться — одно, говорить впрямую — другое.

Оба замолчали, пережидая, когда прогрохочет проходящий мимо состав, — каждый по-своему готовился к неизбежному теперь поединку. Авдию в ту минуту подумалось о том, как странно

складываются людские отношения: даже сюда, в голую степь, где, казалось бы, все равны, где у всех одинаковые шансы, всем одинаково грозит провал и уголовная ответственность, а при удаче всех ждет одинаковый успех, люди, как свою кровь, принесли с собой неистребимые законы, согласно которым у Гришина, в частности, было некое неписаное право повелевать, потому что он был здесь хозяином.

— Так ты велишь говорить впрямую, — прервал молчание Гришан. — Хорошо, — неопределенно протянул он и вдруг, как бы спохватившись, лукаво добавил: — Слушай, а правда, что на тебя волки нападали?

— Да, было дело, — подтвердил Авдий.

— А не кажется ли тебе, Авдий Каллистратов, что судьба оставила тебя в живых для того, чтобы ты ответил мне сейчас на несколько вопросов, — обнажил в улыбке осколок зуба Гришан.

— Пусть так.

— Тогда кончай крутить. Ты мне должен объяснить здесь, сейчас и не сходя с места: чего ты мутишь моих ребят?

— Одна поправка, — перебил его Авдий.

— Какая? Что за поправка к биллю?

— Я пытаюсь наставить их на путь истинный,

а значит, слово «мутить» тут никак не подходит.

— Это ты брось, товарищ Каллистратов. Истинный, не истинный — на этот счет у каждого свое понятие. Ты эти штучки оставь. Здесь не место изощряться в словопрениях. Я хочу знать, что тебе надо понять, чего ты для себя добиваешься, святой отец?

— Ты подразумеваешь какую-то личную выгоду?

— Безусловно, а то что же? — широко развел руками Гришан и торжествующе-глумливо улыбнулся.

— В таком случае — ничего, абсолютно ничего, — отрезал Авдий.

— Прекрасно! — почти радостно вскричал Гришан. — Лучшего не придумаешь! Все совпадает. Так ты, выходит, из той сияющей породы одержимых идиотов, которые…

— Остановись! Я знаю, что ты хочешь сказать.

— Значит, ты подался в Моюнкумы под видом добытчика анаши, затесался к нам, стал у нас прямо как свой, и не потому, что деньгу большую возлюбил, как Христа, и не потому, что деваться было некуда после того, как тебя выперли из семинарии и тебе нигде ходу не было? Да будь я на месте этих попов, я бы в два счета пинками

тебя вышиб — ведь ты такой даже им и то не нужен. Они ведь в старые игры играют, а ты все взаправду, все всерьез…

— Да, всерьез. И ты принимай меня всерьез, — заявил Авдий.

— Еще бы! Ты что же, считаешь, что я тебя не понимаю, а я тебя насквозь вижу, вижу, кто ты есть. Ты — чокнутый, ты — фанатик собственного идиотизма, потому ты и подался сюда, а иначе что бы тебя сюда занесло? Прибыл, стало быть, с благородной целью этаким мессией, чтобы открыть глаза нам — падшим, промышляющим добычей анаши, торгующим и спекулирующим запрещенным дурманом. Прибыл распространять извечные спасительные идеи, от которых, как мочой, за три версты несет прописными истинами. Прибыл отвратить нас от зла, чтобы мы раскаялись, изменились, чтобы приняли обожаемые тобой стандарты тотального сознания. Вот ведь и Запад утверждает, что у нас все на один манер мыслят. — Гришан неожиданно проворно для пострадавшего от ушиба человека поднялся с полотняного своего стульчика и шагнул к Авдию, вплотную приблизив свое разгоряченное лицо к его лицу. — А ты, спаситель-эмиссар, подумал прежде о том, какая сила тебе противостоит?

— Подумал, и потому я здесь. И предупреждаю тебя: я буду добиваться своего ради вас же самих, чего бы мне это ни стоило, ты уж не удивляйся.

— Ради нас самих же! — скривился Гришан. — Не беспокойся, не удивляюсь, чего ради мне удивляться тому, на чем свихнулся еще тот, кого распяли, Спаситель рода человеческого… Раскинул руки в гвоздях на кресте, голову свесил, скорчил мученическую рожу и на тебе — любуйтесь, плачьте и поклоняйтесь до конца света. Недурно, понимаешь ли, придумали себе иные умники занятие на все века — спасать нас от самих же себя! И что же, кто спасен и что спасено в этом мире? Ответь мне! Все, как было до Голгофы, так оно есть и до сих пор. Человек все тот же. И в человеке ничто с тех пор не изменилось. А мы все ждем, что вот придет кто-то спасать нас, грешных. Тебя вот, Каллистратова, недоставало в этом деле. Но вот и ты явился к нам. Явился не запылился! — скорчил комическую мину Гришан. — Добро пожаловать, новый Христос!

— Обо мне можешь позволять себе говорить что угодно, но имени Христа не упоминай всуе! — одернул его Авдий. — Ты возмущаешься и удивляешься тому, что я здесь появился, а это не удивительно — ведь мы неотвратимо должны

были встретиться с тобой. Вдумайся! Неужто ты этого не понимаешь? Не я, так кто-то другой непременно должен был бы столкнуться с тобой. А я вычислил эту встречу…

— Быть может, ты и меня вычислил?

— И тебя. Наша встреча с тобой была неотвратима. Вот я и явился не запылился, как ты говоришь.

— Вполне логично, черт побери, — мы же не можем обходиться друг без друга. И в этом есть, наверно, какая-то своя сволочная закономерность. Но не ликуй, спаситель Каллистратов, твоя теория на практике ничего не даст. Однако хватит философствовать, хотя ты и довольно занятный субъект. Хватит, с тобой все ясно! Вот мой добрый совет тебе, коли уж так обернулось: иди, Каллистратов, своей дорогой, спасай прежде всего свою головушку, тебя никто сейчас не тронет, а то, что собрал в степи, если хочешь, можешь раздать, сжечь, пустить по ветру — воля твоя. Но смотри, чтобы наши с тобой пути никогда больше не пересеклись! — И Гришан выразительно постучал палкой по камню.

— Но я не могу принять твой совет. Для меня это исключается.

— Послушай, да ты настоящий идиот! Что тебе

мешает?

— Я перед Богом и перед собой в ответе за всех вас… Тебе, быть может, не понять этого…

— Нет-нет! Отчего же? — вскричал Гришан, от гнева бледнея и возвышая голос. — Я, между прочим, вырос в театральной семье, и, поверь мне, я оценил и понял твою игру. Но не слишком ли ты увлекся, ведь после любого, даже гениального, исполнения в заключение дают занавес. И сейчас занавес, товарищ Каллистратов, опустится при одном-единственном зрителе. Смирись! И не заставляй меня брать лишний грех на душу. Уходи, пока не поздно.

— Ты о грехе толкуешь. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но устраниться, видя злодеяние своими глазами, для меня равносильно тяжкому грехопадению. И не стоит меня отговаривать. Мне вовсе не безразлично, что будет, скажем, с малолетним Ленькой, с Петрухой да и с другими ребятами, что состоят при тебе. Да и с тобой в том числе.

— Потрясающе! — перебил его Гришан. — С какой же стати ты берешь на себя право вмешиваться в нашу жизнь? В конце концов, каждый волен распоряжаться своей судьбой сам. Да я тебя впервые в жизни вижу, да кто ты есть такой,

чтобы печься обо мне и других, будто тебе даны какие-то полномочия свыше. Уволь! И не испытывай судьбу. Если ты чокнутый, иди с богом, а мы как-нибудь обойдемся без тебя. Понял?!

— Но я не обойдусь! Ты требуешь полномочий — так вот, мандатов мне никто не выдавал. Правота и сознание долга — вот мои полномочия, а ты волен считаться или не считаться с ними. Но я неукоснительно их выполняю. Вот ты заявил, что вправе сам решать свою судьбу. Звучит прекрасно. Но не бывает изолированных судеб, нет отделяющей судьбу от судьбы грани, кроме рождения и смерти. А между рождением и смертью мы все переплетены, как нити в пряже. Ведь ты, Гришан, и те, кто оказался под твоей властью, сейчас ради своей корысти несете из этих степей вместе с анашой несчастье и беду другим. Соблазном мимолетным вы вовлекаете людей в свой круг — круг отчаяния и падения.

— А ты что нам за судья? Тебе ли судить, как нам жить, как поступать?

— Да я вовсе не судья. Я один из вас, но только…

— Что «но только»?

— Но только я сознаю, что над нами есть Бог как высшее мерило совести и милосердия.

— Опять Бог! И что ты хочешь этим нам еще сказать?

— А то, что Божья благодать выражает себя в нашей воле. Он в нас, он через наше сознание воздействует на нас.

— Слушай, к чему такие сложности? Ну и что из этого следует? Нам-то что это даст?

— Как что! Ведь благодаря силе разума человек властвует над собой, как Бог. Ведь что такое искреннее осознание порока? По-моему, это осуждение зла в себе на уровне Бога. Человек сам определяет себе новый взгляд на собственную сущность.

— Чем отличается твой взгляд от массового сознания? А мы от него бежим, чтобы не оказаться в плену толпы. Мы не вам чета, мы сами по себе.

— Ошибка. Свобода лишь тогда свобода, когда она не боится закона, иначе это фикция. А твоя свобода под вечным гнетом страха и законного наказания…

— Ну и что из этого? Тебе-то какая печаль — ведь это наш выбор, а не твой?

— Да, твой, но он касается не только тебя. Пойми, есть выход из тупика. Покайтесь вот здесь, прямо в степи, под ясным небом, дайте себе слово раз и навсегда покончить с этим делом, отказать-

ся от наживы, что сулит черный рынок, от порока и ищите примирения с собой и с тем, кто носит имя Бога и единым разумом объединяет нас…

— И что тогда?

— И тогда вы вновь обретете подлинную человеческую суть.

— Красиво звучит, черт возьми! И как просто! — Гришан нахмурился, поигрывая суковатой палкой, переждал, пока пронесся скрытый за увалом еще один грузовой состав, и, когда шум поезда стих, в наступившей тишине произнес, жестко и насмешливо сверля взглядом разоткровенничавшегося Авдия: — Вот что, достопочтенный Авдий, я терпеливо выслушал твои суждения, как говорится, хотя бы любопытства ради и должен крупно тебя разочаровать: ты ошибаешься, если в своем самодовольстве полагаешь, что только тебе дано говорить с Богом в мыслях своих, что я не имею контакта с ним, что привилегия такая только у одного тебя, у праведно мыслящего, а я ее лишен. Вот ты сейчас чуть не задохнулся от удивления, слух твой резануло, что с Богом может быть в контакте и такой, как я?

— Совсем нет. Просто слово «контакт» тут несколько непривычно. Напротив, я рад это услышать из твоих уст. Возможно, в тебе что-то

переменилось?

— Нисколько! Что за наивность. Так знай, Каллистратов, только смотри не стань заикой — у меня к Богу есть свой путь, я вхож к нему иначе, с черного хода. Не так твой Бог разборчив и недоступен, как тебе мнится…

— И чего ты достигаешь, попав к Богу с черного года?

— Да не меньшего, чем ты. Я помогаю людям изведать счастье, познать Бога в кайфе. Я даю им то, чего вы не можете дать им ни своими проповедями, ни своими молитвами… Своих людей я приближаю к Богу куда оперативнее, чем кто-либо.

— Приближаешь к Богу, купленному за деньги? С помощью зелья? Через дурман? И это ты называешь счастьем познания Бога?

— А что? Думаешь небось, святотатство, богохульство! Ну да! Я оскверняю твой слух. Конкурент твой, понимаешь ли! Дорогу тебе перебежал. Да, черт побери, да, деньги, да, наркотики! Так вот, деньги, если хочешь знать, — это все. Ты что думаешь, у денег особый Бог? А в церквах и прочих учреждениях вы что, без денег обходитесь?

— Но это же совсем другое дело!

— Оставь! Не заливай! На свете все продается,

все покупается, и твой Бог в том числе. Но я, по крайней мере, даю людям покайфовать и испытать то, что вы сулите лишь на словах и вдобавок на том свете. Лишь кайф дает блаженство, умиротворение, раскованность в пространстве и во времени. Пусть блаженство это мимолетно, пусть призрачно, пусть оно существует лишь в галлюцинациях, но это счастье, и достижимо оно только в трансе. А вы, праведники, лишены даже этого самообмана.

— Одно ты правильно сказал — что все это самообман.

— А ты как хотел? Получить правду всего за пять копеек? Так не бывает, святой отец! За неимением иного счастья кайф его горький заменитель.

— Но кто тебя просит заменять то, чего нет! Ведь это злой умысел — вот что это такое!

— Полегче, полегче, Каллистратов! Ведь я, если разобраться, ваш помощник!

— Как так?

— А вот так — и ничего тут странного нет! Человеку так много насулили со дня творения, каких только чудес не наобещали униженным и оскорбленным: вот царство Божье грядет, вот демократия, вот равенство, вот братство,

а вот счастье в коллективе, хочешь — живи в коммунах, а за прилежность вдобавок ко всему наобещали рай. А что на деле? Одни словеса! А я, если хочешь знать, отвлекаю неутоленных, неустроенных. Я громоотвод, я увожу людей черным ходом к несбыточному Богу.

— Да ты куда опаснее, чем я ожидал! Какую мировую смуту ты мог бы заварить — представить страшно! В тебе, быть может, умер маленький Наполеон.

— Бери выше! Почему не большой? Дали б мне волю, я бы мог так развернуться! Если б мы на Западе вдруг оказались, я бы еще не такими делами ворочал. И тогда ты не дерзнул бы со мною полемизировать, а смотрел бы на то, что есть добро, а что есть зло, так, как мне угодно…

— Не сомневаюсь. Но страшного в твоих словах тоже не вижу. Все, что ты говоришь, не ново. Ты, Гришан, паразитируешь на том, что люди изверились, а это культивировать куда удобнее. Все плохо, все ложь, а раз так — утешься в кайфе. А ты попробуй, если клеймишь все, что было, дать людям новый взгляд на мир. Вера — это тебе не кайф, вера — продукт страданий многих поколений, над верой трудиться надо тысячелетиями и ежедневно. А ты на позорном промысле желаешь

перевернуть чередование дня и ночи, извечный порядок. И, наконец, начинаешь ты за здравие, а кончить придется за упокой — ведь вслед за кайфом, так тобою превозносимым, наступает полоса безумия и окончательная деградация души. Что ж ты не договариваешь до конца? Выходит, кайф твой — провокация: ведь придя к Богу мнимому, тут же попадаешь в объятия сатаны. Как с этим быть?

— А никак. На свете за все есть расплата. И за это тоже. Как за жизнь есть расплата смертью… Тебе не приходило это в голову? Что притих? Тебе, святоша, конечно, не по нутру моя концепция!

— Концепция антихриста? Никогда!

— Ха-ха! Что стоит твое христианство без антихриста? Без его вызова? Кому оно нужно? Какая в нем потребность? Вот и выходит, что я вам необходим! А иначе с кем вам бороться, как демонстрировать воинственность своих идей?

— Ну и изворотлив ты — прямо уж! — невольно рассмеялся Авдий. — Готов играть на противоречиях. Но не витийствуй. Нам с тобой не найти общего языка. Мы антиподы, мы несовместимы — вот почему ты гонишь меня отсюда. Ты меня боишься. Но я все равно настаиваю: покайся, освободи гонцов из своей паутины. Я предлагаю

тебе свою помощь.

Гришан неожиданно промолчал. Нахмурился, стал молча ходить взад-вперед, опираясь на палку, потом приостановился.

— Если ты думаешь, товарищ Каллистратов, что я тебя боюсь, ты очень ошибаешься. Оставайся, я тебя не гоню. Сейчас мы будем пробираться на товарняк. Устроим, так сказать, организованный набег на транспорт.

— Скажи лучше — разбойничий, — поправил Авдий.

— Как тебе угодно, разбойничий так разбойничий, но не с целью грабежа, а с целью нелегального проезда, а это вещи разные, ведь твое государство лишает нас свободы передвижения…

— Государство оставь в покое. Так что ты хочешь мне предложить?

— Ничего особенного. При разбойничьей, как ты изволил уточнить, посадке, — кивнул Гришан в сторону железнодорожных путей, — все будут в сборе, все на виду. Вот и попробуй переубеди их, малолетних Ленек и разбитных Петрух, спасай их души, спаситель! Я ничем, ни единым словом тебе не помешаю. Считай, что меня нет. И если тебе удастся повести этот народ за собой, обра-

тить его к своему Богу, я тут же удалюсь, как и полагается удаляться при поражении. Ты понял меня? Принимаешь мой вызов?

— Принимаю! — коротко ответил Авдий.

— Тогда действуй! А о том, о чем мы здесь говорили, никто и знать не будет. Скажем, потолковали о том о сем.

— Спасибо! Но мне скрывать нечего, — ответил Авдий.

Гришан пожал плечами.

— Ну, смотри, как сказано в Библии, «ты говоришь!».

Был уже седьмой час вечера одного из последних дней мая. Но солнце по-прежнему ярко и горячо светило над степной равниной, и подозрительно застывшие серебристые облака, что весь день стояли как на приколе, поначалу бледные, к вечеру сгустились и темнеющей полосой нависли над самым горизонтом, поселив чувство необъяснимой тревоги в душе Авдия. Очевидно, надвигалась гроза.

А поезда все шли в ту и в другую стороны, с севера на юг и с юга на север, и земля подрагивала и сотрясалась под их тяжелыми колесами. «Сколько земли, сколько простора и света, а человеку все равно чего-то недостает, и прежде

всего — свободы, — думал Авдий, глядя на необъятные степные просторы. — И без людей человек не может жить и с людьми тяжко. Вот и сейчас — как быть? Что сделать, чтобы каждый, кто попал в сети Гришана, поступил бы, как велит ему разум, а не так, как принуждают его действовать сообщники, из страха или из стадного чувства, и прежде всего потому, что не в силах побороть влияние этого иезуита от наркомании. Нет, каков! Страшная, опаснейшая бестия. Как мне быть, что предпринять?»

И час настал. Перед тем как остановить товарняк, гонцы, схоронясь за травами и кустарниками, рассредоточились группами по два-три человека вдоль железной дороги. Свист был условным знаком. Когда вдали показался состав, возникший, как ползучая змея, на далеком изгибе пути, все, едва раздался свист, приготовились к броску. Рюкзаки, чемоданы с анашой были под рукой. Авдий вместе с Петрухой и Ленькой втроем залегли за кучей щебня, оставшегося от ремонтных работ на железной дороге. Неподалеку от них держался Гришан с двумя другими гонцами: одного, рыжеголового, звали Колей, другого, горбоносого и ловкого, говорившего с кавказским акцентом, звали Махачом — по всей

вероятности, он был из Махачкалы. Об остальных Авдий ничего не знал, но ясно было, что еще двоетрое гонцов нашли себе удобные укрытия и тоже готовились к решающему броску. Что касается тех двоих, которых Гришан послал химичить на путях, устроить иллюзию пожара на мосту и тем вынудить машиниста остановить локомотив, то они находились далеко впереди по движению поезда, возле дорожного указателя с пометкой «330 км». Здесь железная дорога проходила по небольшому мосту, перекинутому через глубокий овраг, размытый весенними паводками. Там, в этом уязвимом месте, и химичили двое, которые среди гонцов прозывались диверсами.

Поезд стремительно надвигался, и Авдий понимал, что все очень нервничают, как и что у них получится, удастся ли быстро заскочить в вагоны и каким еще окажется состав, а что, если сплошь из цистерн — куда тогда пристроишься? А не ровен час еще окажется охраняемый военный эшелон, тогда и вовсе хана.

Ленька трясущимися от волнения руками закурил сигарету. Петруха тут же гневно цыкнул на него:

— А ну брось! Убью, падла.

Но тот, синюшный и бледный, продолжал

жадно затягиваться взахлеб, и тогда Петруха метнулся к нему зверем, ударил наотмашь по голове, сбил фуражку. Однако и Ленька не остался в долгу — ответил ударом на удар и, изловчившись, пнул Петруху ногой. Петруха и вовсе остервенел — и между ними завязалась яростная потасовка.

Авдию пришлось привстать:

— Прекратите, сейчас же прекратите. Петруха, не трогай Леньку. Как тебе не стыдно!

Но Петруха со злости накинулся на Авдия:

— А ты-то чего лезешь, поп — толоконный лоб! Что встал, чурка, тебя же за версту видно! — И изо всех сил дернул за штанину. Разгоряченные стычкой, переругиваясь и тяжело дыша, они откатились на свои места.

А поезд был уже на подходе. Волнение гонцов невольно передалось и Авдию. Момент, что и говорить, был чрезвычайно напряженный и опасный.

Авдий с детства любил следить за поездами: ведь он еще застал послевоенные паровозы, те романтические машины, выбрасывавшие могучие столбы дыма и клубы пара, оглашавшие гудками окрестность, — но он не представлял себе, что с таким трепетом будет ожидать поезд, ведь ему предстояло незаконно и более того — насиль-

ственно проникнуть в него.

А тяжелый товарный состав, влекомый парой локомотивов в едином сцепе, все надвигался, его приближение было почти что осязаемым, до мурашек, до гусиной кожи. Далеко было прежним паровозам до нынешних дизелей. Их сила таилась внутри, но они тащили за собой такой длинный хвост вагонов, что казалось, ему нет конца. А бесчисленные колеса все катились и катились, из-под вагонов несся порывистый ветер, гул и дробный перестук. Авдий глядел на эту стремительно и четко движущуюся махину, и ему не верилось, что этот чудовищно тяжелый и огромный состав можно остановить.

Вагоны — платформы, цистерны, лесовозы, грузовые и крытые контейнеры — проносились один за другим, вот уже пронеслась мимо половина состава, и Авдий подумал, что ничего не выйдет, что все это напрасная затея: невозможно остановить раскатившуюся на такой скорости махину, но вдруг скорость поезда начала падать, колеса стали крутиться все медленнее, раздался скрежет тормозов, и эшелон, судорожно дергаясь, будто спотыкаясь, постепенно сбавил ход. Авдий глазам своим не верил: состав почти остановился. Но тут раздался пронзительный свист, в ответ

ему раздался такой же свист.

— Пошли! — скомандовал Петруха. — Вперед!

Подхватив рюкзаки и сумки, они ринулись к замедляющим ход вагонам. Все происходило быстро и стремительно, как при налете из засады. Надо было, ухватившись или зацепившись за что-нибудь, успеть вскарабкаться в любой вагон, на любую площадку — только бы вскочить, а там уже можно на ходу перебраться по крышам и устроиться поудобнее. Дальше все для Авдия шло как в кошмарном сне: он метался перед вставшей чуть не до неба глухой стеной вагонов, подсознательно удивляясь тому, как они высоки и как резок запах мазута от колес, готовых в любую секунду покатиться дальше. Но, несмотря на все это, Авдий лихорадочно карабкался, кому-то помогал, и кто-то помогал ему. Поезд раза два угрожающе дернулся, состав заскрежетал и залязгал — того и гляди попадешь под колеса. Однако все обошлось как нельзя лучше. И когда поезд еще раз дернулся и снова быстро пошел наверстывать упущенное время, Авдий огляделся и обнаружил, что находится в порожнем товарном вагоне вместе со своими неразлучными сподвижниками — Петрухой и Ленькой, был здесь и Гришан. Одному богу ведомо, как он умуд-

рился заскочить в поезд с ушибленной ногой, при нем были еще те двое — Махач и Коля. Все были бледны и тяжело дышали, но лица их были радостны и довольны. Авдию не верилось, что все так удачно получилось и что самый сложный момент был позади. Теперь добытчики анаши уезжали в сторону Жалпак-Саза, а там уже путь лежал на большую землю, в большие города, в многолюдье…

Ехать предстояло часов пять. Им повезло: в порожнем вагоне, который они оккупировали, оказались брошенные, должно быть, за ненадобностью после выгрузки товаров пустые деревянные ящики — гонцы приспособили их для сидения. Расположились, как велел Гришан, чтобы снаружи их не заметили. В вагоне было достаточно светло, если открыть двери только с одной стороны, к тому же оконца наверху были открыты для продува.

При первой же остановке на каком-то разъезде они наглухо задвинули дверь и затихли, пережидали остановку в духоте и жаре, но возле состава никто не появился. Петруха осторожно выглянул и доложил, что все в порядке — никого вокруг не видно. Как только прогрохотал мимо встречный пассажирский, поезд снова тронулся, на

следующем полустанке Махач успел раздобыть целую канистру холодной воды, и жизнь в вагоне возобновилась — все оживились, перекусили сухарями, консервами и уже размечтались, как здорово они поедят горячего в столовой на станции Жалпак-Саз.

А поезд шел своим маршрутом по Чуйским степям в сторону гор…

Тем долгим майским вечером было еще светло. Говорили о том о сем, но больше всего о еде, о деньгах. Петруха вспомнил о своей шикарной бабе, которая ждала его в Мурманске, на что Махач с чисто кавказской экспрессией заметил:

— Слушай, Петруха, дорогой, ты, кроме Мурманска, нигдэ не можешь бабу делать? Что, в Москве уже нельзя немножко делать? Ха-ха-ха! Что, в Москве нэт баб?

— Ты сопляк еще, Махачка, что ты понимаешь в этом деле? — обозлился Петруха. — Сколько тебе лет-то?

— Сколько-сколько! Скольке есть, всэ мои! У нас, на Кавказе, такие, как я, уже давно детей делают! Ха-ха-ха!

Всех развеселил этот разговор, даже Авдий невольно улыбался, поглядывая время от времени на Гришана, а тот, сидя в сторонке, снисходи-

тельно ухмылялся. Он по-прежнему примостился на своем складном стульчике и держал в руках все ту же суковатую палку. На других гонцов он походил разве что тем, что курил такие же, как и все остальные, дешевые сигареты.

Так они ехали веселой компанией, обживая порожний товарный вагон. Ленька прикорнул в уголке вагона, другие тоже собирались поспать, хотя солнце еще не догорело на краю земли и освещало все вокруг. Покуривая, переговариваясь о чем-то незначительном, гонцы вдруг примолкли, затем, поглядывая на Гришана, стали перешептываться.

— Слушай, Гришан, — обратился к нему Махач, — что мы тут сидим, понымаешь, на общем собрании мы решили — немного кайфанем, а? Время есть, кайфанем? У меня, дорогой тамада, есть такой смак, пех-пех, только багдадский вор такой курил!

Гришан бросил быстрый взгляд на Авдия: ну, мол, как? И, помолчав, выждав время, бросил:

— Валяйте!

Все оживились, сгрудились вокруг Махача. А он достал откуда-то из куртки анашу, тот самый смак, который мог курить только багдадский вор. Скрутил большую папиросину, затянулся

первым и пустил самокрутку по кругу. Каждый благоговейно вдыхал дым анаши и передавал самокрутку следующему. Когда очередь дошла до Петрухи, тот жадно затянулся, зажмурив глаза, потом протянул самокрутку Авдию:

— Ну, Авдясь, глотни и ты малость! Что ты, лысый? На, курни! Да не жмись ты, ей-богу, ты что, девка?

— Нет, Петр, я курить не буду, и не старайся! — наотрез отклонил Авдий предложение Петрухи. Тот сразу оскорбился:

— Как был попом, так и останешься! Подумаешь, поп-перепоп! Тебе как лучше хочешь сделать, а ты в душу плюешь!

— Я тебе в душу не плюю, Петр, ты не прав!

— Да тебя разве переговоришь! — махнул рукой Петруха и, затянувшись еще раз, передал самокрутку Махачу, а тот с кавказской ловкостью протянул ее Гришану.

— А теперь, дорогой тамада, твоя очередь! Твой тост!

Гришан молча отвел его руку.

— Ну, смотри, хозяин — барин! — жалеючи покачал головой Махач, и самокрутка вновь пошла по кругу. Взахлеб затянулся Ленька, за ним рыжий Коля, за ним Петруха и снова Махач. И

вскоре настроение куривших начало меняться, глаза их то туманились, то поблескивали, губы расплылись в беспричинных, счастливых улыбках, и только Петруха все не мог забыть обиды, все бросал искоса недовольные взгляды на Авдия и бурчал себе под нос что-то про попов, мол, все они гады такие.

Сидя на своем стульчике, Гришан молча, невозмутимо наблюдал из своего угла за сеансом курения с иронически-вызывающей, снисходительной ухмылкой супермена. Юркие уничтожающие взгляды, которые он кидал время от времени на Авдия, стоящего у открытых дверей, говорили о том, что он доволен происходящим и безусловно догадывается, чего это стоит праведному Авдию.

Авдий понял, что Гришан, разрешив гонцам покайфовать в пути, устроил для него показной спектакль. Вот, мол, каково? Гляди, как я силен и как бессильны твои высокие порывы в борьбе со злом.

И хотя Авдий делал вид, что вроде бы ему безразлично, чем они тут занимаются, в душе он возмущался, страдал от своего бессилия что-либо противопоставить Гришану, предпринять что-либо практическое, что могло бы вырвать

гонцов из-под влияния Гришана. И вот тут-то Авдию изменила выдержка. Он не в силах был совладать с гневом, все больше переполнявшим его. И последней каплей опять же послужило предложение Петрухи курнуть от его бычка, от той самокрутки, которая с каждой затяжкой обслюнивалась все больше, пока не приобрела наконец зловещий желто-зеленый оттенок.

— На, Авдясь, да не вороти морду, попик ты наш! Я ж от чистого сердца. В нем, в бычке, самая сладость, аж мозги киселем расползаются! — развязно приставал Петруха.

— Не лезь! — раздраженно оборвал его Авдий.

— Чего еще не лезь! Я к тебе со всей душой, а ты выпендриваешься, морду строишь!

— Ну, дай сюда, дай! — сказал в сердцах Авдий и, протянув руку за тлеющим бычком, поднял его над головой, как бы демонстрируя Петрухе, и бросил в открытую дверь товарняка. Это произошло так быстро, что все, включая и Гришана, на некоторое время онемели от неожиданности. В наступившей тишине явственнее, гулче и грозней стал слышен стук быстро бегущих по рельсам колес. — Видел? — вызывающе обратился Авдий к Петрухе: — Все видели, что я сделал? — обвел он гневным взором добытчиков. — И так будет

всегда!

Петруха, а за ним и все остальные недоуменно и вопрошающе обернулись к Гришану: как, мол, это понимать, хозяин, это что еще за выскочка тут объявился?

Гришан демонстративно молчал, насмешливо переводя взгляд с Авдия на оскорбленные лица гонцов. Первым не вытерпел Махач:

— Слушай, тамада, ты что молчишь? Ты что, нэмой?

— Нэт! Я нэ нэмой! — передразнил его Гришан и жестко добавил, не скрывая злорадства: — Я дал этому типу слово молчать. А в остальном разбирайтесь сами! Больше я ничего не скажу…

— Это вэрно? — недоуменно спросил Махач Авдия.

— Верно, но это еще не все! — выкрикнул Авдий. — Я дал слово разоблачить его, — кивнул он на Гришана, — этого дьявола, завлекшего вас этим пагубным соблазном! И я не буду молчать, потому что правда за мной! — И сам не понимая, что с ним творится, что он делает и что выкрикивает, выхватил свой рюкзак из кучи других рюкзаков с анашой. Все, кроме Гришана, от неожиданности повскакивали с мест, недоумевая, что же задумал этот скромный поп-перепоп

Авдий Каллистратов.

— Вот, ребята, смотрите! — затряс Авдий рюкзаком высоко над головой. — Мы везем здесь пагубу, чуму, отраву для людей. И это делаете вы, гонцы, одурманенные легкими деньгами, ты, Петр, ты, Махач, ты, Леня, ты, Коля! О Гришане и говорить нечего. Вы и сами знаете, кто он такой есть!

— Постой, постой, Авдий! А ну, милый, дай-ка сюда мешок! — двинулся к нему Петруха.

— Отойди! — оттолкнул его Авдий. — И не лезь! Я знаю, как уничтожить эту отраву людскую.

И не успели гонцы опомниться, как Авдий, рванув завязку рюкзака, стал вытряхивать из дверей поезда анашу на ветер. И зелье — а как много, оказывается, было собрано желто-зеленых соцветий и лепестков конопли — полетело вдоль железнодорожного полотна, кружась и паря, как осенние листья. То улетали на ветер деньги — сотни и тысячи рублей! На какое-то мгновение гонцы замерли, как завороженные глядя на Авдия.

— Видали! — закричал Авдий и вышвырнул в дверь и сам рюкзак. — А теперь последуйте моему примеру! И мы покаемся вместе, и Бог возлюбит и простит нас! Давайте, Ленька, Петр! Выбрасывайте, выкидывайте проклятую анашу на ветер!

— Он спятил! Он заложит нас на станции легавым! Хватай его, бей попа! — заорал вне себя Петруха.

— Стойте, стойте! Послушайте меня! — пытаясь что-то им объяснить, кричал Авдий, видя, как разъярились накурившиеся анаши гонцы, но было уже поздно. Гонцы бросились на него, как бешеные собаки. Петруха, Махач, Коля наперебой молотили его кулаками. Один Ленька тщетно старался растащить, разнять дерущихся.

— Да перестаньте же! — беспомощно бегал он вокруг. Но ему не удавалось их остановить — где ему было сладить сразу с троими. Завязалась жестокая рукопашная.

— Бей! Тащи! Выкидывай его из вагона! — ревел разъяренный Петруха.

— Души попа! Бросай вниз! — вторил ему Махач.

— Не надо! Не убивайте! Не надо убивать! — вопил бледный, трясущийся Ленька.

— Отстань, сволочь, зарежу! — вырвался от Леньки остервенелый Коля.

Авдий отбивался что было сил, стараясь отодвинуться подальше от открытых дверей, пробиться на середину качающегося из стороны в сторону вагона: он теперь воочию убедился в свирепости,

жестокости, садизме наркоманов — а ведь давно ли они блаженно улыбались в эйфории. Авдий понимал, что схватка идет не на жизнь, а на смерть, понимал, что силы далеко не равны. Их трое, здоровенных лютующих парней, — где ему с ними справиться, ведь за него один Ленька, а он не в счет. Гришан же все это время по-прежнему сидел на своем месте, как зритель в цирке или в театре, но не скрывал своего злорадства.

— Ну и ну! Вот это да! — посмеиваясь, глумился он. Стравил-таки их, заранее вычислил, что столкнутся, и теперь пожинал плоды победы — глядел, как убивают на его глазах человека.

Авдий сознавал, что только вмешательство Гришана могло изменить его участь. Стоило ему крикнуть: «Спаси, Гришан!» — и гонцы сразу бы утихомирились. Но прибегнуть к помощи Гришана Авдий не мог ни при каких обстоятельствах. Оставалось одно — пробираться в глубину вагона, забиться в угол, а там пусть изобьют, измолотят, пустъ сделают с ним что угодно, но только чтобы они не выбросили его на ходу — ведь это верная смерть…

Но добраться до угла было не так-то просто. Удары наотмашь, пинки отшвыривали его прочь к зияющему проему дверей. Задержись он там

лишнюю секунду, и гонцы не задумываясь выпихнут его из вагона. И Авдий поднимался снова и снова, упорно стремился прорваться в дальний угол, надеясь, что наркоманы выдохнутся или опомнятся. Первым в той яростной схватке, получив по голове, свалился Ленька. Это Коля саданул его, чтоб не мешал творить расправу над попом, над праведником, а стало быть, над врагом гонцов — Авдием. Бешено работали кулаками гонцы — ведь речь шла о бешеных деньгах.

— Бей, бей! Под дых, под дых его! — бесновался Петруха и, схватив сзади Авдия, заломил ему руки назад, подставив под удары Махачу, а тот, точно озверевший бык, в ярости сокрушительно ударил его в живот — и, согнувшись в три погибели, харкая кровью, Авдий рухнул на пол бегущего вагона. И тогда они втроем поволокли его к двери, но он все еще сопротивлялся, обдирая ногти, судорожно цеплялся руками за доски настила, пытаясь отбиться, вырваться, а зловещий Гришан как ни в чем не бывало сидел в углу вагона на своем стульчике нога на ногу с невозмутимо-торжествующим выражением на лице и что-то насвистывал, поигрывая суковатой палкой. И была еще возможность попросить пощады, крикнуть: «Спаси, Гришан!» — и не исключено, что тот

снизошел бы, проявил великодушие и остановил бы смертоубийство, но Авдий так и не разомкнул рта, и, прочертив его головой кровавый след по настилу, они поволокли его к самому проему вагона, и здесь, в дверях, произошла еще одна, последняя, схватка. Сбросить Авдия на ходу они опасались, потому что могли сорваться вместе с ним. Авдий изловчился повиснуть в дверях, вернее за дверьми, уцепившись за железную скобу поручня. Встречный ветер обрушился шквалом, прижал к дверям, но Авдию удалось нащупать левой ногой какой-то металлический выступ и повиснуть, удерживаясь на весу, и никогда, наверное, в нем не было столько сил, столько жажды выжить, как в тот момент, когда он пытался превозмочь беду. Если бы его оставили в покое, он, возможно, сумел бы вскарабкаться, вползти назад в вагон. По гонцы били его ногами по голове, как по футбольному мячу, поносили его последними словами, исколотили в кровь, а он уцепился мертвой хваткой за поручень. Последние минуты были особенно ужасны. Петруха, Махач и Коля совсем остервенели. Тут и Гришан не выдержал, подскочил к дверям: теперь-то уж можно не притворяться, можно полюбоваться, как расшибется насмерть Авдий Каллистратов. И

Гришан стоял и ждал того неизбежного момента, когда гонцы добьют Авдия. Ничего не скажешь — Гришан отменно знал свое дело. Он убивал Авдия Каллистратова чужими руками. А завтра, если мертвого Каллистратова найдут и не поверит, что он упал или выбросился из поезда, в самом худшем случае Гришан будет чист — он лично не прикладывал рук. Скажет: ребята повздорили, подрались, и в результате несчастный случай — оступился в драке.

Последнее, что запомнил Авдий, — пинки по лицу, обувь гонцов окрасилась кровью, и встречный ветер гудел в ушах, как полыхающий огонь. Тело Авдия, налитое свинцовой тяжестью, все больше тянуло вниз, в страшную, неумолимую пустоту, а поезд мчался, преодолевая сопротивление ветра, мчался все по той же степи, и никому на свете не было дела до него, обреченного, висящего на волоске от гибели. И солнце на закате того бесконечно длинного дня, ослепляя его выкатившиеся в муке и ужасе глаза, срывалось вместе с ним в черную бездну небытия. Но, как ни пинали его, Авдий не размыкал рук, и тогда Петруха нанес ему последний, решающий удар, схватив палку Гришана, которую Гришан как бы невзначай держал на виду — вот, мол, пожалуйста, бери

и бей, бей по рукам, чтоб расцепились…

И Авдий сплошным комком боли полетел вниз, не чувствуя уже, как покатился по откосу, расшибаясь и обдираясь, как промчался мимо места его падения хвост эшелона, как скрылся поезд, унося его бывших попутчиков, как смолк шум колес.

Вскоре солнце угасло, наступила тьма, и на западе в сизо-свинцовом небе сгустились грозовые тучи…

А мимо того злополучного места уже мчались другие поезда, и тот, кто не стал молить о пощаде, чтобы продлить свою жизнь, лежал поверженный на дне железнодорожного кювета. А все, что он узнал в неистовом поиске истины, все, что утверждал, было теперь отброшено прочь, погублено. И стоило ли, не щадя себя, отказывать себе в шансе уцелеть? Ведь речь шла ни мало ни много — о собственной жизни, и всего-то нужно было произнести три слова: «Спаси меня, Гришан!» Но он не сказал этих слов…

Поистине нет предела парадоксам Господним… Ведь был уже однажды в истории случай — тоже чудак один галилейский возомнил о себе настолько, что не поступился парой фраз и решился жизни. И оттого, разумеется, пришел ему конец. А люди, хотя с тех пор прошла уже одна тысяча

девятьсот пятьдесят лет, все не могут опомниться — все обсуждают, все спорят и сокрушаются, как и что тогда получилось и как могло такое произойти. И всякий раз им кажется, что случилось это буквально вчера — настолько свежо потрясение. И всякое поколение — а сколько их с тех пор народилось, и не счесть — заново спохватывается и заявляет, что, будь они в тот день, в тот час на Лысой горе, они ни в коем случае не допустили бы расправы над тем галилеянином. Вот ведь как им теперь кажется. Но кто мог тогда предположить, что дело так обернется, что все забудется в веках, но только не этот день…

И тогда тоже, кстати, была пятница, и тот, кто мог спастись, тоже не догадался ради своего спасения сказать в свою пользу двух слов…

II

Жарким было то утро в Иерусалиме, и предвещало оно еще более жаркий день. На Арочной террасе Иродова дворца, под мраморной колоннадой, куда прокуратор Понтий Пилат велел поставить себе сиденье, прохладно обдувало ноги в сандалиях чуть сквозящим понизу ветерком. Высокие пирамидальные тополя в большом саду едва слышно шелестели верхушками, листва их в этом году преждевременно пожелтела.

Отсюда, с каменистой возвышенности, с Арочной террасы дворца, открывался вид на город, очертания которого расплывались в зыбучем мареве — воздух все более накалялся, — даже окрестности Иерусалима, всегда четко видные, лишь смутно угадывались на границе с белой пустыней.

В то утро над холмом, широко распахнув крылья, точно подвешенная к небу на невидимой нити, беззвучно и плавно кружила одинокая птица, через равные промежутки времени пролетая над территорией большого сада. То ли орел, то ли коршун, кроме них, ни у одной птицы не хватило бы терпения так долго и однообразно летать и

жарком небе. Перехватив случайный взгляд, брошенный на птицу Иисусом Назарянином, стоящим перед ним, переминаясь с ноги на ногу, прокуратор вознегодовал и даже оскорбился. И сказал желчно и жестко:

— Ты куда очи возводишь, царь Иудейский? То твоя смерть кружит!

— Она над всеми нами кружит, — тихо отозвался Иисус, как бы говоря с самим собой, и при этом невольно притронулся ладонью к заплывшему, в черном отеке глазу: у базара, когда его вели на суд синедриона, на него накинулась с побоями толпа, науськиваемая священниками и старейшинами. Иные жестоко били его, иные плевали в лицо, и понял он в тот час, как люто ненавидели его люди первосвященника Каиафы, и понял, что никакой милости ему не следует ожидать от иерусалимского судилища, и тем не менее по-человечески дивился и поражался свирепости и неверности толпы, будто бы никто из них до этого не догадывался, что он бродяга, будто бы до этого не они внимали затаив дыхание его проповедям во храмах и на площадях, будто бы это не они ликовали, когда он въезжал в городские ворота на серой ослице с молодым осликом позади, будто бы не они с надеждой провозглашали, кидая

под ноги ослице цветы: «Осанна Сыну Давидову! Осанна в вышних!»

Теперь он хмуро стоял в разодранной одежде перед Понтием Пилатом, ожидая, что последует дальше.

Прокуратор же был сильно не в духе, и прежде всего, как ни странно, он был раздражен на себя — на свою медлительность и необъяснимую нерешительность. Такого еще с ним не случалось ни в его бытность в действующих римских войсках, ни тем более в бытность прокуратором. Не смешно ли, в самом деле, — вместо того чтобы с ходу утвердить приговор синедриона и избавить себя от лишних трудов, он затягивал допрос, тратя на него и время и силы. Ведь так просто, казалось бы, вызвать ожидающего его решения иерусалимского первосвященника и его прихвостней и сказать: нате, мол, берите своего подсудимого и распоряжайтесь им, как порешили. И, однако, что-то мешало Понтию Пилату поступить этим простейшим образом. Да стоит ли этот шут того, чтобы с ним возиться?..

Но подумать только, каков оказался этот чудак! Он, мил, царь Иудейский, возлюбленный Господом и дарованный Господом иудеям как прямая стезя к справедливому царству Божьему.

А царство это такое, при котором не будет места власти кесаря и кесарей, их наместников и прислужнических синагог, а все-де будут равны и счастливы отныне и во веки веков. Какие только люди не домогались верховной власти, но такого умного, хитрого и коварного еще никто не знал — ведь случись самому дорваться до кормила власти, наверняка бы правил точно так же, ибо иного хода жизни нет и не будет в мире. И сам-то злоумышленник отлично знает об этом, но ведет свою игру! Подкупает доверчивых людей обещанием Нового Царства. Если правду говорят, что каждый судит о другом в меру своей подозрительности, то тут был именно тот случай: прокуратор приписывал Иисусу те помыслы, которые в тайная тайных, не надеясь на их осуществление, лелеял сам. Именно это больше всего раздражало Понтия Пилата, и от этого осужденный вызывал в нем одновременно и любопытство и ненависть. Прокуратор полагал, что ему открылся замысел Иисуса Назарянина: не иначе как этот бродяга-провидец задумал затеять в землях смуту, обещать людям Новое Царство и сокрушить то, чем впоследствии хотел обладать сам. Нет, каков! Кто бы мог подумать, что этот жалкий иудей смел мечтать о том, о чем не мог мечтать, вернее, не

позволял себе мечтать сам повелитель малоазиатских провинций Римской империи Понтий Пилат. Так убеждал, так настраивал, к такому умозаключению подводил себя многоопытнейший прокуратор, допрашивая бродягу Иисуса довольно необычным способом: всякий раз ставя себя на его место, — и приходил в негодование от намерений этого неслыханного узурпатора. И от этого Понтий Пилат все больше распалялся, все больше терзался сомнениями — ему хотелось и немедленно скрепить прокураторской подписью смертный приговор, вынесенный Иисусу накануне старейшинами иерусалимского синедриона, и оттянуть этот момент, насладиться, выявив до конца, чем грозили римской власти мысли и действия этого Иисуса…

Ответ обреченного бродяги на его замечание по поводу птицы в небе покоробил прокуратора своей откровенностью и непочтительностью. Мог бы и промолчать или сказать что-нибудь заискивающее, так нет же, видите ли, нашел чем утешиться: смерть, мол, над всеми нами кружит. «Ты смотри, сам на себя накликает беду, будто и в самом деле не боится казни», — сердился Понтий Пилат.

— Что ж, вернемся к нашему разговору. Ты

знаешь, несчастный, что тебя ждет? — спросил прокуратор сиплым голосом, в который раз вытирая платком пот с коричневого лоснящегося лица, а заодно и с лысины и с плотной крепкой шеи. Пока Иисус собирался с ответом, прокуратор похрустел вспотевшими пальцами, выкручивая каждый палец по отдельности — была у него такая дурная привычка. — Я спрашиваю тебя, ты знаешь, что тебя ждет?

Иисус тяжко вздохнул, бледнея при одной мысли о том, что ему предстоит:

— Да, римский наместник, знаю, меня должны казнить сегодня, — с трудом выговорил он.

— «Знаю!» — издевательски повторил прокуратор, с усмешкой, полной презрения и жалости, оглядывая стоящего перед ним незадачливого пророка с ног до головы.

Тот стоял перед ним понурясь, нескладным, длинношеий и длинноволосый, с разметанными кудрями, в разодранной одежде, босой — сандалии, должно быть, потерялись в схватке, — а за ним сквозь ограду дворцовой террасы виднелись городские дома на отдаленных холмах. Город ждал того, кто стоял на допросе перед прокуратором. Гнусный город ждал жертвы. Городу требовалось сегодня в этот зной крова-

вое действо, его темные, как ночь, инстинкты жаждали встряски — и тогда бы уличные толпы захлебнулись ревом и плачем, как стаи шакалов, воющих и злобно лающих, когда они видят, как разъяренный лев терзает в ливийской пустыне зебру. Понтию Пилату приходилось видеть такие сцены и среди зверей и среди людей, и внутренне он ужаснулся, представив себе на миг, как будет проходить распятие на кресте. И он повторил с не лишенным сочувствия укором:

— Ты сказал — знаю! «Знаю» — не то слово. В полной мере ты узнаешь это, когда будешь там…

— Да, римский наместник, я знаю и содрогаюсь при одной мысли об этом.

— А ты не перебивай и не торопись на тот свет, успеешь, — проворчал прокуратор, которому не дали закончить мысль.

— Прости покорно, правитель, если случайно перебил тебя, я не хотел этого, — извинился Иисус. — Я вовсе не тороплюсь. Я хотел бы пожить еще.

— И ты не думаешь отречься от слов своих непотребных? — спросил в упор прокуратор.

Иисус развел руками, и глаза его были по-детски беспомощны.

— Мне не от чего отрекаться, правитель, те

слова предопределены Отцом моим, я обязан был донести их людям, исполняя волю Его.

— Ты все свое твердишь, — в раздражении Понтий Пилат повысил голос. Выражение лица его с крупным горбатым носом, с жесткой линией рта, обрамленного глубокими складками, стало презрительно-холодным. — Я ведь вижу тебя насквозь, как бы ты ни прикидывался, — сказал он не допускающим возражения тоном. — Что на самом деле значит донести до людей слова Отца твоего — это значит оболванить, прибрать к рукам чернь! Подбивать чернь на беспорядки. Может быть, ты и до меня должен донести его слова — я ведь тоже человек!

— У тебя, правитель римский, нет пока надобности в этом, ибо ты не страждешь и тебе ни к чему алкать другого устроения жизни. Для тебя власть — Бог и совесть. А ею ты обладаешь сполна. И для тебя нет ничего выше.

— Верно. Нет ничего выше власти Рима. Надеюсь, ты это хочешь сказать?

— Так думаешь ты, правитель.

— Так всегда думали умные люди, — не без снисходительности поправил его прокуратор. — Поэтому и говорится, — поучал он, — кесарь не Бог, но Бог — как кесарь. Убеди меня в обратном,

если ты уверен, что это не так. Ну! — И насмешливо уставился на Иисуса. — От имени римского императора Тиверия, чьим наместником я являюсь, я могу изменить кое-что в положении вещей во времени и пространстве. Ты же пытаешься противопоставить этому какую-то верховную силу, какую-то иную истину, которую несешь якобы ты. Это очень любопытно, чрезвычайно любопытно. Иначе я не стал бы держать тебя здесь лишнее время. В городе уже ждут не дождутся, когда приговор синедриона приведут в исполнение. Итак, отвечай!

— Что мне ответить?

— Ты уверен, что кесарь менее Бога?

— Он смертный человек.

— Ясно, что смертный. Но пока он здравствует — есть ли для людей другой Бог, выше кесаря?

— Есть, правитель римский, если избрать другое измерение бытия.

— Не скажу, что ты меня рассмешил, — в наигранном оскорблении морща лоб и приподнимая жесткие брови, проронил Понтий Пилат, — Но ты не можешь меня в этом убедить по той простой причине, что это даже не смешно. Не знаю, не пойму, кто и почему тебе верит.

— Мне верят те, кого толкают ко мне притес-

нения, вековая жажда справедливости, — тогда семена моего учения падают на удобренную страданиями и омоченную слезами почву, — пояснил Иисус.

— Хватит! — безнадежно махнул рукой прокуратор. — Бесполезная трата времени.

И оба замолчали, думая каждый о своем. На бледном челе Иисуса проступил обильный пот. Но он не утирал его ни ладонью, ни оборванным рукавом хламиды, ему было не до того — от страха к горлу подкатила тошнота, и пот заструился вниз по лицу, падая каплями на мраморные плиты у худых жилистых ног.

— И после этого ты хотел бы, — внезапно осипшим голосом продолжил Понтий Пилат, — чтобы я, римский прокуратор, даровал тебе свободу?

— Да, правитель добрый, отпусти меня.

— И что же ты станешь делать?

— Со словом Божьим пойду я по землям.

— Не ищи дураков! — вскричал прокуратор и вскочил вне себя от гнева. — Вот теперь я окончательно убеждаюсь, что твое место только на кресте, только смерть может унять тебя!

— Ты ошибаешься, правитель высокий, смерть бессильна перед духом, — твердо и внятно произнес Иисус.

— Что? Что ты сказал? — поразился Понтий Пилат, не веря себе и подступая к Иисусу; лицо его, искаженное от гнева и удивления, пошло темно-коричневыми пятнами.

— То, что ты слышал, правитель.

Набрав воздуха в легкие, Понтий Пилат резко вскинул руки к небу, собираясь что-то сказать, но в это время послышались гулкие шаги подкованных кавалерийских сапог.

— Чего тебе? — строго спросил прокуратор вооруженного легионера, идущего к нему с каким-то пергаментом.

— Велено передать, — сказал тот коротко и удалился.

То была записка Понтию Пилату от жены:

> «Прокуратор, супруг мой, не причиняй, прошу тебя, непоправимого вреда этому скитальцу, прозываемому, как сказывают, Христом. Все говорят, что он безобидный праведник, чудесный исцелитель всяких недугов. А то, что он якобы сын Божий, мессия и чуть ли не царь Иудейский, так что, может быть, на него наговорили. Не мне судить, так ли это. Сам знаешь, что за скандальный и одер-

жимый народ эти иудеи. А что, если это правда? Ведь очень часто то, что на устах презренной толпы, потом подтверждается. И если так окажется и на этот раз, тебя же потом проклянут. Сказывают, что служители синагог здешних да городские старейшины испугались и возненавидели этого Иисуса Христа из-за того, что народ вроде за ним подвинулся, и из зависти священники его оклеветали и натравили на него невежественную толпу. Те, что вчера молились на него, сегодня побивали его камнями. Мне кажется, что если ты согласишься на казнь этого юродивого, то вся худая слава впоследствии падет на тебя, супруг мой. Ведь нам не вечно сидеть в Иудее. Я хочу, чтобы ты вернулся в Рим с достойными тебя высокими почестями. Не делай этого. Давеча, когда его вела стража, я видела, какой он красивый, ну прямо молодой бог. Кстати, мне сон привиделся накануне. Потом расскажу. Очень важный. Не навлекай проклятия на себя и на свое потомство!».

— О боги, боги! Чем я вас прогневал? — простонал Понтий Пилат и в который раз пожалел, что

не отправил сразу же без лишних слов и проволочек этого невменяемого и неистового лжепророка со стражей к палачам туда, за городские сады, где на взгорье должна была совершиться казнь, которой требовало иерусалимское судилище. И вот теперь и жена вмешивается в его прокураторские дела, в чем ему виделась если не скрытая работа сил, стоящих за Иисусом Христом, то, во всяком случае, сопротивление небесных сил этому делу. Но небожителей земные дела мало интересуют, а жена — что она понимает своим женским умом в политике, зачем ему пробуждать вражду первосвященника Каиафы и иерусалимской верхушки, преданной и верной Риму, ради этого сомнительного бродяги Иисуса, поносящего кесарей? Откуда она взяла, что этот тип красив, как молодой бог? Ну, молод. Только и всего. А красоты никакой особой в нем нет. Вот он стоит, побитый в свалке, как собака. И что в нем нашла она? Прокуратор задумчиво прошел несколько шагов, обдумывая содержание записки, и снова со вздохом сел в кресло. А меж тем у него промелькнула еще мысль, что уже не раз приходила ему на ум: казалось бы, сколь ничтожны люди — гадят, мочатся, совокупляются, рождаются, мрут, вновь рождаются и мрут, сколько низостей и злодеяний несут

они в себе, и среди всего этого отврата и мерзости откуда-то вдруг — провидение, пророки, порывы духа. Взять хотя бы этого — он так уверовал в свое предназначение, что точно во сне живет, а не наяву. Но хватит, придется его отрезвить! Пора кончать!

— И все же вот что я хочу знать, — обратился прокуратор к Иисусу, все так же молчаливо стоящему на своем месте, — допустим, ты праведник, а не злоумышленник, сеющий смуту среди доверчивых людей, допустим, говоря о Царстве справедливости, ты оспариваешь право кесаря владеть миром, допустим, я поверю тебе, так вот скажи мне: что заставляет тебя идти на смерть? Открой мне, что тобою движет? Если ты вознамерился таким способом воцариться над народом израилевым, я тебя не одобряю, но я тебя пойму. Но зачем же ты вначале рубишь сук, на котором собираешься сидеть? Как же ты станешь кесарем, если ты отрицаешь власть кесаря? Сам понимаешь, сейчас в моей воле оставить тебя в живых или послать на казнь. Так что же ты молчишь? Онемел от страха?

— Да, наместник римский, я страшусь свирепой казни. И кесарем я вовсе не собираюсь быть.

— Тогда покайся на всех городских площадях,

осуди себя. Признай, что ты лжепрозорливец, лжепророк, не уверяй, что ты царь Иудейский, чтобы чернь отхлынула от тебя, чтобы не соблазнять их напрасным и преступным ожиданием. Никакого Царства справедливости быть не может. Справедливо всегда то, что есть. Есть в мире император Тиверий, и он и есть незыблемый оплот мироустройства. А Царство справедливости, речами о котором ты подбиваешь легкомысленных роптать, — пустое дело! Подумай! И не морочь голову ни себе, ни другим. А впрочем, кто ты такой, чтобы римский император тебя остерегался, — какой-то безвестный скиталец, сомнительный пророк, базарный горлопан, каких полным-полно на земле Иудеи. Но ты соблазн посеял своим учением, и этим сильно озабочен ваш первосвященник, поэтому раскрой свой обман. А сам удались в Сирию или в другие страны, и я, как римский прокуратор, попробую тебе помочь. Соглашайся, пока не поздно. Что ты опять молчишь?

— Я думаю о том, наместник римский, что оба мы столь различны, что вряд ли поймем друг друга. Зачем же я буду кривить душой и отрекаться от ученья Господа таким образом, чтобы тебе и кесарю было выгодно, а истина страдала?

— Не темни, что выгодно для Рима — то превыше всего.

— Превыше всего истина, а истина одна. Двух истин не бывает.

— Опять лукавишь, бродяга?

— Не лукавил ни прежде, ни теперь. А ответ мой таков: первое — не пристало отрекаться от того, что сказано во имя истины, ибо ты сам того хотел. И второе — не пристало брать на себя грех за несодеянное тобой и бить себя в грудь, чтобы от молвы чернящей отбелиться. Коли молва лжива, она сама умрет.

— Но прежде умрешь ты, царь Иудейский! Итак, ты идешь на смерть, какой бы ни был путь к спасению?

— К спасению мне только этот путь оставлен.

— К какому спасению? — не понял прокуратор.

— К спасению мира.

— Довольно юродствовать! — потерял терпение Понтий Пилат. — Значит, ты добровольно идешь на гибель?

— Стало быть, так, ибо другого пути у меня нет.

— О боги, боги! — устало пробормотал прокуратор, проведя рукой по глубоким морщинам, избороздившим его лоб. — Жара-то какая, не к перемене ли погоды? — буркнул он себе под нос.

И принял окончательное решение: «Зачем мне все это? К чему стараюсь выгородить того, кто не видит в том проку? Тоже чудак я!» И сказал: — В таком случае я умываю руки!

— Воля твоя, наместник, — ответил Иисус и опустил голову.

Они вновь замолчали и, должно быть, оба почувствовали, как за пределами дворцовой ограды, за пышными садами, где изнывали в зное городские улицы в низинах и на всхолмлениях иерусалимских, точно бы набухала глухая зловещая тишина, готовая вот-вот разорваться. Пока до них оттуда доносились лишь неясные звуки — гул больших базаров, где с утра смешались люди, товары, тягловые и вьючные животные. Но между этими мирами было то, что разделяло их и охраняло верхний от нижнего: за оградой прохаживались легионеры, а пониже, в рощице, стояло кавалерийское оцепление. Видно было, как лошади отмахивались хвостами от мух.

Заявив, что он умывает руки, прокуратор почувствовал некоторое облегчение, ибо теперь он мог сказать себе: «Я сделал все, что от меня зависело. Боги свидетели, я не подталкивал его к тому, чтобы он стоял на своем, предпочтя учение собственной жизни. Но поскольку он не отрека-

ется, пусть будет так. Для нас это даже лучше. Он сам себе подписал смертный приговор…» Думая об этом, Понтий Пилат готовил тем самым и ответ жене. И еще подумал он, искоса глянув на Иисуса Назарянина, со смутной улыбкой молчаливо ждущего своей заранее предопределенной участи: «Что сейчас на уме у этого человека? Небось теперь он сам же горько сожалеет, понимает, во что ему обойдется его премудрое учение, от которого он не смеет отступиться. Попал в собственный капкан. Попробуй теперь вывернись: один Бог на всех — на все земли, на весь род людской, на все времена. Одна вера. Одно Царство справедливости на всех. Куда он метит? Что и говорить, всем бы этого хотелось, на том он и решил сыграть! Но вот так жизнь и учит нас, вот так карает чрезмерную хитроумность. Вот так оборачивается покушение на трон, не предназначенный от роду. Чего захотел! Решил смутить чернь, взбунтовать против кесарей и чтобы от толпы к толпе пошла та зараза по миру. Весь исконный порядок мироустройства решил опрокинуть вверх дном. Отчаянная голова! Ничего не скажешь! Нет, такого никак нельзя оставлять в живых. С виду вон какой избитый, смирный, а что в нем таится — ведь вон что затеял, только

великому уму такой план под силу. Кто бы мог это в нем предположить!»

В мыслях этих находил прокуратор Понтий Пилат согласие с собой. Успокаивало его и то, что теперь не придется вести неприятного разговора с первосвященником Каиафой, открыто требующим от имени синедриона утвердить решение суда по поводу Иисуса Назарянина.

— Не сомневайся, мудрый правитель, ты достигнешь согласия с собой и будешь во всем прав, — проронил Иисус, точно бы отгадывая мысли прокуратора.

Понтий Пилат возмутился.

— Ты обо мне не беспокойся, — грубо накинулся он на Иисуса, — для меня дело Рима превыше всего, ты о себе подумай, несчастный!

— Извини, высокий правитель, не стоило мне вслух говорить эти слова.

— Вот именно. И чтобы тебе не пришлось пожалеть, когда уже будет поздно, подумай еще, пока я отлучусь, и если не переменишь к моему возвращению свое решение, я произнесу последнее слово. И не мни, что ты царь Иудейский, опора мира, что без тебя земле не обойтись. Напротив, все складывается не в твою пользу. И время твое давно истекло. Только отречением ты еще мог бы

спасти себя. Ты понял?

— Понял, правитель…

Понтий Пилат встал с места и пошел в покои, поправляя на плечах просторную тогу. Костистый, большеголовый, лысый, величественный, уверенный в достоинстве своем и всесилии. Когда он шел вдоль Арочной террасы, взгляд его снова упал на ту птицу, царски парящую в поднебесье. Он не смог определить, был ли то орел или кто другой из той же породы пернатых, но не это волновало его, а то, что птица была для него недосягаема, была неподвластна ему, — и не отпугнешь ее, равно как не призовешь и не прогонишь. Резко вскинув бровь, прокуратор метнул неприязненный взгляд ввысь: ишь ты, кружит да кружит, и дела ей ни до чего нет. И все же подумалось ему, что эта птица словно император в небе. Не случайно, видимо, императорское величие символизирует орел — голова с мощным клювом, хищный глаз, прочные, как железо, крылья. Таким и должен быть император! В выси — на виду и не доступен никому… И с той высоты править миром — и никакого равенства ни в чем и ни с кем, даже боги должны быть у императора свои, отдельные от других, безразличные к подданным, презирающие их.

Вот на чем стоит сила, вот что заставляет бояться власти, вот на чем стоит порядок вещей в мире. А этот Назарянин, который упорствует в своем учении и который вознамерился уравнять всех от императора до раба, ибо Бог, мол, един и все люди равны перед Богом, утверждает: мол, Царство справедливости грядет для всех. Он смутил умы, взбудоражил низы, вознамерился переустроить мир на свой лад. И что из этого получилось? Та же толпа потом била его и плевала в лицо ему, лжепрозорливцу, лжепророку, обманщику и прохиндею… И, однако, что же это за человек такой? При всей безнадежности своего положения ведет себя так, будто не он терпит поражение, а те, кто его осуждает…

Так думал прокуратор Понтий Пилат, наместник римского императора, можно сказать, сам полуимператор, во всяком случае в этой части Средиземноморья, когда отлучился с допроса, чтобы оставить Иисуса Назарянина на несколько минут наедине с собой, — пусть тот почувствует зияющую бездну, над которой висит. Надо было сломить его дух, заставить униженно ползать, отречься от Бога, единого для всех, от всеобщего равенства, чтобы потом, как гада с переломленным хребтом, вышвырнуть вон из израильских

земель — пусть бродяжничает и сгинет без вести, недолго бы так протянул, свои ученики и прибили бы, изверившись в нем…

Так думал, борясь со своими сомнениями, многоопытнейший правитель Понтий Пилат, изыскивая наиболее верный, наиболее выгодный и наиболее показательный путь искоренения новоявленной крамолы. Уходя с Арочной террасы, он полагал, что осужденный наедине с собой прочувствует, что ему грозит, и к моменту возвращения прокуратора падет к его ногам. Если бы прокуратор знал, что в те короткие минуты этот странный человек думал совсем не об этом или, вернее, совсем не так, а ушел в воспоминания, ибо воспоминания — это тоже удел живых и одно из последних благ на пороге прощания с жизнью.

Едва прокуратор удалился, как из боковых ниш немедленно вышли четверо стражников и встали по краям Арочной террасы, точно бы осужденный мог отсюда бежать. И он позволил себе обратиться к ближайшему легионеру:

— Могу ли я сесть, добрый стражник?

— Садись, — ответил тот, ударяя копьем о каменный пол.

Иисус присел на мраморную приступку у сте-

ны, согбенный, с бледным, заострившимся лицом в окаймлении длинных, ниспадающих волнами темных волос. И, прикрыв глаза ладонью, ушел в себя, забылся. «Напиться бы, — думал он, — искупаться бы где-нибудь в реке». Он живо представил себе проточную воду у берегов — вода струится, лобзая землю и прибрежные травы, и ему почудился плеск воды, как будто работали весла, приближая лодку к тому месту, где сидел он, как будто кто-то хотел взять его в лодку и увезти, уплыть с ним отсюда. То была мать, это она подплывала к нему в тревоге и страхе. «Мама! — прошептал он неслышно. — Мама, если бы ты знала, как мне тяжко! Еще прошлой ночью в Гефсимании на Масличной горе я изнывал, ужасался от тоски, навалившейся, как черная ночь, не находил себе места и, бодрствуя с учениками, все не мог успокоиться и в предчувствии страшном дошел до кровавого пота. И тогда я обратился к Господу, Отцу моему Небесному. „Отче, — сказал я. — О если бы ты благословил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет“. И вот она — чаша сия, до краев полная, не обходит, не минет, приближается неотвратимо, и свершится то, что и ты наверное предвидишь. И если это так, значит, ты знала, что будет со

мною, и тогда, о боже, как же ты жила все эти годы, мама родная, родительница, давшая дыхание, с какой мыслью и с какой надеждой ты растила меня, предназначенного замыслом Божьим для этого великого и ужасного дня, самого несчастного из всех дней, ибо нет больше горя для человека, чем собственная смерть, но для матери, когда на глазах у нее погибает плод чрева ее, род ее, — горе двойное. Прости меня, мать, не я определил судьбу твою, а Отец мой Всевышний, так обратим к Нему свои взоры без ропота, и да будет воля Его!»

Вспомнив мать свою Марию, припомнил он в тот час, как в младенчестве, когда было ему лет пять, приключился с ним один случай. В ту пору семья их пребывала в Египте, куда бежала от царя Ирода, посягавшего на жизнь новорожденного дитяти — будущего Иисуса Христа, ибо сказано было волхвами, что то царь Иудейский народился. К тому времени мальчик уже подрос, и протекала там неподалеку большая полноводная река, возможно, то был Нил — велика была река, широка. Мария ходила туда с малышом полоскать белье, как и многие женщины той местности. А в тот день, когда они были у реки, причалил один старец лодку к берегу и подошел к ним,

поздоровался ласково с Марией и ее малышом. «Отец! — окликнула его Мария. — Не позволишь ли покатать на твоей лодочке сыночка моего? Так он хочет этого, плачет, несмышленыш». — «Да, Мария, — отвечал старец, — я для этого и привел эту лодку, чтобы ты покатала на ней маленького Иисуса». Марию не удивило, что он знал их имена, она подумала, что это кто-нибудь из окрестных жителей. Но когда решилась попросить, чтобы старец сел на весла, тот вдруг исчез, точно в воздухе растворился. Но и это не смутило Марию, уж очень хотелось мальчику покататься на лодке, уж очень он радовался и бегал вокруг, прыгая от возбуждения, очень торопил мать свою. И тогда она бросила белье на камнях прибрежных, взяла сыночка, усадила его в лодку, а сама отвязала лодку, столкнула ее с мели, вскочила в нее, усадила малыша на колени, и они поплыли по течению. Как чудесно было тихо скользить по сверкающей воде почти у самого берега — на прибрежных отмелях колыхались тростники, пестрели цветы, яркие птицы шумно порхали в кустах, напевали и посвистывали, в теплом парном воздухе гудели, роились, стрекотали насекомые. Как чудесно им было! Мария запела негромкую песню и была счастлива, а сынку ее так интересно было плыть

на лодке. И это еще больше радовало Марию. Тем временем — и не так уж далеко они отплыли от места и не так уж далеко были от берега — большая коряга, лежавшая на мелководье, ожила и, взбурлив волны, грозно и стремительно поплыла к ним. То был громадный крокодил — его выпученные глаза алчно устремились на них. Мальчик испугался и закричал. Мария оцепенела и не знала, что предпринять. Ударом хвоста крокодил чуть было не опрокинул лодку. Бросив весла, Мария крепко прижала к себе дитя. «Господи! — взмолилась она. — Это он! Твой сын Иисус! Данный тобой! Не оставляй его, Господи! Спаси его!»

Женщина настолько перепугалась, что могла лишь зажмурить глаза да заклинать того, кто был Всем во Вселенной и Отцом Небесным ее ребенка. «Не оставляй нас, он еще нужен будет тебе!» — вскричала она. Лодка же, оставшись без управления, поплыла, подталкиваемая снизу крокодилом. Когда наконец Мария осмелилась открыть глаза, крик радости вырвался из ее груди — лодка причалила к берегу, точно бы ее кто-то привел туда, и крокодил, повернув назад, уплывал вдаль. Не помня себя Мария выскочила из лодки и побежала по берегу, плача от потрясения

и смеясь от счастья. Она бежала, прижимая к себе малыша, и все твердила, целуя его и обливая слезами: «Иисус! Иисус! Ненаглядный мой сыночек! Тебя Отец узнал! Он тебя спас! Это Он тебя спас! Он тебя возлюбил, ты Его возлюбленный сын, Иисус! Ты станешь премудрым, Иисус! Ты будешь Учителем, Иисус! И ты откроешь глаза людям, Иисус! И они пойдут за тобой, Иисус, и ты не отступишься от людей никогда, никогда, никогда!» Так, причитая, ликовала «благословенная между женами».

Так причитала и ликовала она от радости, что чудом спасся Сын Божий, и невдомек ей было, что то было знамение Господне, чтобы люди знали, кто он, подрастающий Иисус, сын плотника Иосифа, скрывшегося ради спасения младенца от Ирода в Египет. Ибо, как только Мария с дитятею выскочила из лодки на берег и побежала, лодка куда-то исчезла, уплыла по реке, а женщины, стиравшие белье в реке, сбежавшиеся на ее крик, уверяли потом, кто когда она бежала с малышом на руках, вокруг его головы виднелось золотистое сияние. И все обрадовались этому. И тронуты были до слез, когда маленький Иисус, прильнув к матери, крепко обнял ее за шею и, вдыхая материнский дух, сказал: «Мама, когда

я вырасту, я поймаю того крокодила за хвост, чтобы он больше не пугал нас!» Все посмеялись словам детским, а потом стали припоминать, кто же мог быть хозяином лодки. Тут открылось, что никто в округе того человека не знал и никто его больше никогда не видел. Плотник Иосиф многие дни пытался разыскать загадочного лодочника, чтобы извиниться перед ним и возместить ему убыток, но так и не нашел его…

Вот какая приключилась однажды история с младенцем Иисусом в Египте, и теперь он припомнил ее на Арочной террасе, когда просил прощения у матери за причиняемое ей горе и страдания. «Я с тобой прощаюсь сейчас, мать, — говорил он ей, — не обижайся, если не успею или не смогу обратиться к тебе, когда меня будут казнить. Страшусь я смерти, и ноги мои холодеют, хотя сегодня так невыносимо жарко. Прости меня, мать, и не ропщи в мой тяжкий час на долю свою. Прости. А у меня иного пути к истине в человеках, которые самое тяжкое бремя Творца, нет, кроме как утвердить ее через собственную смерть. Иного пути к человекам не дано. И я иду к ним. Прости и прощай, мама! А жаль, что крокодила того я так и не схватил за хвост. Говорят, они очень долго живут, два-три человеческих века,

эти крокодилы. А если бы и поймал, отпустил бы с миром… Пусть себе… И еще вот подумалось, мама, если тот лодочник был ангел в облике старца, может быть, мне суждено свидеться с ним в мире ином… Припомнит ли он тот случай? Слышу шаги, идет мой палач поневоле — Понтий Пилат. Прощай, мать, заранее прощай».

Понтий Пилат вернулся на Арочную террасу тем же твердым шагом, каким и покидал ее. Стража тут же удалилась, и опять эти двое остались на террасе один на один. Выразительно глянув на Иисуса, вставшего с места при его появлении, прокуратор понял, что все идет так, как ему хотелось, — жертва сама неуклонно приближалась к последней черте. Однако и в этот раз он решил не рубить сплеча — дело и без того развивалось в нужном направлении.

— Ну что ж, как я погляжу, разговор окончен, — сказал Понтий Пилат с ходу. — Ты не передумал?..

— Нет.

— Напрасно! Подумай еще!

— Нет! — покачал тот головой. — Пусть будет так, как должно быть.

— Напрасно! — повторил Понтий Пилат, хотя и не совсем уверенно. Но в душе дрогнул — его

поколебала решительность Иисуса Назарянина. И в то же время он не хотел, чтобы тот отрекся от себя и стал бы искать спасения, просить пощады. И Иисус все понял.

— Не сокрушайся, — улыбнулся он смиренно. — Я верю, слова твои чистосердечны. И понимаю тебя. Мне тоже очень хочется жить. Лишь на пороге небытия человек понимает, как дорога ему жизнь. И мать свою мне жаль — я так люблю ее, всегда любил, с самого детства, хотя и не выказывал того. Но как бы то ни было, наместник римский, запомни: ты мог бы, скажем, спасти одну душу, и на том было бы великое тебе спасибо, а я обязан спасти многих и даже тех, которые явятся на свет после нас.

— Спасти? Когда тебя уже не будет на земле?

— Да, когда меня не будет среди людей.

— Пеняй на себя, больше мы к этому разговору не вернемся, — решительно заявил Понтий Пилат, не желая более рисковать. — Но ответь мне на последний мой вопрос… — сказал он, задерживаясь возле своего кресла, и замолк, задумавшись, нахмурив мохнатые брови. — Скажи мне, ты в состоянии сейчас вести разговор? — добавил вдруг доверительно. — Если тебе не до этого, не утруждай себя, я не буду тебя задерживать. Тебя

ждут на горе.

— Как тебе угодно, правитель, я в твоем распоряжении, — ответил собеседник и поднял на прокуратора прозрачно-синие глаза, поразившие того силой и сосредоточенностью мысли — будто Иисуса и не ждало на горе то неминуемое.

— Спасибо, — так же неожиданно поблагодарил вдруг Понтий Пилат. — В таком случае, ответь мне на последний вопрос, теперь уж любопытства ради. Поговорим как свободные люди — я от тебя ни в чем не завишу, да и ты теперь, как сам понимаешь, на пороге полной свободы, так что будем откровенны, — предложил он, усаживаясь на свое место. — Скажи мне, говорил ли ты ученикам, приверженцам своим, причем, как ты сам понимаешь, я в твое ученье не верю, так вот, говорил ли ты приверженцам своим, уверял ли их, что коли тебя распнут, ты на третий день воскреснешь, а воскреснув, вернешься в один прекрасный день на землю и учинишь Страшный суд и над теми, кто сейчас живет, и над теми, кто еще явится на свет, над всеми душами, над всеми поколениями от сотворения? И что это будет якобы второе твое пришествие в этот мир. Так ли это?

Иисус странно усмехнулся, как бы говоря себе:

вон оно, мол, что, — и, переступая босыми ногами по мрамору, помолчал, точно бы решая для себя, стоит ему отвечать или нет.

— Это все Иуда Искариот наговорил? — спросил он насмешливо. — И тебя это очень беспокоит, римский наместник?

— Я не знаю, кто такой Иуда, но так мне передавали уважаемые люди, старейшины. Так что ж, все это, выходит, пустые слова?

— Думай как хочешь, правитель, — холодно ответил Иисус. — Никто не навязывает тебе того, что чуждо твоему уму.

— Ведь я всерьез, я не смеюсь, — поспешил заверить прокуратор. — Просто я думаю, что другой такой возможности побеседовать у нас с тобой уже не будет. Как только тебя отсюда уведут, обратной дороги у тебя не будет. Но для себя я хочу выяснить, как можно после смерти вновь явиться на землю не рождаясь и учинять суды над всеми душами? И где этот суд будет — в небесах или еще где? И как долго должны ждать доверившиеся тебе люди этого дня, чтобы удостоиться вечного покоя? Позволь мне высказать вначале, как я на это смотрю. Расчет твой прост, ты рассчитываешь на то, что каждый хочет и на том свете удобной жизни. Ах, этот смертный человек, и вечно-то он

чего-то вожделеет, вечно-то он чего-то жаждет. Так просто заманить его посулами — и он даже там, в загробной жизни, побежит за тобой, как собака. Но, допустим, пусть будет так, как учишь, ты пророк, но твоя жизнь уже на исходе, продлить ее ты можешь только беседой…

— Я мог бы и вовсе ее не продлевать.

— Но ты же не пойдешь на гору, оставив мой вопрос без ответа? В моем понятии такой уход хуже смерти.

— Продолжай.

— Так вот, допустим, твое учение верно, тогда скажи: когда наступит тот день второго твоего пришествия? И если ожидание будет длиться долго, невообразимо долго, то зачем это человеку? Ведь в том, что не исполнится в течение жизни, для него мало проку. А потом, по правде говоря, и представить нельзя, чтобы можно было дождаться такого невероятного события. Или же ждать надо, слепо веря? И что это даст? Какая в том польза?

— Сомнения твои понятны, правитель римский, ты мыслишь грубо, по-земному, как учителя твои, греки. Не обижайся на замечание мое. Пока стою я пред тобой, как бренный человек, ты вправе спорить. К тому же мы с тобой уж очень разные

— как вода и огонь. И суждения наши разнятся, с разных концов мы с тобой ко всему подходим. Так вот, о том, что тебя волнует, правитель… То, что второго пришествия ждать придется бесконечно долго, это верно. В этом ты прав. Когда наступит тот день, никто не может предсказать, ибо это начертано в замыслах Того, кем мир сотворен. То, что для нас продлится тысячелетия, для него, возможно, одно мгновение. Но суть в другом. Создатель наделил нас высшим в мире благом — разумом. И дал нам волю жить по разумению. Как распорядимся мы небесным даром, в этом и будет история истории людей. Ведь ты не станешь отрицать, наместник римский, что смысл существования человека в самосовершенствовании духа своего, — выше этого нет цели в мире. В этом красота разумного бытия — изо дня в день все выше восходить по нескончаемым ступеням к сияющему совершенству духа. Тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день. А посему — как долго ждать придется того дня, в который ты не веришь, правитель, зависеть будет от самих людей.

— Вот как! — Понтий Пилат возбужденно вскочил, схватился за спинку кресла. — Постой, постой, чтобы такое от людей зависело — это

же неслыханно! Я, не верующий в твое учение, постичь этого не могу. Если бы люди могли по воле своей удалять или приближать подобное явление, уж не уподобились бы они богам?

— Ты в чем-то прав, правитель римский, но прежде я хотел бы отделить молву от истины. Молва об истине — великая беда. Молва — как ил в воде, что со временем превращает глубокую воду в мелкую лужу. В жизни всегда так — любую великую мысль, родившуюся на благо людям, достигнутую в прозрениях и страданиях, молва, передавая из уст в уста, вечно искажает во зло и себе и истине. Вот к чему я речь веду, наместник, — к тому, что те небылицы, которым ты веришь, есть молва, а истина в другом.

— Не хочешь ли открыть ту истину?

— Да, попробую. Не буду избегать разговора. К тому же я говорю об этом в последний раз. Так знай, правитель римский, промысел Божий не в том, что однажды, как гром в ясную погоду, грянет день, когда Сын Человеческий, воскреснув, спустится с небес править суд над народами, а все наоборот будет, хоть цель и останется та же. Не я, кому осталось жить на расстоянии перехода через город к Лысой горе, приду, воскреснув, а вы, люди, пришествуете жить во Христе, в высокой

праведности, вы ко мне придете в неузнаваемых грядущих поколениях. И это будет мое второе пришествие. Иначе говоря, я в людях вернусь к себе через страдания мои, в людях вернусь к людям. Вот о чем речь. Я буду вашим будущим, во времени оставшись на тысячелетия позади, в том Промысел Всевышнего, в том, чтобы таким способом возвести человека на престол призвания его — призвания к добру и красоте. В том смысл моих проповедей, в том истина, а не в молве ходячей и не в небылицах всяких, опошляющих высокие идеи. Но путь тот будет наитягчайшим средь всех для рода людского и бесконечно долгим, и этого ты, наместник римский, справедливо опасаешься. Путь этот начнется с рокового дня, с убиения Сына Божия, и в вечном покаянии да пребудут поколения, всякий раз заново содрогаясь цене той, которую я сегодня заплачу во искупление греховности людей, во их прозрение и пробуждение в них божественных начал. На то и родился я на свет, чтоб послужить людям немеркнущим примером. Чтоб люди уповали на мое имя и шли ко мне через страдания, через борьбу со злом в себе изо дня в день, через отвращение к порокам, к насилию и кровожадности, столь пагубно поражающим души, не заполненные любовью к Богу,

а стало быть, к подобным себе, к людям!

— Постой, Иисус Назарянин, ты отождествляешь Бога и людей?

— В каком-то смысле да. И более того, все люди, вместе взятые, есть подобие Бога на земле. И имя есть той ипостаси Бога — Бог-Завтра, Бог бесконечности, дарованной миру от сотворения его. Наверное, ты, правитель римский, не раз ловил себя на мысли, что желания твои всегда к завтрашнему дню обращены. Сегодня ты жизнь приемлешь такой, какая есть, но непременно хочешь, чтоб завтра было иным, и если даже тебе сегодня и хорошо, все равно желаешь, чтобы завтра было еще лучше. И потому живут надежды в нас, неугасимые, как свет Божий. Бог-Завтра и есть дух бесконечности, а в целом — в нем вся суть, вся совокупность деяний и устремлений человеческих, а потому, каким быть Богу-Завтра — прекрасным или дурным, добросердечным или карающим, — зависит от самих людей. Так думать позволительно и необходимо, того желает от мыслящих существ сам Бог-Творец, и потому о завтрашней жизни на земле пусть заботятся сами люди, ведь каждый из них какая-то частица Бога-Завтра. Человек сам судья и сам творец каждого дня нашего…

— Постой, а как же Страшный суд, столь грозно провозглашаемый тобою?

— Страшный суд… А ты не думал, правитель римский, что он давно уже свершается над нами?

— Не хочешь ли ты сейчас сказать, что вся наша жизнь — Страшный суд?

— Ты не далек от истины, правитель римский, пройти тем путем, что начинался в муках и терзаниях с проклятия Адаму, через злодеяния, чинимые из века в век одними людьми над другими людьми, порождающими зло от зла, неправду от неправды, — это, наверно, что-то значило для тех, кто пребывал и пребывает на белом свете. С тех пор как изгнаны родоначальники людей из Эдема, какая бездна зла разверзлась, каких только войн, жестокостей, убийств, гонений, несправедливостей, обид не узнали люди! А все страшные прегрешения земные против добра, против естества, совершенные от сотворения мира, — что все это, как не наказание почище Страшного суда? В чем изначальное назначение истории — приблизить разумных к божественным высотам любви и сострадания? Но сколько ужасных испытаний было в истории людей, а впереди не видно конца злодеяниям, бурлящим,

как волны в океане. Жизнь в таком аду не хуже ли Страшного суда?

— И ты, Иисус Назарянин, намерен остановить историю во зле?

— Историю? Ее никто не остановит, а я хочу искоренить зло в деяниях и умах людей — вот о чем моя печаль.

— Тогда не будет и истории.

— Какой истории? Той, о которой ты печешься, наместник римский? Ту историю, к сожалению, не вычеркнешь из памяти, но если бы ее не было, мы оказались бы гораздо ближе к Богу. Я тебя понимаю, наместник. Но подлинная история, история расцвета человечности, еще не начиналась на земле.

— Постой, Иисус Назарянин, оставим меня пока в стороне. Но как же ты, Иисус, намерен привести к такой цели людей и народы?

— Провозглашением Царства справедливости без власти кесарей, вот как!

— И этого достаточно?

— Да, если бы этого захотели все…

— Занятно. Ну что ж, я выслушал тебя внимательно, Иисус Назарянин. Ты прозреваешь далеко, но не слишком ли ты самонадеян, не слишком ли ты уповаешь на людскую веру, забы-

вая о низменной природе площадей? Ты в этом очень скоро убедишься за городской стеной, однако истории тебе не повернуть никак, эту реку никому не повернуть. Меня же одно удивляет: к чему ты зажигаешь пожар, в котором прежде всех сгоришь сам? Без кесарей не может жить мир, не может существовать могущество одних и покорство других, и напрасно ты тщишься навязать иной, придуманный тобой порядок как новую историю. У кесарей есть свои боги — они чтут не твоего отвлеченного Бога-Завтра, что в бесконечности всех «завтра» лишен определенных границ и принадлежит всем на равных основаниях, как воздух, ибо все, что можно равно дать, то ничто, то малоценно, то пустое, оттого-то кесарям и дано владычествовать именем своим над каждым и над всеми. А среди всех кесарей, правящих в мире, достославного Тиверия отличили боги — его держава, Римская империя, простерлась на полмира. И потому под эгидой Тиверия я властвую над Иудеей и в этом вижу смысл жизни своей, и совесть моя спокойна. Нет выше чести, чем служить непобедимому Риму!

— Ты не исключение, наместник римский, чуть не каждый жаждет властвовать хотя бы над одним себе подобным. В том-то и беда. Ты

скажешь, так устроен мир. Порок всегда легко оправдать. Но мало кто задумывается над тем, что это есть проклятье рода людского, что зло властолюбия, которым заражены все — от старшины базарных подметальщиков до грозных императоров, — злейшее из всех зол, и за него однажды род человеческий поплатится сполна. Погибнут народы в борьбе за владычество, за земли, до основания, до самого корня друг друга изничтожат.

Понтий Пилат нетерпеливо вскинул руку, прервав речь собеседника:

— Остановись, я не ученик твой, чтобы благоговейно внимать тебе! Остановись! На словах сокрушить можно все что угодно. Но что бы ты ни предрекал, Иисус Назарянин, напрасны усилия твои. Мир, управляемый властями, не может быть иным. Как он на том стоял, так на том и будет стоять: кто сильнее — у того я власть, и впредь миром будут править сильные. И порядок этот неизменен, как звезды на небе. Их никому не передвинуть. Напрасно ты болеешь за род людской, напрасно готов спасти его ценою жизни своей. Людей не научат ничему ни проповеди в храмах, ни голоса с неба! Они всегда будут следовать за кесарями, как стада за пастухами, и, преклоняясь

перед силой и благами, почитать будут того, кто окажется беспощадней всех и могущественней всех, и славить будут полководцев и их битвы, где кровь хлынет потоками во имя владычества одних и покорения и унижения других. В том и будет доблесть духа, воспетая, передаваемая из поколения в поколение, в честь того будут возноситься знамена и звучать трубы, кровь будет вскипать в жилах, будет приноситься клятва — ни вершка чужим не отдавать; и от имени народа будут возводиться в необходимость военные действия, воспитываться ненависть к врагам отечества: пусть собственный царь процветает, а другого задавить, поставить на колени, поработить вместе с народом его, а землю отнять, — да в этом же вся сладость жизни, весь смысл бытия с незапамятных времен, а ты, Назарянин, хочешь все это осудить, проклясть, ты славишь убогих и бессильных, ты благости повсюду хочешь, забывая при этом, что человек — зверь, что он не может без войн, как плоть наша не может без соли. Подумай, в чем твои ошибки и заблуждения, хотя бы в этот час, перед тем как тебе идти с конвоем на Лысую гору. А на прощание я скажу тебе: ты видишь корень зла во властолюбии великом людей, в покорении земель и народов силой, но

этим ты только усугубляешь свою вину, ибо кто против силы, тот против сильных. Не иначе как намекаешь ты на нашу Римскую империю своим провозглашением Царства справедливости, хочешь воспрепятствовать растущему могуществу Рима, всемирному его владычеству над миром! Да только за одно такое намерение ты трижды заслуживаешь казни!

— Зачем так щедро, правитель добрый, вполне достаточно, я думаю, и одной казни. Но все-таки продолжим наш разговор, хоть я и понимаю, как сейчас маются под знойным солнцем палачи, ожидая меня на Лысой горе, так вот, продолжим наш разговор, но теперь уже по моему последнему, предсмертному желанию. Итак, наместник римский, ты уверен, что то и есть сила, что ты почитаешь силой. Но есть сила иного рода — сила добра, и постичь ее, пожалуй, труднее и сложнее, и для добродетели не меньше мужества требуется, чем для войн. Послушай же меня, наместник, так получилось, что ты последний человек, с кем у меня разговор перед Лысой горой. И я имею желание открыться тебе, но ты не думай, я тебя не о помиловании буду просить…

— Это было бы просто смешно.

— Потому и объявляю заранее, чтобы ты, на-

местник римский, спокоен был на этот счет. Теперь уже лишь ты один об этом будешь знать. Терзался дух мой прошлой ночью, как думалось мне поначалу, беспричинно. Нет, не душно было в Гефсимании — на загородных всхолмлениях ветерок гулял. А только места я себе не находил, томление, страх и тоска обуревали меня, и звуки тягостные вроде бы из сердца моего в небо уходили. Мои приверженцы, ученики мои, пытались бодрствовать со мной, однако облегчение не приходило. И знал я, что час предназначенный наступает, что смерть грядет неотвратимая. И ужас обуял меня… Ведь смерть каждого человека — это конец света для него.

— Отчего же так? — не без злорадства глянул Понтий Пилат на подсудимого. — А как же быть, Назарянин, с идеей загробной жизни? Ведь ты же утверждал, что жизнь со смертью не кончается.

— Опять же судишь по молве, правитель! В загробном мире беззвучно дух витает, как тень в воде, — то отраженье неуловимой мысли скользит в пространстве запредельном, но плоти туда дороги нет. Ведь то совсем иная сфера, иного, не подлежащего познанию бытия. И времени течение там иное, не подлежащее земному измерению. А речь идет о жизни измеримой, жизни

на земле. Меня томило странное предощущение полной покинутости в мире, и я бродил той ночью по Гефсимании, как привидение, не находя себе покоя, как будто я один-единственный из мыслящих существ остался во всей вселенной, как будто я летал над землей и не увидел ни днем, ни ночью ни одного живого человека, — все было мертво, все было сплошь покрыто черным пеплом отбушевавших пожаров, земля лежала сплошь в руинах — ни лесов, ни пашен, ни кораблей в морях, и только странный, бесконечный звон чуть слышно доносился издали, как стон печальный на ветру, как плач железа из глубин земли, как погребальный колокол, а я летал как одинокая пушинка в поднебесье, томимый страхом и предчувствием дурным, и думал — вот конец света, и невыносимая тоска томила душу мою: куда же подевались люди, где же мне теперь приклонить голову? И возроптал я в душе своей: вот, Господи, тот роковой исход, которого все поколения ждали, вот Апокалипсис, вот завершение истории разумных существ — так отчего же случилось такое, как можно было так погибнуть, исчезнуть на корню, потомство в себе истребив, и ужаснулся я в догадке страшной: вот расплата за то, что ты любил людей и в жертву им себя принес. Неужто

свирепый мир людской себя убил в свирепости своей, как скорпион себя же умерщвляет своим же ядом? Неужто к этому дикому концу привела несовместимость людей с людьми, несовместимость границ имперских, несовместимость идей, несовместимость гордынь и властолюбий, несовместимость пресыщенных безраздельным господством великих кесарей и следовавших за ними в слепом повиновении и лицемерном славословии народов, вооружившихся с ног до головы, кичащихся победами в неисчислимых междоусобных битвах? Так вот чем кончилось пребывание на земле людей, унесших с собой в небытие божественный дар сознания! О Господи, возроптал я, зачем же наделил ты умом и речью, свободными для созидания руками тех, кто себя в себе убили и землю превратили в могильник общего позора! Так плакал я и стенал один в безмолвном мире и проклинал удел свой и Богу говорил: то, на что Твоя рука не поднялась бы, сам человек преступно совершил… Так знай же, правитель римский, конец света не от меня, не от стихийных бедствий, а от вражды людей грядет. От той вражды и тех побед, которые ты так славишь в упоении державном…

Иисус перевел дыхание и продолжил:

— Такое вот видение было мне прошлой ночью, и долго думал я над ним, не спал, все бодрствовал в молитвах и, укрепившись духом, намерен был поведать ученикам моим об этом ниспосланном мне Отцом видении, но тут толпа большая явилась в Гефсиманию, и среди них Иуда. Иуда быстро обнял меня, поцеловал холодными устами. «Радуйся, Равви», — сказал он мне, а пришедшим до того сказал: «Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его». И они меня схватили. И теперь, как видишь, я стою перед тобой, наместник римский. Я знаю, мне сейчас на Лысую гору. Однако ты был милостив ко мне, правитель, и тем доволен я, что перед смертью удалось мне поведать о том, что пережил я вчера в Гефсимании.

— А ты уверен, что я, внимая тебе, всему поверил?

— Это дело твое, наместник, верить или не верить. Скорее всего ты мне не веришь, ведь мы с тобой — как две разные стихии. Но при этом ты выслушал меня. Ведь не можешь же ты сказать себе, что ты ничего не слышал, и не можешь запретить себе об этом думать. А я могу сказать себе, что не унес с собой в могилу то, что открылось мне в Гефсимании. Совесть моя теперь спокойна.

— Скажи, Назарянин, а ты, случайно, не пред-

сказывал ли на базарах?

— Нет, правитель, почему ты так спросил?

— Не пойму, то ли ты играешь, то ли ты в самом деле лишен страха и не боишься мучительнейшей казни. Неужто, когда тебя не станет, тебе так важно, что ты успел сказать, а что не успел, кто тебя выслушал, а кто нет? Кому это все нужно? Не суета ли это, все та же суета сует?

— Не скажи, правитель, не суета это! Ведь мысли перед смертью возносятся прямо к Богу, для Бога важно, что думает человек перед смертью, и по ним Бог судит о людях, некогда созданных им как наивысшее творение среди всего живого, ибо последние из наипоследних мыслей всегда чисты и предельно искренни, и в них одна правда и нет хитрости. Нет, правитель, извини, но напрасно ты думаешь, что я играю. В младенчестве я играл в игрушки, больше никогда. А что до того, боюсь ли я мучений, скрывать тут нечего, я тебе о том уже говорил. Боюсь, очень боюсь! И Господа моего, Отца Всеблагого, молю, чтобы силы дал достойно перенести уготованную мне участь, не низвел бы меня до скотских воплей и не срамил иным путем… Так я готов, наместник римский, не задерживай меня больше, не стоит. Мне пора…

— Да, ты сейчас отправишься на Лысую гору.

Так сколько же тебе лет, Иисус Назарянин?

— Тридцать три, правитель.

— Как ты молод! На двадцать лет меня моложе, — с жалостью заметил Понтий Пилат, покачивая головой, и, призадумавшись, сказал: — Насколько мне известно, ты не женат, стало быть, детей у тебя нет, сирот после себя не оставишь, так и запишем. — И умолк, собрался было что-то еще сказать, но, передумав, промолчал. И хорошо, что промолчал. Чуть было конфузу не наделал. А женщину ты познал? — об этом намеревался спросить. И сам смутился: что за бабье любопытство, как можно, чтобы почтенный муж спрашивал о таких делах.

Глянув в этот момент на Иисуса Назарянина, уловил по его глазам, что тот догадался, о чем хотел спросить прокуратор, и наверняка не стал бы отвечать на такой вопрос. Прозрачно-синие глаза Иисуса потемнели, и он замкнулся в себе. «С виду такой кроткий, а какая в нем сила!» — подивился Понтий Пилат, нащупывая ногой соскользнувшую с ноги сандалию.

— Ну хорошо, — повернул он вопрос в другую сторону, как бы компенсируя несостоявшийся разговор по поводу женщины. — А вот сказывали, что ты вроде подкидыш, так ли это?

Иисус улыбнулся открыто и добродушно, обнажая белые ровные зубы.

— Возможно, что и так в некотором роде.

— А точнее, так или не так?

— Точно, точно, правитель добрый, — подтвердил Иисус, чувствуя, что Понтий Пилат начинает раздражаться, ибо и этот вопрос был не очень к лицу прокуратору. — Я был «подкинут» моим Отцом Небесным через Духа святого.

— Хорошо, что больше ты никому не будешь морочить голову, — устало процедил сквозь зубы прокуратор. — А все же кто мать, тебя родившая?

— Она в Галилее, Марией зовут ее. Чувствую, что она сегодня подоспеет. Всю ночь была в дороге. Это я знаю.

— Не думаю, что ее обрадует конец ее сына, — мрачно изрек Понтий Пилат, собираясь наконец завершить затянувшийся разговор с этим юродивым из Назарета.

И прокуратор выпрямился под сводами Арочной террасы во весь рост, величественный, большеголовый, с крупным лицом и с твердым взглядом, в снежно-белой тоге.

— Стало быть, уточним для порядка, — постановил он и принялся перечислять. — Отец — как бишь его? — Иосиф, мать Мария. Сам родом из

Назарета. Тридцати трех лет от роду. Не женат. Детей не оставил. Подстрекал народ к мятежам. Грозился разрушить великий храм Иерусалимский и за три дня воздвигнуть новый. Выдавал себя за пророка, за царя Иудейского. Вот вкратце и вся история твоя.

— Не будем говорить о моей истории, а вот тебе скажу: ты останешься в истории, Понтий Пилат, — негромко изрек Иисус Назарянин, взглянув прямо и серьезно в лицо прокуратора. — Навсегда останешься,

— Еще что! — небрежно отмахнулся Понтий Пилат. Ему все-таки польстило это высказывание; но вдруг, переменив тон, торжественно изрек: — В истории останется славный император Тиверий. Да будет славно его имя. А мы лишь его верные сподвижники, не более того.

— И все-таки в истории останешься ты, Понтий Пилат, — упрямо повторил тот, кто отправлялся на Лысую гору, за стены Иерусалима…

А та птица, то ли коршун, то ли орел, что кружила с утра над Иродовым дворцом, точно поджидаючи кого-то, наконец покинула свое место и медленно полетела в сторону, куда повели окруженного многочисленным конным конвоем, связанного, как опасного преступника, того, с кем

так долго беседовал сам прокуратор всей Иудеи Понтий Пилат.

Прокуратор же все стоял на Арочной террасе, с удивлением и ужасом следя за странной птицей, летевшей вслед за тем, кого вели на Лысую гору…

— Что бы это значило? — прошептал прокуратор в недоумении и тревоге…

III

Тот летний дождь в степи, что так долго собирался, еще с вечера темнея и вызревая на горизонте в безмолвных всполохах молний и передвижении туч, начался лишь глубокой ночью. Его тяжелые капли, с силой барабанившие по сухой земле, хлынувшие затем потоками, ощутил на своем лице Авдий Калдистратов, приходя в сознание, — они были первым даром жизни.

Авдий лежал там же, в кювете подле железной дороги, куда скатился с откоса, когда его сбросили с поезда. Первое, что он подумал: «Где я? Кажется, дождь». Он застонал, хотел передвинуться и от дикой боли в боку и свинцовой тяжести в голове снова впал в беспамятство, но через некоторое время все-таки пришел в себя. Спасительный дождь возродил его к жизни. Дождь лил щедро и могуче, и вода, стекая с откоса, скапливалась в кювете, где лежал Авдий. Пробираясь к человеку, она вспучивалась пузырями, поднималась все выше к горлу, и это заставило Авдия превозмочь себя, попытаться действовать, чтобы выползти из этого опасного места. В первые минуты, пока тело преодолевало себя, привыкая к движению,

это было особенно мучительно. Авдию с трудом верилось, что он остался жив. Ведь как жестоко его избивали в вагоне, на какой страшной скорости спихнули с поезда, но какая все это ерунда по сравнению с тем, что он жив, жив вопреки всему! Жив и может передвигаться, пусть ползком, слышит, и видит, и радуется этому спасительному дождю, что хлещет как из ведра, омывая его разбитое тело, остужая руки, ноги и гудящую горячую голову, и будет ползти, пока хватит сил, — ведь скоро рассветет, и настанет утро, и снова начнется жизнь… И тогда он придумает, что ему делать, надо лишь как-то встать на ноги…

Тем временем, прорезая дождь и тьму, один за другим с грохотом пронеслись несколько ночных поездов… И им он тоже был рад, все, что говорило о жизни, радовало его как никогда…

Авдий не хотел прятаться от дождя, даже если бы и мог, он понимал, что этот живительный дождь ему необходим. Только бы руки-ноги были целы, а уж ссадины, ушибы и даже жгучую боль в правом боку он готов был перенести безропотно… Ему все-таки удалось выползти, выкарабкаться на безопасное место, на небольшой пригорочек, и теперь он лежал под дождем, собираясь с духом,

чтобы жить дальше…

Так возник он вновь из небытия и, возникнув, восстанавливал все то, что составляло суть его жизни, и дивился тому, какой удивительной ясности и объемности мысли осеняют его…

И он сказал Тому, которого уводили от Понтия Пилата на Лысую гору: «Учитель, я здесь! Что мне делать, чтобы вызволить Тебя, что мне делать, Господи? Как мне спасти Тебя? О как мне страшно за Тебя теперь, когда я вновь ожил!»

Исторический синхронизм — когда человек способен жить мысленно разом в нескольких временных воплощениях, разделенных порой столетиями и тысячелетиями, — присущ в той или иной мере каждому человеку, не лишенному воображения. Но тот, для кого события минувшего так же близки, как сиюминутная действительность, тот, кто переживает былое как свое кровное, как свою судьбу, тот мученик, тот трагическая личность, ибо, зная наперед, чем кончилась та или иная история, что повлекла она за собой, все предвидя, он лишь страдает, не в силах повлиять на ход событий, и приносит себя в жертву торжеству справедливости, которому никогда не состояться. И эта жажда утвердить правду минувшего — свята. Именно так рожда-

ются идеи, так происходит духовное сращение новых поколений с предыдущими и предпредыдущими, и на том свет стоит, и жизненный опыт его постоянно увеличивается, приращивается — добро и зло передаются из поколения в поколение в нескончаемости памяти, в нескончаемости времени и пространства человеческого мира…

И потому было сказано: вчерашние не могут знать, что происходит сегодня, но сегодняшние знают, что происходило вчера, а завтра сегодняшние станут вчерашними…

И еще было сказано: сегодняшние живут во вчерашнем, но если завтрашние забудут о сегодняшнем, это беда для всех…

Авдий очень волновался, отчаивался, когда наступил тот день накануне первого дня пасхи, и душным предпраздничным вечером пытался разыскать в нижнем городе дом, где совершалась накануне тайная вечеря с учениками, где преломил Он хлеб, сказав, что это тело Его, и разлил вино, сказав, что это кровь Его, ведь уже тогда можно было предупредить о грозящей опасности, о предательстве Иуды Искариота, о необходимости срочно, безотлагательно покинуть этот страшный город, поспешить как можно скорее в путь. В поисках этого дома он метался

в уходящих сумерках по кривым и запутанным улочкам, зачем-то вглядываясь в лица прохожих и проезжих, точно бы у него могли быть здесь знакомые, но ни среди поспешавших в тот час к семейным трапезам горожан, ни среди тех, кто еще заглядывал в лавки перед их закрытием, он не обнаружил никого, кому бы мог довериться. А многие прохожие так и вовсе не знали, кто это такой — Иисус Христос. Мало ли в городе было бродяг. Какой-то сердобольный горожанин стал его звать к себе на пасху. Но Авдий, поблагодарив, отказался. Он надеялся предупредить Учителя. От волнения, от света в окнах, от сильных запахов в воздухе, разносившихся от очагов с едой, от парной духоты, исходившей от обильно политых для прохлады дорог и дворов, у него разболелась голова. Его стало мутить. И тогда он кинулся за город, в Гефсиманию, надеясь застать Учителя с учениками еще там, в саду, в молитве и беседе. Но напрасно! И здесь в тот поздний час он никого не обнаружил. В саду было безлюдно, и под тем большим фикусовым деревом, где схватила Учителя вооруженная толпа, тоже никого уже не было. Ученики отсюда разбежались, как и предсказывал сам Учитель…

Луна плыла над дальним морем и над сушей,

уже перевалило за полночь — близился роковой день, последствия которого не избудутся веками и долго еще и разно будут сказываться на истории человечества. Но в Гефсимании и прилегающих к ней всхолмлениях, поросших садами и виноградниками, в тот час было тихо, лишь птицы ночные пели по кустам, лягушки перекликались, и журчал, катился, переливаясь при луне, по каменистым древним стокам неспящий Кедрон с кедровых гор, делясь на ручьи и вновь собираясь в единый поток. Все пребывало на своих местах и существовало, как испокон века, — тихо и благостно было на земле в ту ночь, и только он, Авдий, не находил себе покоя оттого, что все свершалось, как должно было свершиться, и он не мог ничего ни остановить, ни предотвратить, хотя знал наперед, чем все кончится. Напрасно плакал он и взывал в отчаянии к Богу-Завтра. И примириться не мог со свершившимся спустя одна тысяча девятьсот пятьдесят лет от того, когда это произошло, и в поисках себя, перенесясь в минувшее бытие, мысленно вернулся в то начало, от которого через все круговращения времени протянулась нить и к его судьбе. Искал ответа, то устремляясь вспять на тысячелетия, то вновь возвращаясь в сегодняшнюю реальность

под степной дождь, что лил на голову и плечи, то отрешаясь, то трезво взвешивая факты.

И позволял себе в благих порывах волюнтаризм по отношению к истории — концепцию Страшного суда над миром, сложившуюся гораздо позже, вкладывал в уста людей, живших задолго перед этим, — уж очень не терпелось Авдию, чтобы об этом сказано было самому Понтию Пилату, поскольку не исчезла тень Пилата, всесильного наместника империи, и по сей день. (Ведь есть же потенциальные пилаты и теперь!) И в таком опережении событий Авдий Каллистратов исходил из того, что изначальные законы мира действуют всегда, хоть и обнаруживают себя гораздо позже. Так и с идеей Страшного суда — давно уже ум человеческий терзала идея грядущего возмездия за все несправедливости, что творились на земле.

Но кто же такой был Иисус, от которого идет отсчет, как от нуля, в трагическом самосознании духа? И зачем все это надо было? Неужто лишь для того, чтобы у нас была причина для вечного покаяния? И почему с тех пор, как он взошел на крест, так долго не успокоятся умы? Ведь с тех дней многое, что претендовало на бессмертие, забылось и обратилось в прах. Всегда ли помнилось при этом, что жизнь людей вседневно совершен-

ствуется: что было сегодня ново, то наутро старо, что было лучше, завтра меркнет перед еще более прекрасным, так почему же сказанное Иисусом не устаревает и не теряет свою силу? А все, что произошло от его рождения до казни на столбе, и более того — что пошло от него затем во времена и поколения, неужто так необходимо и неизбежно было для человечества? И в чем наконец заключался смысл этого пути в истории людей? Что постигли они? К чему пришли? И если сокровенной целью была идея человеколюбия — идея гуманизма, как утверждают ученые умы, то есть путь человека к самому себе, к бесконечному совершенству духа в самом себе как наделенном разумом существе, то как же изначально сложно, тяжко и жестоко задуман был тот путь — кем и зачем? Могли ли люди просуществовать без этого каждым по-своему толкуемого гуманизма — от христианского до вселенского, от социально-эгоистического, классового, до принципиально абстрактного? И к чему в наш век давно обветшавшая на том пути религия?

Действительно, к чему? Ведь всем уже давно все ясно, даже детям. Разве материалистическая наука не вбила осиновый кол в могилу христианского вероучения, и не только его одного, не

смела их решительно и властно с пути прогресса и культуры — единственного верного пути? Теперешнему человеку, казалось бы, нет нужды исповедовать веру, ему будет вполне достаточно знать об этих умерших учениях в порядке общей исторической осведомленности, не более. Ведь все это изжило себя, все изведано и пройдено. Но к чему мы пришли, что у нас есть взамен той милосердной, жертвенной, давно отброшенной на обочину, злорадно высмеянной реалистическими мировоззрениями идеи? Что у нас есть подобное, вернее, превосходящее? Ведь новое несомненно должно быть лучше старого. И оно есть, это новое! Есть! На подходе новая могучая религия — религия превосходящей военной силы. В какие еще эпохи человеку доводилось изо дня в день, всю жизнь от рождения и до смерти существовать всецело в зависимости от того, развяжут войну эти силы или воздержатся? Кто же теперь боги, как не они, владельцы этого оружия? Вот разве что пока еще нет церквей, где молились бы на макеты ядерных снарядов на алтаре да били поклоны генералам… Чем не религия?

Таким раздумьям о житье-бытье предавался порой Авдий Каллистратов, и в этот раз, когда в неизмеримой протяженности мышления ему

дано было проникнуть в минувшее как в данность, в суть тех событий, что были до него, — так новая вода протекает мимо старых берегов, — он вернулся к истоку тех дней, к той предпасхальной ночи в пятницу, чтобы разыскать Учителя, успеть сказать ему о своей тревоге, сообщить ему о тревоге наступающих через столетия времен, сообщить, что появился на исторической арене новый Бог — Бог Голиаф, подобно чуме поразивший сознание всех до одного жителей планеты своей религией, развратной и универсальной, религией превосходящей военной силы. Как отозвался бы Учитель, как ужаснулся бы: куда грядет в этом бешеном состязании за военное превосходство род людской? И если бы Он вторично решил взвалить на себя ношу грехов наших и взошел бы на крест, то и тогда навряд ли тронул бы души людей, порабощенные агрессивной религией превосходящей военной силы…

Но, к огорчению своему, Учителя он не застал. Иуда уже выдал Его, и Его схватили и увели, и плакал Авдий в опустевшей Гефсимании обо всем, что было, и обо всем, что будет, один во всем саду и во всем мире. Так, спеша вспять, он объявился в Гефсимании, перешагивая через пращуров своих, в ту пору еще обитавших в се-

верных чащобных лесах и поклонявшихся еще рубленным из бревен идолам, которым даже имя его — Авдий — еще не было известно. Оно только еще со временем будет заимствовано, а ему самому предстоит еще родиться в далеком двадцатом веке…

И долго сидел Авдий, рыдая, под тем фикусовым деревом, где был опознан, схвачен и уведен Учитель, и сокрушался Авдий так, как будто что-то могло от этого измениться в судьбах мира…

Потом он встал и, опечаленный, пошел в город. Там, за стенами ночного Иерусалима, жители спокойно спали спокойным сном в ту предпасхальную ночь, еще ни о чем не подозревая, и только он один в тревоге и смятении бродил по городу и думал: где Учитель, что с ним теперь? А потом его осенило, что еще не поздно спасти Учителя, и он стал стучаться в окна, во все окна, что попадались по пути: «Вставайте, люди, беда грядет! Пока еще есть время, спасем Учителя! Я уведу его в Россию, есть островок заветный на реке нашей, на Оке…»

По разумению Авдия, на том заветном островке посреди реки Учитель мог бы находиться в полной безопасности — там бы Он предавался размышлениям над превратностями мира, и,

быть может, там родилось бы новое озарение, и Он прозрел бы новый путь человечеству в даль времен и даровал бы людям божественное совершенство, дабы путь к мессианской цели, возложенной Им на себя как непреложный долг, лежал бы не через кровь, и не пришлось бы расплачиваться за него мучениями и унижениями, которые Он, безумный, готов принять ради людей, за правду, опасную гонителям и потому искореняемую столь беспощадно: ведь ради счастья будущих поколений наложил Он на себя тот гибельный долг, неизбежный на избранном им пути освобождения человека от гнета собственной причастности к извечным несправедливостям, ибо в естественных вещах несправедливости не существует, она бытует лишь меж людьми и идет от людей. Однако можно ли достичь цели таким антиисторичным способом и есть ли какая-либо уверенность в том, что этот урок Учителя не будет забыт всякий раз, когда, преследуя свою корысть, человек захочет забыть Учителя, заглушить и задавить свою совесть и найдет себе множество оправданий: мол, он-де вынужден был якобы злом отвечать на зло; как отвратить венец творенья — человека от пагубных страстей, вседневно сопутствующих ему

и в благоденствии, и в невзгодах, и в бедности, и в пресыщении богатством, и когда он имеет власть, и когда он никакой власти не имеет; как отвратить венец творенья — человека от неуемной жажды господства над другими, как отвратить от постоянных сползаний к вседозволенности: ведь самодовольство и надменность влекут человека повелевать и принуждать, когда он в силе, а когда не в силе, угодливостью, лицемерием и коварством стремиться к той же цели, и в чем же тогда подлинная цель жизни, в чем ее смысл, и кто, наконец, в состоянии ответить на этот вопрос так, чтобы ни одна душа не усомнилась в истинности и чистоте его ответа.

И ты, Учитель, идешь на лютейшую казнь, дабы человек внял добру и состраданию — тому, что в первооснове отличает разумного от неразумного, ибо тяжко пребывание человека на земле, глубоко затаились в нем истоки зла. И разве достижим таким путем абсолютный идеал — ум, окрыленный свободой мышления, возвышенная личность, изжившая в себе анахронизм зла отныне и во веки веков, как изживают заразную болезнь? О, если бы это было достижимо! Боже, зачем же Ты взвалил на себя такое бремя, чтобы исправить неисправимый мир? Спаситель, оста-

нови́сь, ведь те, ради которых Ты пойдешь на крест, на мученическую смерть, они же потом над Тобой надсмеются. Да, да, иные будут просто хохотать, иные будут издеваться над тщетою Твоей спустя тысячелетия, когда материалистическая наука, не оставив от веры в Бога камня на камне, объявит небылицей все, что с Тобой было: «Чудак! Глупец! Кто его просил? Зачем, к чему было устраивать тот спектакль с распятием? Кого этим удивишь? Что это дало, что это изменило в человеке хотя бы на волосок, хотя бы на йоту?» Так будут думать те поколения, которым Твой подвиг будет казаться чуть ли не нелепым, которые к тому времени постигнут устроение материи до ее изначальной сущности и, преодолев земное тяготение, вступив в космические сферы, оспаривать будут вселенную друг у друга в алчбе кошмарной, стремясь к галактическому господству, и хоть и бесконечно пространство, но им и вселенной будет мало, ибо в отместку за неудачу на земле они готовы будут в угоду своим амбициям саму планету развеять в прах, планету, на которой Ты пытался возвестить культ милосердия. Так Ты подумай, что для них Бог, когда они себя выше Бога считают, что им чудак, повисший на кресте, когда, уничтожив всех разом, они самую память

Твою сотрут с лица земли. О бедный, о наивный мой Учитель, бежим со мной на Волгу, на Оку, на тот уединенный островок посреди реки, и там ты будешь пребывать как на звезде небесной, всем отовсюду видной, но никому не доступной. Подумай, еще не поздно, у нас есть еще ночь и утро, быть может, Ты сумеешь еще избежать жестокой участи? Опомнись, неужто путь, Тобою избранный, единственно возможный путь?

Обуреваемый такими мыслями, Авдий с глубокой мукой во взоре бродил по улицам и площадям ночного жаркого Иерусалима, пытаясь вразумить Того, кто самим Господом послан был на землю для участи ужасной и трагической, как вечный пример и укор людям… Но таково свойство человека, что этого укора никто впрямую на свой счет принимать не будет и каждый отыщет себе оправдание: мол, он тут ни при чем, мол, без него вершатся судьбы мира и пусть себе вершатся… Сколько неизбывной иронии таилось в том замысле, страдающем недооценкой человеческой натуры…

Уже в который раз прохаживаясь у городских ворот, Авдий встретил бродячую собаку о трех лапах — четвертую, подбитую, она поджимала к животу. Умно и грустно посмотрела на него

собака.

— Ну что, хромец, — сказал он псу, оглядывая его. — Ты такой же бездомный, как и я. Пошли со мной.

И до самого рассвета пес бродил вместе с Авдием. Все как есть понимал тот пес. А утром вновь в заботах и хлопотах проснулся город, с утра базары и рынки наполнили груженные вьюками верблюды, пригнанные из песков бедуинами, ослы и мулы, перевозившие грузы помельче, конные повозки с поклажей, носильщики с тюками на плечах — все пришло в действие, все — страсти, товары, галдеж — завертелось в общем колесе купли-продажи… Однако многие иерусалимцы стеклись к белостенному городскому храму и оттуда взбудораженной толпой двинулись к римскому прокуратору Понтию Пилату. Примкнул к ним и Авдий Каллистратов: он понял, что речь идет о судьбе Учителя. И он пошел с ними к Иродову дворцу, но вооруженная стража не пропустила их к наместнику. И они остановились у дворца в ожидании. Народу все прибывало, хотя жара стояла с самого утра. Разные страсти влекли сюда разных людей. Какие только разговоры не ходили в той неспокойной толпе: одни говорили, что пророка Иисуса Назорея прокуратор

помилует властью, данной ему Римом, отпустит, чтобы он убрался из Иерусалима куда подальше и никогда больше сюда не возвращался, другие говорили, что одному из приговоренных в честь пасхи дарют жизнь и что помилованным этим будет Иисус, третьи попросту верили, что его спасет сам Яхве на глазах у всех, но все — и те, и другие, и третьи — ждали, ждали, не ведая, что происходило там, за оградами и стенами дворца. И много было таких в толпе, кто посмеивался над беднягой, расплачивающимся головой за потешный свой трон, глумились над обреченным чудаком и сетовали: что, мол, прокуратор тянет, рубить так рубить сплеча, чего еще нянчиться, солнце вон как припекает, и до полудня все изжарятся на Лысой горе. Этот Иисус Назорей, он-де кого хочешь заговорит, кому угодно голову задурит. Ясное дело — треплет там языком и смущает прокуратора, чего доброго, наместник римский еще возьмет да отпустит его, а тогда зачем же мы здесь стоим… И Иисус Назарянин хорош — наобещал с три короба, только где оно, его Царство Новое, а теперь его самого вздернут, как собаку… Так-то оно бывает…

Слушая их речи, Авдий возмущался. «Не смейте так говорить! Неблагодарные, низменные ду-

шонки! Как можно так осквернять и опошлять великую борьбу человеческого духа с самим собой. Вам гордиться надо им, люди, его мерой мерить себя!» — в отчаянии кричал Авдий Каллистратов, обливаясь слезами в толпе иерусалимской. Но никто его не слышал, никто не замечал его присутствия. Ведь ему еще предстояло родиться в далеком двадцатом веке…

* * *

Дождь, что хлынул среди ночи, постепенно пошел на убыль. Ушел, как пришел, еще куда-то пролиться ливнем. И наконец и вовсе стих, лишь изредка срываясь сверху запоздавшими каплями. А время близилось к рассвету, омытому и усыпанному звездами рассвету, — небо, еще темно-агатовое в глубине, после дождя все больше светлело по краям. Прохладой веяло от влажной почвы, от вытянувшихся за ночь трав.

Но, пожалуй, никто из обитавших в степи живых существ не ощутил в тот час радости бытия столь остро и благодарно, как Авдий Каллистратов, хотя самочувствие его и оставляло желать лучшего.

Но при этом Авдию повезло: раскаленный накануне воздух не успел охладиться за ночь, и

он не замерз. И хотя он промок с головы до ног, и ушибы и травмы тоже давали знать, но он, презрев боль, сосредоточился и в ясновидении своем, дававшем ему возможность ощущать себя одновременно и в прошлом и в настоящем, воспринимал жизнь заново, открывал ее как дар судьбы и оттого еще больше ценил саму возможность жить и мыслить. В тот час, когда дождь кончился, Авдий сидел под железнодорожным мостом, куда с трудом, собрав последние силы, доковылял впотьмах…

Под этим мостом было относительно сухо, и он забрался сюда, как бродяга, и доволен был тем, что нашлось такое место, где он мог переждать дождь и предаться размышлениям. Под мостом было гулко и звонко, как под высокими сводами средневекового собора. Когда над головой проходили поезда, это походило на орудийный шквал, обрушивающийся издали и постепенно уходящий вдаль. Хорошо, просторно думалось в ту ночь Авдию, и мысль, родившись, развивалась уже сама по себе и беспредельно и беспрепятственно влекла за собой его дух. Авдий думал то о Христе и Понтии Пилате, мысленно переносился в те времена, и грохот проносящихся над ним поездов не мешал ему ощущать себя в древней

Иудее среди гомонящей толпы на Голгофе и как бы видеть своими глазами все, что там происходило, то припоминал Москву, свое недавнее пребывание там и посещение Пушкинского музея, где пела болгарская капелла, и вспоминал своего двойника, так поразительно похожего на него болгарского певца, и перед ним вставало его лицо с разверстым ртом. Какие возвышенные звуки исторгали голоса болгарских певцов, как возносили они его душу и мысль! Отец его, дьякон Каллистратов, очень любил церковное пение и, слушая его, плакал от умиления. Однажды кто-то передал отцу текст удивительной молитвы одной современной монахини. Молодая еще в те годы женщина, бывшая воспитанница, а затем и воспитательница детдома, приняла постриг в годы войны после того, как ее возлюбленный, с которым они прожили всего полтора месяца, погиб на военном корабле, потопленном германской подлодкой. Дьякон Каллистратов, читая тот «документ души», в котором соединялись и плач и молитва, всякий раз ронял слезу. Он очень любил, когда Авдий, тогда еще мальчишка, стоя в красном углу дома у старого пианино, читал ему вслух чистым отроческим голосом молитву о потопленном корабле. И Авдий заучил ее наизусть,

ту молитву монахини, бывшей детдомовки:

«Еще только светает в небе, и пока мир спит перед восходом солнца, обращаю к Тебе, Всевидящий и Всеблагий, свою насущную молитву. Прости, о Господи, что своеволие проявляю и прежде вспоминаю не о Тебе, а снова докучаю своим делом, но я живу ради того, чтобы молитву сию произносить, пока я есть на этом свете.

Ты, Сострадающий, Благословенный, Правый, прости меня, что досаждаю тебе обращениями неотступными. В мольбе моей своекорыстия нет — я не прошу и толики благ земных и не молю о продлении дней своих. Лишь о спасении душ людских взывать не перестану. Ты, Всепрощающий, не оставляй в неведении нас, не позволяй нам оправданий искать себе в сомкнутости добра и зла на свете. Прозрение ниспошли людскому роду. А о себе не смею уст разомкнуть. Я не страшусь как должное принять любой исход — гореть ли мне в геенне или вступить в царство, которому несть конца. Тот жребий наш Тебе определять, Творец Невидимый и Необъятный.

Прошу лишь об одном, нет выше просьбы у меня, рабы Твоей, инокини, повинующейся словам любви Твоим, отшельницы, в отчаянии своем презревшей земную юдоль, отвергнувшей

напрочь тщеславие и суету, чтобы в помыслах своих приблизиться к духу Твоему, Господи.

Прошу лишь об одном, яви такое чудо: пусть тот корабль плывет все тем же курсом прежним изо дня в день, из ночи в ночь, покуда день и ночь сменяются определенным Тобою чередом в космическом вращении Земли. Пусть он плывет, корабль тот, при вахте неизменной, при навсегда зачехленных стволах из океана в океан, и чтобы волны бились о корму и слышался бы несмолкаемый их мощный гул и грохот. Пусть брызги океана обдают его дождем свистящим, пусть дышит он той влагой горькой и летучей. Пусть слышит он гул машин и крики чаек, следующих за кораблем. И пусть корабль держит путь во светлый град на дальнем океанском береге, хотя пристать к нему во веки не дано…

Вот и все, более ничего не прошу в молитве своей ноче-дневной. И Ты прости, Всеблагий и Милосердный, что докучаю просьбой странной, молитвой о затонувшем корабле. Но Ты — твердыня всех надежд высоких, земных и неземных. Ты был и остаешься Вездесущим, Всемогущим и Сострадающим началом всех начал. И потому с мольбой к Тебе идем как в прошлом, так и ныне и в грядущих днях. И потому, когда меня не станет и

некому будет просить, пусть тот корабль плывет по океану и за пределом вечности. Аминь!»

Он и сам не понимал, почему ему опять припомнилась в ту ночь молитва монахини. И когда промелькнула еще мысль о том, что если бы встретилась ему та девушка, что приезжала в Учкудук на мотоцикле, он и ей бы прочел эту молитву, самому стало смешно. Поневоле рассмеялся Авдий, дураком непутевым себя обозвал и представил, как бы она поглядела на него, скорчившегося под мостом в самом плачевном виде, словно скиталец-вор или незадачливый разбойник. И что при этом она подумала бы о нем, а он, видишь ли, еще молитву о корабле хочет ей прочесть. Сумасшедшим посчитала бы его она и, конечно, была бы права. Но даже сейчас, рискуя унизить себя в ее глазах, он хотел бы увидеть ее…

И до самого рассвета Авдий сидел под мостом, а над его головой громыхали проносящиеся по степи поезда. Больше всего, однако, ему думалось о том, где теперь гонцы, бывшие попутчики его, что с ними. Наверно, пробились уже через Жалпак-Саз и покатили дальше. Где теперь Петруха, Ленька и другие? Где теперь неуловимый, как оборотень, Гришан? И сожалел Авдий, что

допустил промах, грубую ошибку, что Гришан восторжествовал, что победило его черное дело, что все так плохо кончилось. И все равно Авдий считал, что испытания, выпавшие на его долю в эти дни, были ему необходимы. Хоть ему и не удалось перевоспитать гонцов, но материал для выступления в газете он добыл интересный, и добыл собственным трудом.

Эти соображения несколько успокаивали Авдия, но душа его болела, и прежде всего за Леньку. Вот кого можно было бы вывести на путь истинный, но не удалось.

Припомнилось Авдию теперь все, что довелось ему узнать и увидеть в Примоюнкумских степях, — и та встреча его с волками, и то, как серая волчица перепрыгнула через его голову, вместо того, чтобы вонзить в него клыки. Странно было это, очень странно — и навсегда запомнил он лютый и мудрый взгляд ее синих глаз.

Но вот над железной дорогой снова взошло солнце, и жизнь пошла по новому кругу. Чудесно было в степи после ночного дождя. Еще не наступила жара, и все степные просторы, сколько было видно вокруг, дышали чистотой, и пели в небе жаворонки. Заливались, порхали степные птахи между небом и землей. А по степи, передвигаясь

от горизонта к горизонту, шли поезда, напоминая о жизни, бурлящей далеко отсюда.

Гармония и умиротворенность царили в то утро в степи, напитавшейся минувшей ночью благодатной влагой небес.

Как только пригрело солнце, Авдий решил просушить одежду, стал снимать ее и ужаснулся — одежда была до того изодрана, что в ней стыдно было появиться на людях. Тело же его все покрывали ссадины, кровоподтеки и огромные синяки. Хорошо, что у него не было при себе зеркала, — увидев себя в зеркале, он бы испугался страшного вида своего, но и без зеркала понимал, что с ним: к лицу невозможно было притронуться.

И все-таки у него достало мудрости внушить себе, что все могло обернуться гораздо хуже, что он остался жив, а уже одно это — великое счастье.

Когда он раздевался под мостом, обнаружилась еще одна неприятность — паспорт и те немногие деньги, что были у него в карманах, пришли в негодность. Паспорт, изодранный при падении и намокший под дождем, превратился в комок сырой бумаги. А из денег более или менее сохранились всего две ассигнации — двадцатипятирублевка и десятка. На эти деньги Авдию предстояло добраться до Москвы и далее до При-

окска.

Невеселые мысли одолели Авдия Каллистратова. После изгнания из семинарии Авдию выпало жить в довольно стесненных условиях. С согласия сестры Варвары пришлось продать старое пианино, на котором она в детстве училась играть. В комиссионном магазине дали за пианино полцены, объясняя это тем, что музыкальные инструменты ныне не дефицит, их навалом, даже старые магнитофоны и то девать некуда, а пианино и подавно. Пришлось согласиться и с такой ценой, поскольку другого выхода не было. И вот теперь остался совсем без ничего. Лучше не придумаешь!

Начался новый день, а значит, надо было жить, и снова материя бытия брала идеалиста Каллистратова за горло.

Всю ночь он провел под мостом в раздумьях, и теперь ему надо было решать, как выбраться отсюда, а кроме того, надо было подумать и о хлебе насущном.

И тут Авдию улыбнулось счастье. Когда рассвело, выяснилось, что под мостом, под которым он укрывался, проходила проселочная дорога. Правда, судя по всему, машины здесь ходили не часто. Неизвестно, сколько еще пришлось бы

ждать попутки, и Авдий решил своим ходом добираться до ближайшего разъезда, а там доехать как-то до Жалпак-Саза. Решив двинуться в путь, Авдий стал осматриваться вокруг: не найдется ли какой-либо палки, чтобы опираться на нее в пути. Правое распухшее колено, разбитое при падении с поезда, сильно болело. Оглядываясь вокруг, Авдий посмеялся: «А вдруг Гришан выкинул ту палку, которой Петруха меня добил? Теперь-то она ни к чему ему!» Палки, разумеется, он не нашел, зато заметил, что по степи в сторону моста катит какая-то машина.

Это был грузовик с самодельной фанерной будкой над кузовом. В кабине рядом с шофером сидела женщина с ребенком на руках. Машина сразу затормозила. Шофер, дюжий темнолицый казах, не без удивления разглядывал Авдия из приоткрытого окна кабины.

— Парень, тебя что, цыгане избили? — неизвестно почему спросил он.

— Нет, не цыгане. Сам выпал из поезда.

— Ты не пьяный?

— Я вообще не пью.

Шофер и женщина с ребенком сочувственно заохали, заговорили между собой по-казахски, в

их речи часто повторялось слово «бичара» [1].

— Давай, слушай, садись, мы в Жалпак-Саз едем. А иначе умрешь один в степи, бичара. Тут машины не часто ходят.

Едва сдерживая слезы, предательски подступившие к горлу, Авдий обрадовался, как мальчишка.

— Спасибо, брат, — сказал он прикладывая руку к груди. — Я как раз хотел попросить, чтобы вы меня захватили, если вам по пути. Трудно мне идти, с ногой плохо. Спасибо.

Шофер вышел, помог Авдию забраться в машину.

— Давай иди сюда. Я тебя приподниму, бичара. Да ты лезь, не бойся: там шерсть. Сдавать везу из совхоза. Как раз мягко будет тебе. Только смотри не кури.

— А я вообще некурящий. Не беспокойтесь, — заверил его Авдий самым серьезным образом. — Я всю ночь был под дождем, промок весь, а здесь согреюсь, отойду…

— Ладно, ладно! Я так просто сказал. Отдыхай, бичара.

Женщина выглянула из кабины, что-то сказала

---

[1] Примечания: 1

Бичара — несчастный, бедняга.

шоферу.

— Жена спрашивает, ты кушать хочешь? — пояснил шофер, улыбаясь.

— Очень хочу! — честно признался Авдий. — Спасибо. Если у вас есть что-нибудь, дайте, пожалуйста, я вам буду очень благодарен.

Авдию почудилось, что бутылка кислого овечьего молока и лепешка испеченного на очаге свежего хлеба, пахучего и белого, посланы ему свыше за муки той ночи.

Поев, Авдий крепко уснул на тюках с овечьей шерстью, от которых разило жиром и потом. А машина катила по степи, еще сохранившей свежесть после ночного ливня. И этот путь был Авдию на пользу — как выздоровление после болезни.

Проснулся он, когда машина остановилась.

— Приехали. Тебе куда надо? — выйдя из кабины, шофер стоял уже у заднего борта, заглядывая в кузов. — Парень! Ты жив?

— Жив, жив! Спасибо, — отозвался Авдий. — Мы уже и Жалпак-Сазе, выходит?

— Да, на станции. Нам сейчас на склад живсырья, а тебе куда?

— А мне на вокзал. Спасибо еще раз, что выручили. И жене вашей спасибо большое. Слов нет,

чтобы вас отблагодарить.

Слезая с кузова с помощью шофера, Авдий застонал от боли.

— Совсем плохо тебе, бичара. Ты пойди в больницу, — посоветовал Авдию шофер. — Надо палку тебе, тогда легче ходить будет.

До здания вокзала Авдий добирался целых полчаса. Хорошо еще по пути подобрал какой-то обломок доски, приспособил его как костыль под мышкой — так ему легче ковылять.

А над путями, над конструкциями эстакад, прожекторов и грузовых кранов, над проходящими и уходящими составами, над привокзальной площадью, вернее сказать, над всем пристанционным городком в степи гремели по селектору команды, разносились гудки локомотивов, то и дело радиослужба оповещала о прибытии и отбытии пассажирских поездов. После пребывания в глуши Авдий сразу почувствовал кипение жизни. Кругом сновали и спешили озабоченные люди — недаром Жалпак-Саз считался одной из самых крупных узловых станций Туркестана.

Теперь Авдию предстояло решать, как уехать, на каком поезде да и вообще как дальше быть, имея на все про все тридцать пять рублей. А билет в плацкартном вагоне только до Москвы — и то

если в кассе будут места — стоит тридцать рублей. А на что жить? Как быть с ногой, ушибами и ссадинами? Обратиться в местную больницу или поскорее уезжать отсюда? Углубившись в свои мысли, Авдий проковылял через станционные помещения, душные и людные. В изодранной одежде, в синяках да еще с этой нелепой доской-горбылем вместо костыля он невольно привлекал внимание — многие на него оглядывались. Уже выйдя на перрон к расписанию поездов, Авдий заметил, что за ним следит милиционер.

— А ну постой, парень! — остановил его милиционер, приближаясь. Раздраженный, строгий взгляд его не предвещал ничего хорошего. — Ты чего здесь делаешь? Кто ты такой?

— Я?

— Да, ты.

— Да вот хочу уехать. Расписание смотрю.

— А документы есть?

— Какие документы?

— Обыкновенные: паспорт, удостоверение личности, справка с места работы.

— Есть, только я, это самое…

— А ну предъяви.

Авдий замялся:

— Понимаете ли, я, это самое, товарищ, това-

рищ…

— Товарищ лейтенант, — подсказал раздражительный милиционер.

— Так вот, товарищ лейтенант, я должен вам сказать…

— Что ты должен сказать — это мы потом узнаем. Давай документы.

Авдий не сразу достал из кармана комок сырой бесформенной бумаги, что был некогда его паспортом.

— Вот, — протянул он милиционеру. — Это мой паспорт.

— Паспорт! — милиционер презрительно глянул на Авдия. — Ты чего мне голову дуришь? И это паспорт! Бери его назад и пошли проследуем в отделение участка. Там разберемся, кто ты такой.

— Да, я, товарищ лейтенант… — смущаясь своего вида, доски-костыля и быстро собирающихся вокруг случайных зевак, неуверенно заговорил Авдий, — я, понимаете ли, корреспондент газеты.

— Какой ты корреспондент! — возмутился милиционер: уж очень явно и нагло лгал задержанный. — А ну пошли, корреспондент!

Стоящие вокруг зеваки злорадно засмеялись.

— Ишь что придумал — корреспондент он!

— А может, еще министром иностранных дел назовешься?

Пришлось ковылять за раздражительным лейтенантом через зал ожидания. И теперь уже все, кто встречался на пути, оглядывались на Авдия, перешептывались и посмеивались. Когда они проходили мимо одного семейства, расположившегося с вещами на большой деревянной скамейке, до слуха Авдия донеслись обрывки фраз.

Маленькая девочка. Мама, мама, смотри, кто это?

Женщина. Ой, детонька, это бандит. Видишь, его поймал дядя милиционер.

Мужской голос. Да какой это бандит? Мелкий жулик, воришка, не больше.

Женский голос. Ой не скажи, Миша. Это он с виду такой жалкий. А попадись ему в темном переулке — прирежет…

Но самая ужасная неожиданность ожидала Авдия Каллистратова впереди. Войдя вслед за лейтенантом и одну из дверей многочисленных привокзальных помещений, он очутился в довольно просторной милицейской комнате с окном, выходящим на площадь. Какой-то младший милицейский чин, сидевший у телефона за

столом, при появлении лейтенанта привстал.

— Все в порядке, товарищ лейтенант, — доложил он.

— Садись, Бекбулат. Вот еще один залетный, — кивнув на Авдия, сказал лейтенант. — Видишь, какой красавец! Да еще корреспондент!

Оглядевшись с порога по сторонам, Авдий чуть не вскрикнул — так ошеломило его зрелище, представшее его глазам. В левом углу около входной двери за грубо сваренной из арматурного железа решеткой, поделившем комнату от пола до потолка, сидели, точь-в-точь как звери в зверинце, гонцы — добытчики анаши: Петруха, Ленька, Махач, Коля, двое гонцов-диверсов и еще какие-то ребята — всего человек десять-двенадцать, почти вся команда, за исключением Гришана. Самого среди них не было.

— Ребята, что с вами? Как же это случилось? — невольно вырвалось у Авдия.

Никто из гонцов не откликнулся. Они даже не шевельнулись. Гонцы сидели в клетке на полу впритык один к другому, очень изменившиеся, отчужденные и мрачные.

— Это не твои ли? — странно усмехнулся раздражительный лейтенант.

— Ну конечно! — заявил Авдий. — Это же мои

ребята.

— Вот оно что! — удивился лейтенант, внимательно глянув на Авдия. — Он что, ваш, что ли? — спросил он гонцов.

Никто не отозвался. Все молчали, опустив глаза.

— Эй, вы, я вас спрашиваю! — разозлился лейтенант. — Что молчите? Ну что ж, подождем. Вы у меня еще запляшете, как караси на сковороде, вы меня попомните, когда каждому отвалят по триста семнадцатой статье, вы еще запоете про дальние края. И не надейтесь, что малолетние, мол, что прежде не судились. Это не в счет. Да, да, не в счет. Вы пойманы с поличным! — кивнул он на знакомые Авдию рюкзаки и чемоданы с анашой, разбросанные по полу. Иные из них были открыты, иные порваны, кое-где анаша рассыпалась, и в комнате стоял тяжелый дух степной конопли. На столе возле телефона валялись спичечные коробки и стеклянные баночки с пластилином. — Вы у меня помолчите! Обиделись, видите ли! Вы у меня с поличным попались! — повторил лейтенант, суровея, и голос его зазвенел от гнева. — Вот улики! Вот вещественные доказательства! Вот ваш дурман! — Он стал пинать рюкзаки с анашой. — Из вашей шайки только

один мерзавец ускользнул от облавы. Но и он будет сидеть в этом углу за решеткой, мерзавцы вы эдакие. Встать! Кому говорю — встать! Ишь расселись. Стоять и смотреть сюда. Не отводите глаз! Кому велено не отводить глаз! Такие подонки, как вы, стреляли в меня из-под вагонов, и от меня вам пощады не дождаться! Сволочи, сопляки, а уже начинают вооружаться! Что же дальше-то будет! Я ваш враг навек, а я умею бороться. По всем поездам и на всех путях я буду хватать вас, как бешеных собак, вам нигде не укрыться от меня! — в ярости кричал он. — Так я вас спрашиваю, кто он, этот оборванец, выдающий себя за корреспондента? Кто он, этот тип? — И, схватив Авдия за руку, он подтащил его к решетке. — Отвечайте, пока я вас добром спрашиваю? Он ваш?

Какое-то мгновение все молчали. И, глядя в мрачные лица гонцов, Авдий никак не мог освоиться с тем, что лихие парни, которые вчера еще останавливали поезда в степи, кайфовали и сбрасывали его на ходу из вагона, теперь сидели в клетке — без брючных ремней, без обуви, босоногие (должно быть, это делалось, чтобы они не сбежали, когда их выводят по нужде), жалкие и ничтожные.

— В последний раз вас спрашиваю, — задыхаясь

от возбуждения, переспросил лейтенант. — Этот тип, которого я задержал, ваш или не ваш?

— Нет, не наш, — зло ответил за всех Петруха, неохотно подняв глаза на Авдия.

— Как же не ваш, Петр? — поразился Авдий, подступив на самодельном костыле к самой решетке. — Вы что же, забыли меня? — укорил он тех, кого отделяла от него решетка. — Мне вас так жаль, — добавил он. — Как же это случилось?

— Тут не место для ваших соболезнований, — оборвал его лейтенант. — Сейчас я буду допрашивать каждого в отдельности, — пригрозил он гонцам. — И если кто соврет — а это все равно выяснится, — тому добавят статью. Ну-ка говори ты, — обратился он к Махачу.

— Нэ наш, — ответил тот, скривив мокрые губы.

— А теперь ты, — приказал лейтенант Леньке.

— Не наш, — ответил Ленька и тяжко вздохнул.

— Не наш, — буркнул рыжеголовый Коля.

И все они до одного не признали Авдия.

Поведение гонцов, как это ни странно, задело Авдия Каллистратова. То, что все они отреклись от него, односложно, коротко, наотрез, оскорбило и унизило его. Авдий почувствовал, что его бро-

сило в жар, голова раскалывалась.

— Как же так, как же вы можете говорить, что не знаете меня? — в растерянности недоумевал он. — Да я же…

— Вот что, корреспондент «Нью-Йорк таймс», — издевательски прервал его лейтенант. — Довольно слов. «Да я», «да ты». Ты вот что, ты давай не морочь мне голову. И без тебя хватает дел. Иди-ка ты отсюда, не путайся под ногами. И не лезь к этим. Против таких, как они, есть закон и закон беспощадный — за изготовление, распространение наркотиков и торговлю ими немедленное осуждение. С такими, как они, разговор короткий. А ты, друг корреспондент, иди быстрей отсюда. Иди и не попадайся больше на глаза.

Наступило молчание. Авдий Каллистратов переминался с ноги на ногу, но не уходил.

— Ты слышал, что тебе сказал товарищ лейтенант? — подал голос милиционер, который все это время заполнял за столом какие-то бумаги. — Иди, пока не поздно. Скажи спасибо и иди.

— А ключ у вас есть от этих дверей? — указал Авдий на замок, висящий на железной двери.

— А тебе-то что? Есть, конечно, — ответил лейтенант, не понимая толком, к чему клонит Авдий.

— Тогда откройте, — сказал Авдий.

— Еще чего! Да ты кто такой? — возмутился лейтенант. — Да я тебя!

— Вот-вот, я и хочу, чтобы меня сейчас же посадили за решетку. Мое место там! — Лицо Авдия пылало, на него снова накатило бешенство, как тогда в вагоне, когда он выбрасывал на ветер драгоценную анашу. — Я требую, чтобы меня арестовали и судили, — выкрикивал Авдий, — как и этих несчастных, что заблудились в мире, где столько противоречий и неисчислимых зол! Я должен нести такую же ответственность, как и они. Ведь я занимался тем же, что и они. Откройте дверь и посадите меня вместе с ними! На суде они подтвердят, что я виновен так же, как и они! Мы покаемся в своих грехах, и это послужит нам очищением…

Тут милиционер отложил в сторону бумаги и вскочил.

— Да он же сумасшедший, товарищ лейтенант. Посмотрите только на него. Сразу видно, что он ненормальный.

— Я в здравом уме, — возразил Авдий. — И я должен понести равное с ними наказание! В чем же мое сумасшествие?

— Постой, постой, — заколебался лейтенант.

Очевидно, за всю свою нелегкую службу в транспортной милиции он никогда еще не сталкивался с такого рода диким случаем: ведь расскажи кому об этом, не поверят.

Наступило молчание. И тут кто-то всхлипнул, потом, давясь слезами, зарыдал. Это плакал, отвернувшись к стене, Ленька. Петруха зажимал ему рот и что-то угрожающе шептал на ухо.

— Вот что, товарищ, — вдруг смягчившись, сказал Авдию лейтенант. — Пошли поговорим, я тебя выслушаю со всем вниманием, только в другом месте. Выйдем поговорим. Пошли, пошли, послушайся меня.

И они снова вышли в зал ожидания, битком набитый разным проезжим народом. Лейтенант подвел Авдия к свободной скамейке, предложил сесть и сам сел рядом.

— Очень тебя прошу, товарищ, — с неожиданной доверительностью сказал он, — не мешай нам работать. А если что и не так, не сердись. Уж очень трудная у нас работа. Да ты и сам видел. Я тебя прошу, уезжай, куда тебе надо. Ты свободен. Только больше к нам не приходи. Понял, да?

И пока Авдий собирался с мыслями, думая, как бы объяснить лейтенанту свое поведение и высказать свои соображения насчет участи

задержанных гонцов, тот встал и, раздвигая толпу, ушел.

Проезжие от нечего делать снова стали искоса поглядывать на Авдия: слишком уж он выделялся даже среди этой разношерстной толпы. Избитый, с лицом в синяках, в изодранной одежде, с доской под мышкой вместо костыля, Авдий вызывал у людей и любопытство и презрение разом. К тому же его только что привел сюда милиционер.

А Авдию становилось все хуже… Жар поднимался, и голова болела невыносимо. События минувшего дня, ночной ливень, распухшая непослушная нога и, наконец, новая неожиданная встреча с гонцами, которым теперь грозило страшное возмездие за их преступление, — все это не прошло для него бесследно. Авдия стало знобить, бросило сначала в дрожь, потом снова в жар. Он сидел съежившись, вобрав голову в плечи, не в силах встать с места. Злополучный костыль валялся у его ног.

И тут перед помертвевшим взглядом Авдия все поплыло как в тумане. Расплываясь, утрачивая четкие очертания, лица и фигуры людей вытягивались, съеживались, накладывались друг на друга. Авдия мутило, мысли мешались, ему было трудно дышать. Авдий сидел сам не свой в

этом душном, парном многолюдном зале среди случайных людей. «Ой, как худо мне, — думал он, — и до чего же странно устроены люди. Никто никому не нужен. Какая пустота вокруг, какая разъединенность». Авдий ожидал, что это состояние скоро пройдет, что он снова станет самим собой и тогда попытается чем-то помочь тем, кому грозило тюремное заключение. То, что они только вчера выбрасывали его на ходу из поезда, надеясь, что он разобьется насмерть, сейчас отошло на второй план. Эти преступники, мерзавцы, тупые убийцы должны были бы вызывать в нем ненависть, желание отомстить, а не сострадание. Но идеалист Авдий Каллистратов не желал усваивать уроки жизни, и никакая логика тут не помогала. Подсознательно он понимал, что поражение добытчиков анаши — это и его поражение, поражение несущей добро альтруистической идеи. Ему оказалось не по силам повлиять на добытчиков, чтобы спасти их от страшной участи. И вместе с тем он не мог не понимать, как уязвим он из-за этого своего всепрощения, к каким роковым последствиям оно может привести…

И все-таки мир не без добрых людей, отыскались они и в той толпе случайных людей на вокзале. Какая-то пожилая женщина, седая, повя-

занная платком, сидящая с вещами на скамейке напротив Авдия, очевидно, поняла, что человеку нездоровится и он нуждается в помощи.

— Гражданин, — начала было она и тут же чисто по-матерински спросила: — Сынок, тебе нехорошо? Уж не заболел ли ты?

— Похоже, что заболел, но вы не беспокойтесь, — попытался улыбнуться Авдий.

— Это как же не беспокоиться? Ой батюшки, да что же это такое, уж не упал ли ты откуда? А жар у тебя сильный, — сказала она, притронувшись ко лбу Авдия. — И глаза совсем больные. Ты вот что, сынок, никуда не уходи, а я пойду узнаю, может, тут врачи какие есть или, может, тебя в больницу какую определят. Нельзя же тебя так оставить…

— Да не беспокойтесь, не стоит, — говорил ей Авдий слабеющим голосом.

— Нет, нет. Ты посиди тут маленько. Я вмиг обернусь…

Поручив присматривать за вещами соседке с малыми детьми, сердобольная женщина куда-то ушла.

Сколько она отсутствовала, Авдий не помнил. Ему стало совсем худо. Теперь он понял, в чем дело: у него сильно болело горло. Невозможно было даже сглотнуть слюну. «Наверное, анги-

на», — подумал Авдий. Он настолько ослабел, что ему хотелось лечь, растянуться прямо на полу — пусть на него наступают — и забыться, забыться, забыться…

Авдий уже было стал засыпать, как вдруг толпа в зале ожидания рядом зашевелилась, послышался гул голосов. Открыв глаза, он увидел, что из милицейской комнаты выводят гонцов. Их со всех сторон окружал наряд милиции. Раздражительный лейтенант шел впереди — люди расступались перед ним, за ним следовали гонцы в наручниках. Они шли под конвоем один за другим — Петруха, Махач, Ленька, Коля, двое диверсов и другие, всего человек десять. Их выводили из вокзала.

Пересиливая себя, Авдий с трудом поднял костыль и кинулся вслед за гонцами. Ему казалось, что он передвигается очень быстро, но почему-то он так и не смог догнать подконвойных. Столпившиеся зеваки тоже мешали Авдию пробраться к гонцам. Но как гонцов увозили, он увидел: неподалеку от дверей вокзала стояла закрытая машина с зарешеченной дверцей позади — двое милиционеров подхватывали гонцов под мышки и заталкивали внутрь.

Потом в машину сел конвой, и дверца за-

хлопнулась. В кабину рядом с водителем сел лейтенант, и машина покатила прочь от вокзальной площади. Толпа высказывала всевозможные предположения.

— Бандитов поймали. Целую шайку.

— Не иначе как те, что убивали людей по квартирам.

— Ой страх-то какой!

— Да разве ж это бандиты? Пацаны какие-то.

— Пацаны, говоришь? Теперешние пацаны кого хочешь убьют и глазом не моргнут.

— Да нет же, люди добрые, это добытчики анаши. Ну да, те самые, что анашу провозят. Тут их ой сколько ловят на товарняках…

— Сколько ни лови, а они все прут…

— Да что же это такое…

Так закончилась горькая эпопея гонцов. И Авдий чувствовал в душе необъяснимую опустошенность…

Плохо соображая, где он прежде сидел, Авдий потащился в зал ожидания. Шел наугад, с трудом волоча ноги, и тут ему встретилась та самая седая женщина.

— Да вот он, вот! — сказала она медсестре в белом халате. — Куда же ты ушел, сынок, ведь мы тебя обыскались. Вот и медсестра пришла. У

тебя небось жар, так они боятся, не заразная ли у тебя болезнь.

— Не думаю, — слабым голосом ответил Авдий.

Медсестра пощупала лоб Авдия.

— Высокая температура, — сказала она. — А расстройство есть? Понос с гнилостным запахом? — уточнила она.

— Нет.

— Ну все равно. Надо пройти в медпункт. Там доктор посмотрит еще.

— Да я готов.

— А вещи ваши где?

— Вещей у меня нет…

IV

В жалпак-сазской станционной больнице, куда положили Авдия Каллистратова, врач Алия Исмаиловна, хмуроватая казашка, осмотрев больного, строго сказала:

— Положение у вас достаточно сложное. Травму ноги должен посмотреть специалист. А пока будем лечить антибиотиками, чтобы заражение не распространилось. Но вы, больной, должны рассказать мне все, что с вами было. Я спрашиваю вас не из любопытства, а как врач…

Среди всевозможных встреч и разлук хоть раз в жизни случается то, что не назовешь иначе как встречей, ниспосланной Богом. Но как велик риск, что подобная встреча ни к чему не приведет, человек постигает лишь потом — и тогда ему на мгновение становится страшно при мысли, а что если бы та встреча оказалась напрасной… Ведь исход встречи зависит уже не от Бога, а от самих людей.

Нечто похожее произошло с Авдием Каллистратовым. Вечером третьего дня к нему в больницу пришла она — та, о которой он мог лишь мечтать, потому что не знал, кто она, а мечтать ведь

можно обо всем на свете…

Днем после уколов и таблеток температура несколько снизилась и к вечеру уже не поднималась свыше тридцати семи и трех. Но опухоль на ноге пока еще не спала, и одно ребро с правой стороны оказалось сломанным, на рентгене обнаружилась трещина. В целом же дела шли на поправку. На субъективное самочувствие Авдий не мог пожаловаться. Врач Алия Исмаиловна оказалась врачевателем в полном смысле слова, исцеляющим не только знаниями, но и самим своим обликом. Все ее назначения, сама манера разговаривать внушали пациенту спокойствие и уверенность, помогали ему сопротивляться болезни. Ее психотерапия была сдержанной и мудрой, и Авдий после всех перипетий и потрясений особенно остро ощутил, как необходимы подчас человеку людские заботы и внимание. Откровенно говоря, он даже обрадовался, что заболел и попал в руки хорошего врача, — так ему было покойно и славно в тихой и скромной станционной больнице, расположенной в маленьком парке.

Окно с белыми занавесками, выходившее на аллею, было приоткрыто. Жара еще не спала. Двое соседей по палате вышли во двор подышать

и покурить, а Авдий лежал в одиночестве и то и дело измерял себе температуру. Ему очень не хотелось, чтобы температура снова поднялась. Мимо окна простучали острые каблучки, и женский голос справился о нем у дежурной сестры. Кто бы это мог быть? Голос показался Авдию знакомым. Вскоре сестра открыла дверь в палату.

— Вот он здесь лежит.

— Здравствуйте! — сказала посетительница. — Это вы Каллистратов?

— Я, — не веря своим глазам, ответил Авдий.

Это была та самая поразившая воображение Авдия девушка, которая приезжала на мотоцикле в Учкудук. Авдий так растерялся, что почти не слышал ее, о смысле ее слов он догадывался лишь потому, что давно готов был с полуслова понимать ее. Оказалось, что девушку зовут Ингой Федоровной. И пришла она сюда потому, что Алия Исмаиловна, с которой она дружит вот уже третий год — с тех пор, как приехала сюда заниматься научной работой, рассказала ей о нем и он ее очень заинтересовал: ведь они, то есть он, Авдий, и она, Инга Федоровна, занимаются в чем-то близкими вопросами, связанными с анашой, поскольку она ведет работу по изучению моюнкумской популяции, — дальше следовало

какое-то сложное латинское название той самой степной конопли-анаши — и потому она пришла познакомиться с ним и узнать, не требуется ли ему какая информация… Ведь журналисту, насколько она может судить, необходимы и научные сведения.

О Боже, какая там еще научная информация, когда он, оглушенный ее неожиданным появлением, лишь каким-то чудесным образом угадывал, о чем идет речь, и видел только ее глаза, и казалось ему в тот миг, что ни у кого больше нет таких глаз, — так астроном открывает неизвестную звезду среди миллиона подобных звезд, а ведь для непосвященного человека все звезды абсолютно одинаковы. Он, казалось, воспарил от одного ее взгляда…

Все это Авдий восстановил потом, оставшись наедине и немного успокоившись, а в те первые минуты он выглядел полным идиотом. Правда, Инга Федоровна могла это отнести за счет высокой температуры. Ведь только идиот может ляпнуть сразу: «Откуда вы узнали, что я все время думал о вас?» Она в ответ лишь удивленно подняли брови, отчего сделалась еще красивей, и загадочно улыбнулась. Воспримi она эту дурацкую по своей примитивности фразу как ба-

нальность или пошлость, как бы потом казнился, как проклинал бы себя Авдий. Но милостив Бог, у нее хватило такта не придать его словам особого значения. И они с удовольствием вспоминали, как она приезжала в Учкудук, как они впервые увиделись, и посмеялись тому мимолетному, но запомнившемуся обоим случаю. А еще больше позабавил Ингу Федоровну рассказ о том, как днем позже Авдий и вместе с ним двое бывалых гонцов, Петруха и Ленька, прятались в травах, когда над степью появился вертолет. Оказывается, она, Инга Федоровна, на том вертолете летела вместе с небольшой научной экспедицией из Ташкента: один из ташкентских НИИ занимается химико-биологическим уничтожением конопли-анаши в местах ее произрастания. Теперь Авдию стало ясно, что борьба с этим злом велась в двух направлениям: искоренение наркомании и искоренение растений, содержащих наркотики. И, как водится в мире, решить эту проблему было не так-то просто. В частности, из объяснений Инги Федоровны выходило, что найти химические вещества для уничтожения конопли не только в фазе вегетации, но и как вида, нанося удар по системе размножения, вполне возможно, но этот метод нес с собой еще большее зло — он разрушал

почву: земли минимум на двести лет выходила из строя. Губить природу ради борьбы с наркоманией — это ведь тоже палка о двух концах. В задачу Инги Федоровны как раз входили исследования, направленные на поиски оптимальных способов решения этой сложной экологической проблемы. О Боже, подумал Авдий, если бы природа обладала мышлением, каким тяжелым грузом вины легла бы на нее эта чудовищная взаимосвязь между дикорастущей флорой и нравственной деградацией человека.

* * *

Называя возникшие у него отношения с Ингой Федоровной «новой эпохой в своей судьбе», Авдий Каллистратов не допускал никакого романтического преувеличения. Буквально на второй день по возвращении в Приокск он написал ей большое письмо, и это при том, что почти на каждой железнодорожной станции, где поезд стоял более пяти минут, он отправлял ей открытку. Было что-то неуемное, не вмещавшееся в обычное понятие влюбленности в том напряжении чувств, в той страсти, какие испытывал Авдий с тех пор, как ему довелось встретить Ингу Федоровну на своем жизненном пути.

Он писал ей: «Что со мной творится — уму непостижимо! Я ведь считал, что я довольно сдержанный человек, что разум и эмоции находятся у меня в необходимом равновесии, а теперь я не в состоянии анализировать себя. А впрочем, к своему удивлению, я и не хочу ничего анализировать. Я весь во власти невиданного счастья, свалившегося на меня подобно горному обвалу, я видел в одном документальном фильме, как белая снежная лавина сметает все на своем пути, — и я счастлив, что эта лавина обрушилась на меня. Не было и нет на свете другого такого счастливого человека, только мне так повезло, и я, как фанатичный дикарь, пляшущий с бубном, благодарю судьбу за все испытания, которые она послала мне нынешним летом: ведь она оставила меня в живых, дав узнать то, что можно узнать лишь в водовороте жизни. Я бы сказал, что в пределах одной личности любовь — это настоящая революция духа! А коли так, то да здравствует революция духа! Сокрушающая и возрождающая одновременно!

Прости, Инга, за этот сумбур. Но я люблю тебя, у меня нет ни сил, ни слов, чтобы выразить все, что ты значишь для меня…

Теперь разреши перевести дух. Я уже побы-

вал в редакции. Коротко рассказал что и как. Меня торопят с очерком, мой очерк ждут. Возможно даже, что получится серия очерков на эту злободневную тему. И если мои ожидания оправдаются, я смогу надеяться на постоянную работу в этой газете. Но пока еще рано об этом говорить. Главное, с завтрашнего дня собираюсь садиться за работу. Ведь я умышленно не вел никаких записей. Придется все последовательно восстанавливать в памяти.

Как бы то ни было, судьбы гонцов, которых — что вполне закономерно — ожидает справедливый и строгий суд за распространение наркотиков, не оставляют меня в покое. Ибо они для меня живые люди со своими горькими, изломанными судьбами. Особенно жалко мне Леньку. Пропадает парнишка. И вот тут возникает та нравственная проблема, о которой мы с тобой много говорили, Инга. Ты совершенно права, Инга, что любое злодеяние, любое преступление людское в любой точке земли касается нас всех, даже если мы находимся далеко и не подозреваем об этом, и не хотим ничего об этом знать. И что греха таить, подчас даже посмеиваемся: смотрите, мол, до чего дошли те, которых мы привычно называем противниками нашими. Но

газеты правильно делают, что пишут о преступлениях, происходящих за нашими пределами, в этом есть глубокий смысл. Ибо в мире существует некий общий баланс человеческих тягот, люди — единственные мыслящие существа во вселенной, и это их свойство — хотим мы того или нет — превыше всего, что их разделяет. И мы придем к этому, несмотря на все наши противоречия, и в этом спасение разума на земле.

Как мне отрадно, Инга, ведь я могу писать тебе о том, что меня особо волнует, ибо найду нужный отклик в твоей душе — в этом я уверен. Я боюсь надоесть тебе своими бесконечными письмами — меня тянет писать их одно за другим, без остановки, иначе я не выдержу. Я все время должен быть с тобой, хотя бы мысленно. До чего бы мне хотелось снова оказаться в Моюнкумских степях и снова увидеть тебя в первый раз на том самом мотоцикле, на котором ты появилась в Учкудуке и сразу покорила меня, поборника церковного новомыслия. Стыдно признаться, но я был настолько поражен твоим появлением, что и теперь не могу отделаться от чувства робости и восторга. Ты спустилась с небес, как богиня в современном обличии…

И теперь, вспомнив об этом, не могу простить

себе, что не сумел, когда мне довелось соприкоснуться с гонцами, сделать так, чтобы в балансе человеческих мучений поубавилась бы, пусть на мизерную долю, доля худа и прибавилась бы доля добра. Я рассчитывал, что они убоятся Бога, но деньги оказались для них превыше всего. И вот теперь меня мучает мысль, как помочь хотя бы тем гонцам, с которыми меня столкнула судьба, с которыми я имел какой-то опыт общения. Я имею в виду прежде всего раскаяние. Вот к чему мне хотелось указать им путь. Раскаяние — одно из великих достижений в истории человеческого духа — в наши дни дискредитировано. Оно, можно сказать, полностью ушло из нравственного мира современного человека. Но как же может человек быть человеком без раскаяния, без того потрясения и прозрения, которые достигаются через осознание вины — в действиях ли, в помыслах ли, через порывы самобичевания или самоосуждение?.. Путь к истине — повседневный путь к совершенству…

О Боже, опять я за свое! Прости меня, Инга. Это все оттого, что чувства переполняют меня, оттого, что я постоянно думаю о тебе. Мне постоянно кажется, что я не высказал и тысячной доли того, что хотелось бы высказать тебе…

Как бы мне хотелось быстрее, как можно быстрее — ведь уже целую неделю мы порознь — снова увидеть тебя…

И эта нарастающая тоска — единственное, что меня сейчас тревожит. А все остальные житейские проблемы чудесным образом утратили вдруг свое значение, и кажутся мне совсем не важными…»

* * *

Стоял уже конец июля, и наступил день, когда я вышел из редакции газеты удрученный. Я был очень опечален, ибо в отношении редактора к моим степным очеркам произошла внезапная перемена. Да и мои товарищи в редакции, вдохновлявшие меня на поездку за ударным материалом, теперь тоже вели себя как-то странно, словно они были в чем-то виноваты передо мной.

А мне это было очень тяжело. Когда я чувствую, что люди испытывают какую-то вину предо мной, для меня это так мучительно, что мне хочется быстрее освободить их от угрызений совести, чтобы ничто не смущало их при виде меня. Ибо тогда я сам чувствую себя виноватым в их вине…

Уходя из редакции, я дал себе слово больше

не приходить сюда и не мозолить больше никому глаза — пусть сами приглашают, когда понадоблюсь. А если не понадоблюсь, ничего не поделаешь. Буду знать, что ничего не вышло и не на что надеяться.

Я шел по бульвару этой самой прекрасной порой российского лета, и ничто не радовало меня. Сколько сил и стараний я приложил, чтобы написать свои степные очерки, чтобы передать в них мою гражданскую боль, я писал их как откровение и исповедь, но тут вторглись какие-то соображения о престиже страны (подумать только, чего ради мы создаем тайны от самих себя?), которые грозят похоронить мои с таким трудом добытые очерки. Передать не могу, до чего мне было обидно. И что самое странное — редактор позволил себе сказать:

— А впрочем, надо подумать, может быть, стоит изложить все это в докладной записке в вышестоящие инстанции. Для принятия соответствующих мер.

Да, так и сказал.

А я не утерпел и возразил ему:

— До каких пор мы будем уверять, что даже катастрофы у нас самые лучшие?

— При чем тут катастрофы? — нахмурился

редактор.

— А при том, что наркомания — это социальная катастрофа.

С тем я и ушел. И единственное, что облегчало мое существование, — это были письма Инги, которые я перечитывал всякий раз, как только у меня щемило сердце при воспоминании о ней. Есть, безусловно есть на свете телепатия — иначе чем объяснить, что ее письма предвосхищали то, о чем я думал, то, о чем болела моя душа, то, что больше всего волновало и тревожило меня. Эти письма все больше питали мои надежды и вселяли в меня уверенность: нет, судьба не обманула меня и тем более не насмеялась надо мной, ведь современным молодым женщинам нравятся вовсе не такие, как я, неудачник, семинарист, с архаичным церковным представлением о нравственных ценностях. Ведь как проигрывал я на фоне суперменствующих молодцов. И, однако, в письмах Инги я находил столько доверия, не побоюсь сказать, уважения и, самое главное, недвусмысленного ответного чувства, что это окрыляло меня и возвышало в собственных глазах. Какое счастье, что встретилась мне именно она, моя Инга! И не в том ли магия любви — в обоюдном стремлении друг к другу…

Нас пока еще не касались никакие житейские проблемы. И тем больше радовало меня то, что они существуют и что их надо решать. Мне необходимо было найти постоянное рабочее занятие, приносящее постоянный заработок. Пока еще я жил на продажу отцовских старинных книг, что очень тяготило меня. Я подумывал о том, чтобы уехать к Инге в Азию, обосноваться там, устроиться на работу и быть рядом с ней. Я готов был поступить подсобным рабочим в ее экспедицию и делать все, чтобы она успешно вела свои исследования. Ведь исследования эти были отныне небезразличны для меня. В них соединились наши общие интересы: я пытался искоренить наркоманию путем нравственных усилий, она пыталась решить эту задачу с другой стороны — научным путем. И очень подкупал меня ее энтузиазм. Ведь нельзя было сказать, что ее работа числилась среди модных, особо престижных направлений или заведомо сулила быструю служебную карьеру. Строго говоря, Инга была едва ли не единственным человеком, занимающимся вопросом уничтожения дикорастущей конопли-анаши всерьез, как научной проблемой. Немаловажную роль в выборе направления ее работы, мне кажется, сыграло и то, что она была

местной, джамбулской жительницей и училась она опять же в Ташкенте, и все это, вместе взятое, не могло, конечно, не повлиять на характер ее интересов.

У Инги были и свои сложности в жизни. С прежним мужем, военным летчиком, они не жили уже почти три года. Разошлись, когда у них родился сын. Сейчас, кажется, летчик собирался жениться на другой. Потому-то им и необходимо было встретиться в последний раз, чтобы поставить точки над «и» прежде всего относительно их сына. Игорек находился у бабушки с дедом в Джамбуле, в докторской семье, но Инга очень хотела, чтобы малыш постоянно жил с ней. И когда она написала мне в письме, что надеется осенью взять сыночка с собой в Жалпак-Саз — ей обещали место в детсаду железнодорожников, я очень порадовался за нее и ответил, что она может во всем полностью полагаться на меня.

И тогда она написала мне, что ей очень хотелось бы осенью в ее отпуск поехать вместе со мной в Джамбул навестить малыша и ее родителей. Надо ли говорить, как тронул меня этот ее план совместной поездки. И я ответил ей, что готов в любую минуту приехать к ней и быть в ее распоряжении, и что вообще во всей своей жизни

я хотел бы исходить из наших общих, и прежде всего ее, интересов, и что счастье свое я вижу в том, чтобы быть ей полезным и нужным.

Все шло к тому, что осенью нам предстояло определить свою судьбу. Я жил этим. И очень, очень волновался, думая о том, как мы поедем в Джамбул к Игорьку и Ингиным родителям. Ведь от этой поездки очень многое зависело. Но на нее требовались какие-то денежные средства. Один проезд чего стоил. В этом смысле я рассчитывал на серию своих моюнкумских очерков, но, увы, тут все сорвалось, и не по моей вине. Тогда я подрядился временно работать ночным корректором в областной типографии, и это давало мне небольшой заработок…

И вот наступил день, когда я получил письмо от Инги, где она спрашивала, смог бы я приехать в Жалпак-Саз в последние дни октября — тогда на ноябрьские праздники мы бы вместе отправились в Джамбул…

Я бежал на городской телеграф как сумасшедший, чтобы послать ей телеграмму… Надо было поскорей продать книги и на эти деньги отправиться в путь.

V

Обер-Кандалов обнаружил Авдия Каллистратова на вокзале, когда высматривал себе команду для поездки на облаву в Моюнкумы.

Кто бы ни поручил это дело Оберу-Кандалову, он глядел в корень: Кандалов — бывалый человек, поднимавшийся в должности коменданта при железнодорожной пожарной охране, в прошлом военный, причем из штрафбата (а это что-то да значит!), подходил для экстренной операции в степи как нельзя лучше. Кстати, у Кандалова при этом были свои тонкие соображения. Он рассчитывал, что, оказав услугу облуправлению с выполнением плана мясосдачи, таким образом реабилитирует себя и при ходатайстве нужных областных инстанций восстановится в партии. Ведь исключили его не за какие-то там хищения или грубые злоупотребления, а всего-навсего за такое редкое и, главное, абсолютно не наносящее никакого ущерба государству дело, как мужеложество в штрафбатовских казармах, к которому он принуждал, используя служебное положение. Ну был такой грех, ну принуждал он, сверхсрочный старшина, иных идеологически

сомнительных личностей, особенно сектантов разных да наркоманов, так чего их жалеть? И сколько можно за это бить? Хватит того уже, что от него ушла жена, потому он и стал пить горькую, хотя и прежде не был трезвенником. А ведь если разобраться, он очень нужный человек. Вот поручили серьезное дело, так он в момент сколотил группу. Пошел глубокой ночью на вокзал, пригляделся к народу, наметанным глазом обнаружил, кто задавлен нуждой и согласится отправиться с ним в Моюнкумы, чтобы хорошо и быстро подзаработать. Так он набрел и на Авдия Каллистратова.

Авдия заставила принять предложение Кандалова не только нужда: произошло нечто столь непредвиденное и тревожное для него — он не застал Ингу Федоровну в Жалпак-Сазе, хотя прибыл по ее письму, — что он впал в уныние, хотя и не ясно было, стоило ли так переживать. Летел самолетом, а для этого надо было приехать в Москву, в Москве целый день доставал билет, из Алма-Аты ехал поездом. Домчался, можно сказать, за пару дней, а когда наконец добрался до домика во дворе лаборатории близ больницы, то нашел его запертым, а в скважине замка записку от Инги Федоровны. В этой записке она просила

получить от нее письмо до востребования на вокзальной почте. Авдий, естественно, бросился на почту. Письмо ему сразу выдали. Он с замирающим сердцем зашел в скверик и здесь, сидя на скамейке, прочел:

Авдий, родной мой, прости. Если бы я знала, что выйдет такая неувязка, я дала бы тебе знать, чтобы ты пока не выезжал. Боюсь, что моя телеграмма тебя не застала и ты уже в пути. Дело в том, что в Джамбул прибыл неожиданно мой бывший муж, с тем чтобы затеять судебное дело по поводу нашего Игорька. Я вынуждена срочно выехать в Джамбул. Возможно, я чем-то спровоцировала его на этот приезд: я ему открыто написала, что собираюсь начать новую жизнь с человеком, который мне глубоко интересен. Я должна была поставить его в известность, поскольку у нас сын.

Прости еще раз, мой любимый, что так получилось. Возможно, оно и к лучшему: все равно рано или поздно пришлось бы решать этот вопрос. Так уж лучше с самого начала покончить с этим.

Когда ты приедешь, дверь будет заперта. Ключ я оставлю нашей лаборантке Сауле Алимбаевой. Она прелестный человек. Ты ведь знаешь, где наша лаборатория. Возьми, пожалуйста, у нее ключ и живи у меня. Чувствуй себя как дома и подожди меня. Жаль что Алия Исмаиловна сейчас уехала в отпуск, с ней тебе было бы интересно пообщаться. Ведь она к тебе относится с большим уважением. Думаю, за неделю я обернусь. Постараюсь сделать все, чтобы отныне нам ничего не мешало. Я очень хочу, чтобы ты увидел Игорька. Думаю, вы подружитесь, и очень хочу, чтобы мы жили все вместе, а перед этим, как и собирались, съездим к моим родителям и ты бы познакомился с ними, с Федором Кузьмичом и Вероникой Андреевной. Не огорчайся, Авдий, любимый мой, и не грусти. Я постараюсь сделать все, как лучше.

Твоя Инга.

PS. Если приедешь в нерабочее время, адрес Алимбаевой: ул. Абая, 41. Мужа ее зовут Даурбек Иксанович.

Письмо, которое Авдий прочитал залпом, повергло его в раздумье. Он был ошеломлен: дела принимали новый оборот, которого он никак не ожидал. Авдий не пошел за ключом, а остался в зале ожидания, решив вначале поразмыслить. Потом, поместив чемодан, чтобы не мешал, в камеру хранения, пошел в сквер, посидел там, побродил возле знакомой больницы и, найдя уединенную тропинку между станцией и городком, стал ходить по ней взад-вперед…

В степи стояла поздняя осень. Было уже прохладно. Размытые, рыхлые облака, как барашки в океанской дали, белели в выцветшем за лето октябрьском небе, деревья наполовину облетели, и под ногами валялись жухлые багряно-коричневые листья. Огороды тоже были уже убраны и оголились. На улицах Жалпак-Саза было пустынно, уныло. В воздухе, слабо поблескивая, летала паутина, неожиданно прикасаясь к лицу. Все это наводило на Авдия грусть. А на станции, подавляющей своей индустриальной мощью огромное степное пространство, стоял грохот, лязг, шла жизнь, не останавливающаяся ни на минуту, подобно пульсу. Все так же на бесчисленных путях маневрировали поезда, сновали люди, хрипели на всю округу по радио диспетчеры.

И опять Авдию вспомнились те летние дни, вспомнился конец эпопеи гонцов. И в который раз в этой связи возвращался Авдий Каллистратов к размышлениям о раскаянии. И чем больше думал, тем больше убеждался, что раскаяние — понятие, возрастающее по мере жизненного опыта, величина совести, величина благоприобретенная, воспитывающаяся, культивирующаяся человеческим разумом. Никому, кроме человека, не дано раскаиваться. Раскаяние — это вечная и неизбывная забота человеческого духа о самом себе. Из этого вытекает, что любое наказание — за проступок ли, за преступление — должно вызвать в душе наказуемого раскаяние, иначе это равносильно наказанию зверя.

С этими мыслями Авдий вернулся на вокзал. И вспомнился ему тот раздражительный лейтенант и захотелось поинтересоваться, припомнит ли тот его, и узнать, как сложилась судьба гонцов, добытчиков анаши — Петрухи, Леньки и других. К этому побуждала Авдия и еще одна причина: он всеми силами старался отвлечься от того, что томило и беспокоило его, как сгущающаяся гроза на горизонте, — от мыслей об Инге Федоровне. Всю свою жизнь и свое будущее теперь он пропускал сквозь эту призму — его жизнь определялась

состоянием дел в далеком Джамбуле. Нет, раз он бессилен что-либо предпринять, нельзя думать об этом, надо бежать, бежать от этих мыслей. Но, к сожалению, раздражительного лейтенанта Авдию обнаружить не удалось. Когда Авдий постучал в дверь милицейской комнаты, к нему подошел какой-то милиционер.

— Вам чего?

— Да я, понимаете ли, одного лейтенанта хотел увидеть, — начал объяснять Авдий, предчувствуя, что из этой затеи ничего не выйдет.

— А как фамилия его? Лейтенантов у нас много.

— К сожалению, фамилия его мне неизвестна, но если бы увидел, я бы сразу его узнал.

— А зачем он вам?

— Как бы вам объяснить — поговорить, побеседовать хотел…

Милиционер с интересом оглядел его:

— Ну посмотри, может, и найдешь своего лейтенанта.

Но в комнате за столом у телефона на этот раз сидел и с кем-то разговаривал незнакомый человек. Авдий извинился и вышел. Выходя, глянул мельком на железную клетку, где сидели прежде пойманные преступники. На этот раз она была

пуста.

И опять, как он ни старался того избежать, Авдий вернулся к неотступно томящим его мыслям. Что с Ингой? Он все еще не шел за оставленным Ингой ключом: знал, что, оказавшись один на один с терзающими душу мыслями в пустом доме Инги, он еще сильнее почувствует свое одиночество. Он мог ждать и на вокзале, если бы знал, что с Ингой и когда она вернется. Авдий пытался представить себе, что происходит сейчас там, в Джамбуле, как тяжело приходится его любимой женщине, а он ничем не может ей помочь. А что, если ее родители, чтобы не лишать ребенка отца, будут настаивать, чтобы она наладила отношения с мужем. Да, дело вполне могло принять и такой оборот, и тогда ему ничего не оставалось бы, кроме как вернуться восвояси. Авдий зримо представил себе блестящего военного летчика, эффектного, в форме и погонах, какого-нибудь майора, не меньше, и понимал, что на его фоне он, Авдий, сильно бы проигрывал. Авдий был уверен, что для Инги всякие там звания и внешний блеск роли не играют, но кто знает, а вдруг для родителей Инги имеет значение, кого видеть в зятьях — военного летчика, отца Игорька, или странного человека без определенных занятий?

Вечерело. С наступлением темноты Авдий еще больше мрачнел. На битком набитом людьми вокзале царила полутьма, было душно, накурено, и уныние Авдия достигло крайней степени. Ему казалось, что он в темном и мрачном лесу. Совсем один. Осенний ветер гудит в верхушках деревьев, скоро начнется снегопад, и снег засыплет лес и его, Авдия, с головой, и все потонет в снегу, все забудется… Авдию хотелось умереть, и если бы он в тот час узнал, что Инга не вернется или вернется не одна, а с тем, чтобы, забрав вещи и книги, уехать со своим военным летчиком, он не раздумывая бы вышел и лег под первый поезд…

Именно в тот тягостный час, уже поздно вечером, Авдия Каллистратова обнаружил на вокзале Жалпак-Саза Обер-Кандалов, подбиравший подходящую команду для моюнкумской «сафары». Видимо, Обер-Кандалов был не лишен проницательности, во всяком случае он безошибочно понял, что Авдий в душевном разброде и не находит себе места. И действительно, когда Обер-Кандалов предложил Авдию махнуть на пару дней в Моюнкумскую саванну подзаработать на выгодной шабашке, тот сразу же согласился. Он готов был на все, лишь бы не сидеть в одиночестве и не ждать у моря погоды. К тому же ему

подумалось, что, пока он вернется из Моюнкумов с заработанными деньгами, возможно, появится и Инга Федоровна и все прояснится: или он (о счастье!) останется навсегда с любимой, или ему придется уехать и найти в себе силы выжить… Но такого исхода он страшился…

И в тот же вечер Обер-Кандалов отвез Авдия в расположение пожарной охраны, где тот и переночевал на свободной койке…

А утром следующего дня всей командой отправились с колонной машин на облаву в Моюнкумскую саванну. На веселое дело ехали…

* * *

И теперь они творили над Авдием Калли-стратовым суд. Пятеро заядлых алкоголиков — Обер-Кандалов, Мишаш, Кепа, Гамлет-Галкин и Абориген-Узюкбай. Если точнее, то Гамлет-Галкин и Абориген-Узюкбай только при сем присутствовали и пытались, правда робко и жалко, как-то смягчить свирепость тех троих, вершивших суд.

А дело было в том, что на Авдия к вечеру накатило опять такое же безумие, как тогда в вагоне, и это послужило поводом для расправы. Облава на моюнкумских сайгаков на него так страшно

подействовала, что он стал требовать, чтобы немедленно прекратили эту бойню, призывал озверевших охотников покаяться, обратиться к Богу, агитировал Гамлета-Галкина и Узюкбая присоединиться к нему, и тогда они втроем покинут Обер-Кандалова и его приспешников, будут бить тревогу, и каждый из них проникнется мыслью о Боге, о Всеблагом Творце и будет уповать на Его безграничное милосердие, будет молить прощения за то зло, которое они, люди, причинили живой природе, потому что только искреннее раскаяние может облегчить их.

Авдий кричал, воздевал руки и призывал немедленно присоединиться к нему, чтобы очиститься от зла и покаяться.

В своем неистовстве он был нелеп и смешон, он вопил и метался, точно в предчувствии конца света, — ему казалось, что все летит в тартарары, низвергается в огненную пропасть.

Он хотел обратить к Богу тех, кто прибыл сюда за длинным рублем… Хотел остановить колоссальную машину истребления, разогнавшуюся на просторах моюнкумской саванны, — эту всесокрушающую механизированную силу…

Хотел одолеть неодолимое…

И тогда по совету Мишаша его скрутили верев-

ками и бросили в кузов грузовика прямо на туши убитых сайгаков.

— Лежи там, бля, и подыхай. Нюхни сайгачьего духу! — крикнул ему Мишаш, хрипя от натуги. — Зови теперь своего бога! Может, он, бля, тебя услышит и спустится к тебе с неба…

Стояла ночь, и луна взошла над Моюнкумской саванной, где прокатилась кровавая облава и где все живые твари и даже волки увидели своими глазами крушение мира…

Крушители же, за исключением Авдия Каллистратова, на беду свою очутившегося в тот день в Моюнкумах, единодушно торжествовали…

И за это его собирались судить…

* * *

Стащив Авдия с кузова, Мишаш и Кепа приволокли его к Оберу и силой заставили встать перед ним на колени. Обер-Кандалов сидел на пустом ящике, раскинув полы коробящегося плаща и широко растопырив ноги в кирзовых сапогах. Освещенный светом подфарников, он казался неестественно громадным, насупленным, до крайности зловещим. Сбоку, возле костерка, все еще пахнущего подгорелым шашлыком из свежей сайгачатины, стояли, поеживаясь, Гам-

лет-Галкин и Абориген-Узюкбай. Они уже были изрядно под хмельком и оттого в ожидании оберовского суда над Авдием нелепо улыбались, о чем-то шушукались, подталкивая друг друга и перемигиваясь.

— Ну что? — изрек наконец Обер, презрительно взглянув на Авдия, стоящего перед ним на коленях. — Ты подумал?

— Развяжите руки, — сказал Авдий.

— Руки? А почему они у тебя связаны, ты об этом подумал? Ведь руки связывают только мятежникам, заговорщикам, бунтарям, нарушителям порядка и дисциплины! Нарушителям порядка, слышал? Нарушителям порядка!

Авдий молчал.

— Ну ладно, попробуем развязать тебе руки, посмотрим, как ты поведешь себя, — смилостивился Обер. — А ну развяжите ему руки, — приказал он, — они ему сейчас будут нужны.

— И на хрена, бля, развязывать, — недовольно бурчал Мишаш, разматывая веревку за спиной Авдия. — Таких надо, как щенят, топить сразу. Таких надо в три погибели гнуть, в землю вгонять.

Только теперь, когда его развязали, Авдий почувствовал, как затекли у него плечи и руки.

— Ну что, просьбу твою мы выполнили, — ска-

зал Обер-Кандалов. — У тебя есть еще шанс. А для начала на, выпей! — И он протянул Авдию стакан водки.

— Нет, пить я не буду, — наотрез отказался Авдий.

— Да подавись ты, шваль! — Резким движением Обер выплеснул содержимое стакана прямо в лицо Авдию. Тот, от неожиданности чуть не захлебнулся, вскочил. Но Мишаш и Кепа снова навалились, придавили Авдия к земле.

— Врешь, бля, будешь пить! — рычал Мишаш. — Я ж говорил, таких топить надо! А ну, Обер, налей-ка еще водки. Я ему в глотку залью, а не будет пить, прибью, как собаку.

Края стакана, хрустнувшего в руке Мишаша, порезали Авдию лицо. Захлебнувшись водкой и собственной кровью, Авдий вывернулся, стал отбиваться руками и ногами от Мишаша и Кепы.

— Ребята, не надо, бог с ним, пусть не пьет, сами выпьем! — жалобно скулил Гамлет-Галкин, бегая вокруг дерущихся. Абориген-Узюкбай юркнул за угол машины и испуганно выглядывал оттуда, не зная, как быть: то ли остаться на месте — водки вон сколько еще не допили, — то ли бежать от беды подальше… И только Обер-Кандалов, восседая на своем ящике, как на троне, точно за цирковым

представлением следил.

Гамлет-Галкин подскочил к Оберу:

— Останови их, Обер, дорогой, ведь убьют — под суд пойдем!

— Под суд! — высокомерно хмыкнул Обер. — Какой еще тебе суд в Моюнкумах? Я здесь суд! Поди потом докажи, как и что. Да, может, его волки задрали. Кто видел, кто докажет?

Авдий потерял сознание, упал им под ноги, и они принялись пинать его сапогами. Последняя мысль Авдия была об Инге: что будет с ней, ведь никто и никогда не сможет полюбить ее так, как он.

Он уже не слышал ничего, в глазах у него помутилось, и ему почему-то привиделась серая волчица. Та самая, которая тем жарким летом перепрыгнула через него в конопляной степи…

— Спаси меня, волчица, — вдруг вырвалось у Авдия. Он точно бы интуитивно почувствовал, что волки, Акбара и Ташчайнар, сейчас приближаются к своему логову, занятому в ту ночь людьми. Зверей тянуло к привычному ночлегу, вот почему они возвратились, надеясь, вероятно, что люди уже покинули их лощину и отправились куда-нибудь подальше…

Но громада грузовика по-прежнему устра-

шающе темнела все на том же месте — оттуда доносились крики, возня, звук тупых ударов…

И снова волкам пришлось повернуть в степь. Измученные, неприкаянные, они удалялись вслепую, куда глаза глядят… Не было им жизни от людей ни днем ни ночью… И медленно брели они, и луна освещала их темные силуэты с поджатыми хвостами…

А суд, вернее самосуд, продолжался… Пьяные в дым облавщики не замечали, что подсудимый Авдий Каллистратов, когда его в очередной раз сбивали кулаками, почти не пытался вставать.

— А ну, вставай, поповская морда, — понуждали его крепкими пинками и матом то Мишаш, то Кепа, но Авдий лишь тихо стонал. Рассвирепевший Обер-Кандалов схватил обвисшего, как мешок, Авдия, поднял над землей и, держа за шиворот, стал выговаривать, еще больше стервенея от своих слов:

— Так ты нас, сволочь, богом решил устрашить, страху на нас нагнать, глаза нам богом колоть захотел, гад ты этакий! Нас богом не запугаешь — не на тех нарвался, сука. А сам-то ты кто? Мы здесь задание государственное выполняем, а ты против плана, сука, против области, значит, ты — сволочь, враг народа, враг народа и государ-

ства. А таким врагам, вредителям и диверсантам нет места на земле! Это еще Сталин сказал: «Кто не с нами, тот против нас». Врагов народа надо изничтожать под корень! Никаких поблажек! Если враг не сдается, его уничтожают к такой-то матери. А в армии за такую агитацию дают вышку — и разец! Чтоб чисто было на нашей земле от всякой нечисти. А ты, крыса церковная, чем занимался? Саботажем! Срывал задание! Под монастырь хотел нас подвести. Да я тебя придушу, выродка, как врага народа, и мне только спасибо скажут, потому как ты агент империализма, гад! Думаешь, Сталина нет, так управы на тебя не найдется? Ты, тварь поповская, становись сейчас на колени. Я сейчас твоя власть — отрекись от Бога своего, а иначе конец тебе, сволочь эдакая!

Авдий не удержался на коленях, упал. Его подняли.

— Отвечай, гад, — орал Обер-Кандалов. — Отрекись от бога! Скажи, что бога нет!

— Есть Бог! — слабо простонал Авдий.

— Вот оно как! — как ошпаренный заорал Мишаш. — Я ж говорил, бля, ты ему одно, а он тебе в отместку другое!

Задохнувшись от злобы, Обер-Кандалов снова затряс Авдия за шиворот.

— Знай, боголюбец, мы сейчас тебе устроим такой концерт, век не забудешь! А ну тащите его вон на то дерево, подвесим его, подвесим гада! — кричал Обер-Кандалов. — А под ногами костерок разведем. Пусть подпалится!

И Авдия дружно поволокли к корявому саксаулу, раскинувшемуся на краю лощины.

— Веревки тащи! — приказал Обер-Кандалов Кепе. Тот кинулся к кабине.

— Эй вы там! Узюкбай, хозяин страны, мать твою перетак, и ты, как тебя там, артист дерьмовый, вы чего в стороне стоите, а? А ну набегай, наваливайся! А нет, и нюхнуть водки не дам! — припугнул Обер-Кандалов жалких пьянчуг, и те сломя голову бросились подвешивать несчастного Авдия.

Хулиганская затея вдруг обрела зловещий смысл. Дурной фарс грозил обернуться судом линча.

— Одно, бля, плохо — креста и гвоздей не хватает в этой поганой степи! Вот, бля, беда, — сокрушался Мишаш, с треском обламывая сучья саксаула. — То-то было бы дело! Распять бы его!

— А ни хрена, мы его веревками прикрутим! Не хуже чем на гвоздях висеть будет! — нашел выход из положения Обер-Кандалов. — Растянем

за руки и за ноги, как лягушку, да так прикрутим, что не дрыгнется! Пусть повисит до утра, пусть подумает, есть бог или нет! Я с ним такое воспитательное мероприятие проведу, до смерти запомнит, зараза поповская, где раки зимуют! Я и не таких в армии дрессировал! А ну навались, ребята, а ну хватай его! Поднимай вон на ту ветку, да повыше! Крути руку сюда, ногу туда!

Все произошло мгновенно, поскольку Авдий уже не мог сопротивляться. Привязанный к корявому саксаулу, прикрученный веревками по рукам и ногам, он повис, как освежеванная шкура, вывешенная для просушки. Авдий еще слышал брань и голоса, но уже как бы издали. Страдания отнимали все его силы. В животе, с того боку, где печень, нестерпимо жгло, в пояснице точно бы что-то лопнуло или оборвалось — такая была там боль. Силы медленно покидали Авдия. И то, что пьяные мучители тщетно пытались развести огонь у него под ногами, его уже не беспокоило. Все было ему безразлично. С костром, однако, ничего не получилось: отсыревшие от выпавшего накануне снега трава и сучья не желали гореть… А плеснуть бензина никому не пришло в голову. С них хватило и того, что Авдий Каллистратов висел, как пугало на огороде.

И вид его, напоминающий не то повешенного, не то распятого, очень всех оживил и взбудоражил. Особенно вдохновился Обер-Кандалов. Ему мерещились картины куда более действенные и захватывающие — что там один повешенный в степи!

— Так будет со всяким — зарубите это на носу! — грозил он, окидывая взглядом прикрученного к саксаулу Авдия. — Я бы каждого, кто не с нами, вздернул, да так, чтобы сразу язык набок. Всех бы перевешал, всех, кто против нас, и одной вереницей весь земной шар, как обручем, обхватил, и тогда б уж никто ни единому нашему слову не воспротивился, и все ходили бы по струнке… А ну пошли, комиссары, тяпнем еще разок, где наша не пропадала…

Поддакивая Оберу, они шумно двинулись к машине, а Обер затянул, видимо, одному ему известную песню:

Мы натянем галифе, сбоку кобура,
Раз-два, раз-два…

Разгоряченные «дружки комиссары» подхватили: «Раз-два, раз-два» — и, пустив по кругу еще пару поллитровок, распили их из горла.

Через некоторое время машина, вспыхнув

фарами, завелась, развернулась и медленно поползла прочь по степи. И сомкнулась тьма. И все стихло вокруг. И остался Авдий, привязанный к дереву, один во всем мире. В груди жгло, отбитое нутро терзала нестерпимая, помрачающая ум боль… И уходило сознание, как оседающий под воду островок при половодье.

«Мой островок на Оке… Кто же спасет тебя, Учитель?» — вспыхнула искрой и угасла его последняя мысль…

То подступали конечные воды жизни…

И привиделась его угасающему взору большая вода, бесконечная сплошная водная поверхность без конца и без края. Вода бесшумно бурлила, и по ней катили бесшумные белые волны, как поземка по полю, неизвестно откуда и неизвестно куда. Но на самом едва видимом краю того беззвучного моря смутно угадывалась над водой фигура человека, и Авдий узнал этого человека — то был его отец, дьякон Каллистратов. И вдруг послышался Авдию его собственный отроческий голос — голос читал вслух отцу его любимую молитву о затопленном корабле, как тогда дома в детстве, стоя возле старого пианино, но только теперь расстояние между ними было огромное, и отроческий голос звонко и вдохновенно разно-

сился над мировым пространством:

«Еще только светает в небе, и пока мир спит…

…Ты, Сострадающий, Благословенный, Правый, прости меня, что досаждаю тебе обращениями неотступными. В мольбе моей своекорыстия нет — я не прошу и толики благ земных и не молю о продлении дней своих. Лишь о спасении душ людских взывать не перестану. Ты, Всепрощающий, не оставляй в неведении нас, не позволяй нам оправданий искать себе в сомкнутости добра и зла на свете. Прозрение ниспошли людскому роду. А о себе не смею уст разомкнуть. Я не страшусь как должное принять любой исход — гореть ли мне в геенне или вступить в царство, которому несть конца. Тот жребий наш Тебе определять, Творец Невидимый и Необъятный…

Прошу лишь об одном, нет выше просьбы у меня…

Прошу лишь об одном, яви такое чудо: пусть тот корабль плывет все тем же курсом прежним изо дня в день, из ночи в ночь, покуда день и ночь сменяются определенным Тобою чередом в космическом вращении Земли. Пусть плывет он, корабль тот, при вахте неизменной, при навсегда зачехленных стволах из океана в океан, и чтобы волны бились о корму и слышался бы несмол-

каемый их мощный гул и грохот. Пусть брызги океана обдают его дождем свистящим, пусть дышит он той влагой горькой и летучей. Пусть слышит он гул машин и крики чаек, следующих за кораблем. И пусть корабль держит путь во светлый град на дальнем океанском бреге, хотя пристать к нему вовеки не дано… Аминь…».

Голос его постепенно утихал, все больше удалялся… И слышал Авдий свой плач над океаном…

И всю ночь в тиши над необъятной Моюнкумской саванной в полную силу лился яркий, ослепляющий лунный свет, высвечивая застывшую на саксауле распятую человеческую фигуру. Фигура чем-то напоминала большую птицу с раскинутыми крылами, устремившуюся ввысь, но подбитую и брошенную на ветки.

А в полутора километрах от этого места стоял в степи тот самый военного образца грузовик, крытый брезентом, в котором, учинив свое черное дело, спали вповалку на тушах сайгаков, в сивушной, изрыгнутой во сне блевотине обер-кандаловцы. И колыхался в воздухе густой надсадный храп. Они отъехали поодаль, чтобы оставить Авдия на ночь в одиночестве, — хотели проучить его: пусть почувствует, что он без них,

тогда уж наверняка отречется от Бога и преклонится перед силой…

Такое наказание Авдию изобрел бывший артист Гамлет-Галкин после того, как еще и еще приложился к горлу, когда пил водку как безвкусную мертвую воду. Эту идею Гамлет-Галкин высказал, желая угодить Обер-Кандалову, — пусть, мол, боголюбец натерпится страху. Пусть подумает: мол, вздернули-прикрутили и уехали насовсем. Ему бы вдогонку кинуться, но не тут-то было!

Утром, когда уже начало рассветать, волки осторожно приблизились к месту своего бывшего логова. Впереди шла Акбара, за ночь ее бока опали, провалились, за ней угрюмо прихрамывал башкастый Ташчайнар. На старом месте было пусто, люди за ночь куда-то исчезли. Но звери ступали по этой земле, если применимо к ней такое сравнение, как по минному полю, с чрезвычайной осторожностью. На каждом шагу они натыкались на нечто враждебное, чуждое: угасший костер, пустые банки, битое стекло, резкий запах резины и железа, застрявший в колеях, оставленных грузовиком, и везде все еще источавшие сивушное зловоние распитые бутылки. Собираясь навсегда покинуть это за-

гаженное место, волки пошли краем лощины, как вдруг Акбара резко отпрянула и замерла на месте как вкопанная — человек! В двух шагах от нее на саксауле, раскинув руки и свесив набок голову, висел человек. Акбара кинулась в кусты, следом за ней Ташчайнар. Человек на дереве не шевелился. Ветерок посвистывал в сучьях, шевелил волосы на его белом лбу. Акбара прижалась к земле, напряглась подобно пружине, изготовилась к прыжку. Перед ней был человек, существо, страшней которого нет, виновник их волчьих бед, непримиримый враг. Наливаясь чудовищной злобой, Акбара в ярости слегка подалась назад, чтобы взметнуться и броситься в рывке на человека, вонзить клыки в его горло. И в ту решающую секунду волчица вдруг узнала этого человека. Но где она его видела? Да это же тот самый чудак, с которым она уже встречалась летом, когда они всем выводком отправились дышать пахучими травами. И припомнились Акбаре в то мгновение и летний день, и то, как играли ее волчата с этим человеком, и то, как пощадила она его и перепрыгнула через него, когда он со страху присел на землю, закрывая руками голову. Припомнилось ошеломленное выражение его испуганных глаз и то, как он,

голокожий и беззащитный, кинулся прочь…

Теперь этот человек странно висел на низкорослом саксауле, точно птица, застрявшая в ветках, и непонятно было волчице, жив он или мертв. Человек не шевелился, не издавал ни звука, голова его свесилась набок, и из угла рта сочилась тонкая струйка крови. Ташчайнар собрался было броситься на висевшего человека, но Акбара оттолкнула его. И, приблизившись, пристально вгляделась в черты распятого и тихо заскулила: ведь все те, летошние ее волчата погибли. И вся жизнь в Моюнкумах пошла прахом. И не перед кем было ей лить слезы… Этот человек ничем не мог ей помочь, конец его был уже близок, но тепло жизни еще сохранялось в нем. Человек с трудом приоткрыл веки и тихо прошептал, обращаясь к поскуливавшей волчице:

— Ты пришла… — И голова его безвольно упала вниз.

То были его последние слова.

В эту минуту послышался шум мотора — в степи показался грузовик военного образца. Машина наезжала, вырастая в размерах и тускло поблескивая обтекаемыми стеклами кабины. Это возвращались на место преступления обер-кандаловцы…

И волки не задерживаясь потрусили дальше и пошли, и пошли, все больше прибавляя ходу. Уходили не оглядываясь — моюнкумские волки покидали Моюнкумы, великую саванну, навсегда…

* * *

Целый год жизни Акбара и Ташчайнар провели в приалдашских камышах. Там родился у них самый большой выводок — пятеро волчат, вот какой был помет! Волчата уже подрастали, когда зверей опять постигло несчастье — загорелись камыши. В этих местах строились подъездные пути к открытой горнорудной разработке — возникла необходимость выжечь камыши. И на многих сотнях и тысячах гектаров вокруг озера Алдаш подверглись уничтожению древние камыши. После войны в этих местах были открыты крупные залежи редкого сырья. И вот в свой черед разворачивался в степи еще один гигантский безымянный почтовый ящик. А что в таком случае камыши, когда гибель самого озера, пусть и уникального, никого не остановит, если речь идет о дефицитном сырье. Ради этого можно выпотрошить земной шар, как тыкву.

Вначале над камышовыми джунглями летали

на бреющем полете самолеты, разбрызгивая с воздуха какую-то горючую смесь, чтобы камыши в нужный миг враз занялись пламенем.

Пожару дали старт посреди ночи. Обработанные воспламеняющимся веществом, камыши вспыхивали как порох, во много раз сильнее и мощнее, чем густой лес. Пламя выбрасывалось до небес, и дым застилал степь так, как туман застилает землю в зимнюю пору.

Едва только потянуло гарью и запылал в разных концах огонь, как волки заметались в камышах, пытаясь спасти волчат. Перетаскивали их в зубах то в одно, то в другое место. И началось светопреставление в приалдашских зарослях. Птицы летали над озером тучами, оглашая степь на много верст вокруг пронзительными криками. Все, что веками жило в камышах начиная от кабанов и кончая змеями, впало в панику — в камышовых чащобах заметались все твари. Та же судьба постигла и волков: огонь обступил их со всех сторон, спастись можно было только вплавь. И, бросив троих волчат в огне, Акбара и Ташчайнар, держа двух других в зубах, попытались спасти их вплавь через залив. Когда наконец волки выбрались на противоположный берег, оказалось, что оба щенка, как ни старались волки держать их

повыше, захлебнулись.

И опять Акбаре и Ташчайнару пришлось уходить в новые края. На этот раз их путь лежал в горы. Инстинкт подсказывал волкам, что горы теперь единственное место на земле, где они смогут выжить.

Волки шли долго, оставив позади дымящиеся, застилающие горизонт пожары, содеянные людьми. Шли через Курдайское нагорье, несколько раз им пришлось пересекать ночью большие автотрассы, по которым мчались машины с горящими фарами, и ничего страшнее этих стремительно бегущих огней не было в их походе. После Курдая волчья пара перешла в Ак-Тюзские горы, но и тут им показалось небезопасно, и они решили уйти еще дальше. Преодолев Ак-Тюзский перевал, волки попали в Прииссыккульскую котловину. Дальше идти было некуда. Впереди лежало море…

И здесь Акбара и Ташчайнар еще раз заново начали свою жизнь…

И опять народились волчата — на этот раз появилось на свет четыре детеныша.

То была последняя, отчаянная попытка продолжить свой род.

И там, на Иссык-Куле, завершилась страшной

трагедией эта история волков...

Часть третья

I

Люди ищут судьбу, а судьба — людей… И катится жизнь по тому кругу… И если верно, что судьба всегда норовит попасть в свою цель, то так оно случилось и на этот раз. Все произошло на редкость просто и оттого неотвратимо, как рок…

Надо же было Базарбаю Нойгутову подрядиться в тот день к геологам проводником. Базарбай и знать не знал, что геологам потребуется провожатый, геологи сами его разыскали, сами предложили.

Добрались они сюда, в Таман, по тракторной колее, по которой подвозят корма для овец.

— Почему это место называется Таман? — спросил один из них.

— А что такое?

— Да так, любопытно…

— Таман — это подошва. Видишь, вот подошва сапога. А здесь подошва гор, потому и называется Таман.

— Вот оно что! Значит, отсюда и Тамань и знаменитая Таманская дивизия!

— Этого не скажу, браток. Про то генералы знают. А наше дело, сам понимаешь, пастушье.

Так вот, значит, добрались геологи до Тамана, а дальше, заявляют, путь им известен только по карте, поэтому лучше будет, если их проводит по горам кто-нибудь из местных. Отчего бы и нет! Тем более не бесплатно. Всего и делов-то — провести четырех мужиков со вьюком в ущелье Ачы-Таш, там они, геологи эти, вроде пробы какие-то будут брать, известное дело, на золото — они одно золото и ищут. А если найдут, то большие премиальные за то получают. Ну это, допустим, их забота, а самому Базарбаю предстояло к вечеру вернуться в таманскую кошару, где он зимовал со своей отарой. Вот и все дела.

А парни оказались насчет денег совсем не кумекающие, даром что городские, и стоило Базарбаю заартачиться: некогда, дескать, мне в провожатых ходить, того и гляди начальство совхозное нагрянет, вам-то что, а с меня спрос, где, скажут, старший чабан Базарбай Нойгутов, почему отлучается, когда скотная кампания на носу, кто тогда будет отвечать? — тут братцы эти сразу накинули, пообещали четвертной. Вот дурни! А чего с ними цацкаться — деньги казенные, казна не обеднеет. Сами небось так и норовят прихватить деньгу, где что плохо лежит. Так пусть платят. А Базарбаю проводить геологов

до места раз плюнуть — сел верхом да и поехал. Он и так чуть не через день мотается по своим и нужным и не нужным делам, особенно если где свадьба или поминки, где выпивкой пахнет. А когда за зарплатой в совхозную контору уезжает, вся бригада: и пастух, и двое подпасков, и ночник, и особенно жена (она тоже числится в рабочих), а в расплодную и помощники-сакманщики — все переживают. Приезжает Базарбай ночью вдрызг пьяный, на коне еле держится, а ведь деньги людям везет. И никак жена-подлюга нажаловалась директору совхоза: вот уж месяца три как кассир Боронбай сам стал привозить в кошару получку. Говорит, по закону положено, чтобы каждый самолично расписывался в ведомости. Ну и пусть его ездит, если охота…

А тут четвертной, почитай, дуриком сам в карман лезет. Правда, тропа в Ачы-Таше каменистая, а где и такая обрывистая, что аж дух захватывает, недолго и шею свернуть, что ж, горы на то и горы, это тебе не по стадиону бегать кругами да еще медаль за это на шею. А чему удивляться — справедливости как не было в мире никакой, так и нет — ты тут зимой и летом в горах, ни тебе асфальта, ни тебе водопровода, ни света электрического, вот и живи как хочешь, ходи круглый год

за овцами по вонючему назьму, а там шустрик эдакий в тапках белых пробежится резвенько по стадиону или гол забьет в ворота — и самому удовольствие, и народ на стадионе с ума сходит от радости, и слава тому шустрику, и в газетах везде и повсюду о нем пишут, а кто горбатится с утра до вечера, без выходных, без отпусков, тому едва на прокорм хватает. Ну выпьешь с досады, так тоже потом жена заест, и сам не рад. А ведь приплод дай, чтобы ни одна матка яловой не осталась, привес дай, шерсть тонкорунную дай, все грозились синтетику найти вместо руна, только где она, эта синтетика, а как стрижка, так сто контролеров налетят, точно стервятники, и выметают подчистую — до последней шерстинки им все отдай. На валюту, мол, нужна тонкорунная шерсть… Сильно нужна, видать, им эта валюта… И все это как в прорву уходит. Пропади оно все пропадом — и овцы, и люди, и вся эта жизнь постылая…

Такие невеселые думы одолевали Базарбая в пути. Потому он всю дорогу помалкивал, лишь изредка оборачивался к едущим позади геологам — предупреждал, где какая опасность… Муторно было на душе. И все из-за подлюги бабы… Вот ведь зараза! Обязательно встрянет — обязательно ей

хай поднять надо. Раскричалась и в этот раз, да еще при посторонних. А не то дурнота подступит. И вот так вся жизнь кувырком идет! Недаром говорили исстари: жена ночью кошкой ластится, а днем — змеей. Надо же! Разоралась! Тебе бы, говорит, только куда смотаться, и зачем они тебе сдались, эти геологи, тут дел невпроворот, овцы пошли плодиться, малышня висит на шее, старшие в интернате совсем хулиганами заделались, а как на каникулы приедут, им бы все жрать, хоть лопни, да подай, а помощи от них никакой, курят как опупелые, да поди еще и водку хлещут, кому за ними в интернате следить, директор — пьяница, а и дома с кого им пример брать? Ты сам только и норовишь куда закатиться, тебе только где бы выпить. Хорошо еще конь сам довозит, не то давно бы околел спьяну где-нибудь на дороге…

И вот ведь паскуда! Сколько бил-учил, всю жизнь в синяках ходит, оттого и прозвали ее Кок Турсун — Сизая Турсун, а попридержать язык свой поганый все ума не хватает.

И в этот раз, подлюга, раскричалась при геологах некстати. А ведь сколько раз, бывало, душил так, что глаза выкатывались! После давала слово не перечить, да где там! Но он нашел способ

заткнуть ей глотку. Позвал в дом вроде для разговора, а как вошла, притиснул молчком к стене, лицом к лицу — из нее и дух вон; тут он и разглядел в потухшем уже, посиневшем, морщинистом лице жены, в помутневших от страха глазах всю тоску и безотрадность прожитых лет, все неудачи и злобу на жизнь прочел он в ее помертвевшем взоре, в поползшем на сторону беззубом черном рте, и противен он стал самому себе и прошипел грозно:

— У, сука, попробуй у меня вякни еще, раздавлю, как гниду! — И отшвырнул в сторону.

Жена молча подхватила ведра и, хлопнув дверью, пошла во двор. А он перевел дух, вышел, сел на коня и двинулся с геологами в путь…

Хорошо еще конь добрый — единственная его отрада, хороший конек, из коннозаводских, какой-то чудак выбраковал его за масть, не разберешь, какой он из себя — то ли гнедой, то ли бурый. Да разве в том дело? Резвый конек, по горам сам знает, куда ступать, и, главное, выносливый, ну что твой волк. Все время под седлом, а с тела не спал. Что и говорить, конь у него хорош, пожалуй, ни у кого из окрестных чабанов такого коняги не найдешь, разве что у Бостона, у этого передовика совхозного, ну и тип, редкий, надо

сказать, скаред, всю жизнь почему-то недолюбливают они друг друга, так вот у него конек что надо и масти нарядной, золотистый дончак, Донкулюком прозывается. Повезло Бостону. Холит коня Бостон, а как иначе — должен на коне выглядеть молодцом, теперь у него жена молодая, вдова Эрназара, того самого, который года три назад провалился в расщелину во льдах на перевале Ала-Монгю да так и остался там…

В горы большей частью двигались гуськом и потому молчали, да и настроение у Базарбая после скандала с женой не очень-то располагало к разговорам. Так и ехали. Зима была уже на исходе. Оказывается, на бокогреях — солнечных склонах, доверчиво обнажившихся из-под снега, — попахивало уже весной. Тихо и ясно было в тот час на земле. На противоположной стороне перламутрово синеющего в низине великого горного озера уже высоко поднялось над горами полуденное солнце.

Вскоре Базарбай привел геологов в горловину ущелья — и вот в последний раз мелькнуло перед взором чистое зеркало Иссык-Куля, и вот уже обзор позади скрылся за горами. Угрюмо нависая над головой, сплошь пошли скальные кручи. Кругом камень, дикое безлюдье, и чего они тут

выискивать будут? — недоумевал Базарбай, поглядывая по сторонам. Он решил, как только доведет геологов до места, сразу же возвращаться. Ущелье Ачы-Таш не такое длинное, как соседнее, идущее параллельно ему ущелье с выходом к приозерью. Про себя он решил, что на обратном пути перевалит в Башатское ущелье. Там путь к дому покороче. Распрощавшись с геологами, так и сделал, но перед этим, положив в карман вожделенную двадцатипятирублевую бумажку, все-таки ввернул:

— Вы ведь, друзья, мужики вроде, — усмехнулся он, надменно поглаживая ус, — да и я не мальчонка, что ж, мне уезжать от вас с сухим горлом, что ли?

Базарбай и рассчитывал всего лишь на стаканчик, а они расщедрились на поллитровку — эдакую зеленоватую бутылочку производства местного пищепрома. На, мол, выпей дома! От такой нечаянной радости Базарбай вмиг повеселел. Засуетился, показал, где лучше разбить палатку, где нарубить колючек для костра, долго тряс руки, прощаясь с каждым по очереди, и не стал даже подкармливать коня овсом, что прихватил в переметной суме — курджуне. И так выдюжит, ему не впервой. Поскорее взгромоздился в седло и

двинулся в обратную дорогу. Как и задумал, вскоре нашел тропку и, перевалив полузаснеженную гряду, спустился в Башатское ущелье. Тут, в ущелье, по склонам рос негустой лес да и посветлее было — не так мрачно, как в Ачы-Таше, но, главное, много текло ручьев и родников, потому это место и называлось Башатским — Родниковым — ущельем.

Бутылочка в кармане дождевика поверх полушубка не давала ему покоя. Он то и дело поглаживал ее и все примерялся, где, возле какого ручья будет лучше приостановиться. Норму он свою знал — половину бутылки мог употребить, запить водой и ехать дальше. Для Базарбая в таких случаях главное было как-то сесть в седло, а там конь надежный, сам довезет. Многострадальная Кок Турсун правду говорила, что Базарбая черт под мышку держит — ни разу еще не падал с седла.

Но вот наконец приглянулся ему один ручей по пути, подмерзший, упоенно булькающий по камням под прозрачной кромкой хрупкого припая. Место показалось Базарбаю удобным. Кругом заросли тальника и барбариса, и снега немного, и коня можно напоить и подкормить. Он разнуздал лошадь, сдернул курджун с овсом с седла, распу-

стил завязку и подсунул развязанной стороной коню под морду. Конь захрустел овсом, зажевал, облегченно вздыхая, прикрывая глаза и как бы стряхивая с себя усталость. А Базарбай расположился поудобней на коряге возле воды, достал поллитровку, любуясь, посмотрел на свет, но ничего особого не увидел, разве что заметил — день уже шел к концу, тени в горах ложились косо, до заката солнца оставался час с лишним, если не меньше. Но торопиться Базарбаю было некуда. Предвкушая знакомое отупляющее действие водки, он не спеша откупорил толстым ногтем поллитру, понюхал, помотал головой, приложился к бутылке. Сделал судорожно несколько больших обжигающих глотков. Затем пригоршней зачерпнул из ручья воды и хлебнул вместе с обломками льда. Захрустел льдинками — аж в мозгу хруст отдался. Лицо Базарбая исказила безобразная гримаса, он хмыкнул, затем крякнул, прикрыл глаза, ожидая, когда дурман ударит в голову. Ждал того мгновенья, когда весь окружающий мир — горы, скалы — станет зыбким, поплывет как в тумане, взлетит, ждал, когда разгоряченной голове его почудятся смутные звуки и шумы, и замер, зажмурился, готовый отдаться опьянению. И в минуту расслабления

услышал где-то рядом невнятное поскуливание, как будто ребеночек захныкал, — что же это могло быть? Где-то там, за зарослями барбариса, за завалом камней, кто-то опять затявкал совсем по-щенячьи… Базарбай насторожился, еще раз машинально хлебнул из бутылки, затем отставил ее, прислонив к камню, крепко вытер губы и встал. Еще раз прислушался, напрягая слух. И смекнул: точно, он не ошибся. Какие-то зверята подавали голоса.

То было волчье логово, то поскуливали волчата Акбары и Ташчайнара, тоскуя из-за затянувшегося отсутствия родителей. После великого бегства из Моюнкумской саванны, после вынужденно холостого года, вслед за пожаром в приалдашских камышах то был не по сезону ранний помет — к весне у Акбары народилось четверо щенков.

А Базарбай уже шел к логову, высматривая лазы. Будь Базарбай трезвый, он, наверное, подумал бы прежде, стоит ли туда лезть. Не сразу отыскал он нору в расщелине. Выручил опыт — тщательно рассматривая снежный наст, он обнаружил четкую цепочку следов — понятное дело, соблюдая предосторожность, волки ступали все время по старым следам. Дальше Базарбай нашел в кустах среди завалов камней целое

кладбище обглоданных, полуизгрызенных костей. Значит, звери нередко притаскивали сюда часть добычи и не спеша доедали здесь. Судя по количеству мослов и сочленений, оставшихся от волчьих трапез, звери жили здесь давно. Теперь отыскать ход в логово не составляло труда. Трудно сказать, почему Базарбай не побоялся лезть в расщелину, где могли оказаться и взрослые звери. Но проголодавшиеся несмышлеными, все время поскуливая, выдавали себя с головой и как бы звали к себе.

Знали бы сосунки, что не от хорошей жизни Акбара пошла в этот раз на охоту с Ташчайнаром — для волков наступили тяжкие предвесенние дни, когда вся живность отощала, когда наиболее слабые дикие козы и архары в окрестностях были уже выбиты, когда в ожидании приплода козьи стада ушли в труднодоступные скалы, а домашние отары по этой же причине содержались теперь только в закрытых кошарах. В этих условиях кормить молоком постоянно подсасывающий выводок было не так-то легко. Акбара отощала, была на себя не похожа — головастая, цыбастая, сосцы обвисли. Волки вообще-то исключительно выносливые звери — могут несколько дней подряд обходиться без пищи, но кормящая волчица

не может так ограничивать себя в еде. Жизнь вынуждала Акбару рисковать — идти на большую охоту, но если бы ей суждено было погибнуть, погибли бы и ее сосунки.

Ташчайнар, как всегда, следовал за ней. Им нужно было быстро обернуться — быстро выйти на добычу, быстро одолеть ее, быстро нажраться мяса, заглатывая пищу кусками, и быстро прибежать назад в логово переваривать пищу, для волчицы ведь главное — питать сосунков молоком.

В тот день путь оказался осклизлым на солнцепеках и жестким от зимней стылости в теневых местах. Однако волки, не сбавляя хода, напористым скоком шли по горам. В это время года, когда мелкая живность хоронится под землей, а до диких и домашних стад ие добраться, жизнь осложняется тем, что охотиться на крупных животных — на лошадей, на рогатый скот, на верблюдов — нельзя без напарника. Как ни могуч был Ташчайнар, ему не дотащить крупную добычу до логова. В последний раз, дня два тому назад, он загрыз осла, забредшего в предгорья. Ночью Акбара отлучилась из логова и нажралась ослиного мяса, но ведь не каждый день ослы бродят так беспечно по предгорьям. Обычно при

них бывают люди. Вот почему Акбара пошла на вылазку сама — насытиться на месте охоты.

Поначалу Акбара чувствовала себя неуверенно, все тревожилась, раз-другой даже хотела вернуться с пути — беспокоилась за волчат: ведь им постоянно требуется и тепло и молоко, — но пересилила себя, заставила забыть на время о логове. А когда уже у приозерной зоны вышли на след, охотничий инстинкт возобладал в ней над всем.

Акбаре и Ташчайнару повезло: идя по свежему следу, они попали в обширную лощину, где одиноко паслись на отшибе три яка, должно быть, отбившихся от стада, — волки с ними уже имели дело год тому назад, и тоже по крайней нужде. Тогда им, пришлым волкам, ничего другого не оставалось, как брать то, что подвернется. А теперь времени было в обрез. Людей поблизости не оказалось, и волки, оглядевшись, открыто пошли в атаку. Завидев подбегающих волков, яки пустились в бегство, неуклюже взбрыкивая и ревя, но волки настигали, и яки остановились — бока у них ходили ходуном — и пошли рогами на волков. Другого выхода у них не было. На какое-то мгновение в мире воцарилось изначальное равновесие: солнце в небе, пустынные горы, полная тишина, отсутствие людей в равной мере

принадлежали как жвачным, так и хищникам. Жвачные хотели избежать столкновения, но хищники не могли просто так повернуться и уйти, не могли забыть о терзавшем их голоде. Они неминуемо должны были вступить в борьбу и загрызть хотя бы одного из яков, чтобы выжить самим и дать жизнь потомству. Яки были не крупные, но и не мелкие, средней упитанности, к концу зимы обросшие косматой шерстью. И эти быки с конскими хвостами поняли неизбежность борьбы. В страхе и злобе они опустили головы к земле, глухо мыча и роя копытами землю. А в небе по-прежнему светило солнце, и горы, где уже начал таять снег, безмолвно обступали открытую желтую лощину, где лицом к лицу встретились травоядные и плотоядные. Волки кругами ходили около яков, перемещались прыжками, выжидая удобный момент. Времени у Акбары было в обрез — волчата ждали ее возвращения. И она кинулась первая, рискуя собой, к тому яку, которого сочла послабее. Глаза яка были налиты кровью, и все же Акбара разгадала в его взгляде неуверенность, хотя она могла и ошибиться. Но раздумывать было уже поздно. Акбара кинулась яку на шею. Дело решали секунды. Пока взбешенный як, тряся головой, пытался скинуть волчицу,

чтобы пригвоздить ее рогами к земле, Ташчайнар должен был подскочить с другого боку, впиться яку клыками в горло, да так, чтобы с ходу рассечь ему шейные артерии, пустить кровь, вывести из строя мозг.

Так оно и случилось. Но перед этим як все же успел сбросить Акбару, прижать ее к земле и теперь ревел и подкидывал ее рогами — еще бы чуть-чуть, и он окончательно раздавил и затоптал бы ее, но Акбара выскользнула из-под рогов, как змея, и снова прыгнула на голову яка, вгрызлась в его крепкий загривок, поросший жесткой, режущей пасть, как осока, шерстью. В этом нападении проявилась ее жестокая волчья сущность, сказалось жестокое волчье предназначение — убить, чтобы жить. Но тут ей попалась жертва не из безобидных — не сайгак и не заяц, безропотно покоряющиеся насилию. Свирепый як, хоть и истекал кровью, мог еще долго сопротивляться, а то и выйти победителем. И все-таки воссияла звезда — хранительница Акбары: почти в ту же минуту Ташчайнар бросился сбоку и вцепился в глотку яка, увлеченного схваткой с волчицей. Убийственный бросок, убийственная хватка были у Ташчайнара. В этот бросок он вложил всю свою силу. Як зашатался, захрипел, захлебываясь

собственной кровью, и рухнул с перерезанным горлом, мыча и содрогаясь. Глаза его стекленели. Пока шла битва, два других яка, оставшиеся в живых, пустились наутек, отбежав на приличное расстояние, перешли на шаг и не торопясь побрели дальше по лощине как ни в чем не бывало.

А волки кинулись терзать еще полуживого быка. Им некогда было ждать, пока добыча испустит дух. Некогда было разбираться, с какого конца ее поедать. Акбара рвала яку пах, помогая себе лапами и когтями, и тут же заглатывала куски еще горячего, живого мяса. Ей нужно было наглотаться как можно больше таких кусков и как можно быстрее отправиться назад к логову, где ее ждали малые волчата. Ташчайнар не отставал от нее. Свирепо урча, он сокрушал мощными челюстями сочленения суставов, раздирая тушу на бесформенные части, как варвар мясник.

Все шло как полагалось. Сначала звери нажрутся мяса, потом кинутся в путь, чтобы побыстрее добраться до логова, а ночью снова вернутся, чтобы еще раз наесться и оттащить оставшееся мясо куда-нибудь про запас, но это потом. А пока волки, давясь, глотали куски…

А в той расщелине под свесом скалы, где было логово, проголодавшиеся волчата поневоле по-

скуливали, сбивались клубком, чтобы согреться, расползались и снова собирались кучкой, и когда снаружи послышался шорох — это в логово вползал Базарбай, — они еще пуще заскулили и устремились на неверных ножках к выходу, чем очень облегчили человеку его задачу. Базарбай весь взопрел от напряжения. Он пробрался в тесный лаз ощупью, в одном пиджаке, полушубок скинул, похватал и, держа последнего, четвертого, пятерней за шиворот, выполз на свет. А когда выполз, зажмурился — так сверкали высокие горы. Вдохнул полной грудью воздух. Тишина стояла оглушающая. Он слышал лишь свое дыхание. Волчата за пазухой заелозили, а тот, которого он держал за шиворот, попытался высвободиться. Базарбай заторопился. Все так же тяжело дыша, он подхватил полушубок, рванулся к ручью, а уж дальше все пошло как по писаному. Четверых волчат, которых он решил похитить и продать, очень удобно будет поместить в курджун. В том, что сумеет продать их выгодно, он был более чем уверен: в прошлом году один чабан продал в зообазу целый выводок, за каждого волчонка огреб по полсотни.

Базарбай выхватил курджун с овсом из-под морды хрумкающего коня, быстро высыпал овес

на землю, сунул по паре волчат в каждую сумку, перебросил курджун через седло, подвязал его седельными ремнями, чтобы не болтался, взнуздал коня и не мешкая вдел ногу в стремя. Надо было убираться, пока не поздно. Вот это удача так удача! Но нужно унести ноги, пока не появились волки, — это Базарбай хорошо понимал. О недопитой бутылке с водкой, прислоненной к камню, он вспомнил, когда уже был в седле. Но и на водку плюнул. Бог с ней, он столько выручит за волчат, что купит не один десяток таких поллитровок. С тем и торопил коня. Надо было как можно скорее, пока не зашло солнце, выбраться из ущелья.

Потом Базарбай и сам будет удивляться, как это он не подумал, не поостерегся — у него ведь и оружия при себе не было — полезть в логово. А что, если бы волчица, а то и сам волк оказались поблизости… Ведь на что олениха смирная, а и та защищает своих детенышей — кидается на врага…

Но обо всем этом подумается ему позднее. И самому станет тошно, когда померещится расплата за содеянное. А в тот час он понукал гнедо-бурого коня, чтобы тот бежал побыстрее по каменистому дну Башатского ущелья, и все поглядывал на солнце, садящееся за спиной в глубине гор, откуда

как бы вдогонку надвигались ранние сумерки. Да, надо было поспешать, побыстрее выбираться в предгорья, к обширному приозерью — там места открытые, куда хочешь, туда и скачи — в любую сторону, не то что в тесном ущелье…

И чем ближе Базарбай был к приозерью, к обжитым просторам, тем уверенней и даже нахальнее становился он. Ему уже хотелось побахвалиться удачей, и он подумывал, а не стоит ли по дороге завернуть к какому-нибудь чабану из своих собутыльников, чтобы показать добычу да обмыть ее, ну хотя бы по сто грамм за каждого из четверых — ведь он в долгу не останется, как только сбудет живой товар. Он начинал сожалеть, что впопыхах оставил у ручья недопитую чуть не на две трети поллитровку: ах, хватить бы на ходу прямо из горла… До чего ж хотелось ублажить себя! Но рассудок все-таки подсказывал, что с этим успеется, прежде надо довезти волчат в целости да покормить, они хоть и живучие, а все же сосунки, только-только прозрели, вон глаза-то какие неосмысленные… Как-то им там, в курджуне, как бы не подохли. Базарбай и не подозревал, что за ним уже гонится страшная погоня и что один бог знает, чем все это кончится…

Наевшись до отвала мясом убитого яка, волки

тропой возвращались в логово. Первой — Акбара, за ней Ташчайнар. И больше всего им хотелось добраться до волчат в норе под скалой, залечь с ними в круг, успокоиться, а потом, передохнув хорошенько, вернуться к недоеденной туше яка, оставленной в лощине.

Такова жизнь — туда успевай, сюда успевай, но потому ли говорят: волка ноги кормят… Если бы только ноги… Ведь на тушу могут позариться и другие волки — бывают такие, что им и на чужое нипочем посягнуть, и тогда без драки не обойтись, и нешуточной, кровопролитной драки. Но право есть право, и сила на стороне права…

Еще издали, еще на подступах к логову сердце Акбары почуяло что-то неладное. Точно какая-то птица летела рядом с ней подобно тени, что-то ужасное чувствовалось ей в свете предзакатного солнца. Тревожный багровый отсвет на снежных вершинах становился все темней и мрачней. И с приближением к логову она убыстрила бег — на Ташчайнара и не оглядывалась, наконец и вовсе понеслась вскачь, охваченная необъяснимым предчувствием. И тут тревога пронзила ее еще острей, она уловила в воздухе чужой запах: пахло крепким конским потом и еще чем-то отвратительно дурманным. Что это? Отчего бы

это? Волчица кинулась через ручей, через лазы в кустах к расщелине под свесом скалы, юркнула в логово, вначале замерла, затем зафыркала, как охотничья собака, обнюхивая все углы опустевшего и осиротевшего гнезда, метнулась вон и, столкнувшись у выхода с Ташчайнаром, мимоходом злобно задрала его, точно он был виноват, точно он был враг, а не отец и не волк-супруг. Ни в чем не повинный Ташчайнар, в свою очередь, ринулся в логово и нагнал волчицу уже на берегу ручья. Акбара, вынюхивая следы, вне себя бегала взад-вперед, узнавая по ним о случившемся. Кто-то здесь был, свежие следы говорили ей о совсем недавнем пребывании человека — вот куча рассыпанного овса, отдающего конской слюной, вот куча лошадиного навоза, а вот и нечто в бутылке, дурманное, отвратительное по запаху, и волчица содрогнулась, втянув в себя запах спиртного, а вот следы человека на снегу. Следы кирзовых сапог. В таких сапогах ходят чабаны. Страшный враг, прибывший сюда на коне с каким-то омерзительным жидким веществом в бутылке, опустошил гнездо, похитил детенышей! А что, если он их сожрал! И снова Акбара бросилась на ни в чем не повинного Ташчайнара, кусала его как бешеная, затем, глухо рыча, бросилась бежать туда, куда

уводили следы. Ташчайнар — за ней.

Волки безошибочно шли по следу — все вперед и вперед, к выходу из ущелья, все вперед и вперед — туда, в людскую сторону, к приозерью вели следы…

А Базарбай, миновав ущелье, ехал рысцой уже по открытой местности, по отлогим взгорьям, где простирались летние выпасы, и вот уже завиднелся вдали темнеющий край озера. Еще часок — и он дома. Солнце тем временем село на самый край земли, улеглось между горными вершинами и меркло, догорая. Студеным ветерком потянуло со стороны Иссык-Куля. «Как бы звереныши не померзли», — подумал Базарбай, но завернуть их было не во что, и он решил посмотреть, как там они, в курджуне, живы ли. А то привезешь мертвяков — кому они нужны! Он спешился, хотел развязать седельные ремни, чтобы снять сумку да поглядеть, что там, но конь стал мочиться, расставив ноги, разбрызгивая мочу. И вдруг, круто остановив обильную струю, дико храпя, шарахнулся в сторону, едва не вырвав поводья из рук Базарбая.

— Стой! — заорал Базарбай на коня. — Не балуй!

Но конь, точно от огня, испуганно метнулся

сторону. И тут Базарбай и не глядя догадался, в чем дело. Спиной, вмиг похолодевшей, он почуял набегающих волков. Базарбай рванулся к коню и едва схватился за гриву, как лошадь, храпя и взбрыкивая, бешено понеслась. Пригнувшись от ветра, Базарбай оглядывался по сторонам. Пара волков бежала неподалеку. Оказывается, конь давеча перепугался, когда звери с разбега выскочили на бугор. И теперь волки старались выйти ему наперерез. Базарбай взмолился, вспомнил богов, которым в другие дни, бывало, плевал в бороды. Поносил геологов, свалившихся как снег на голову: «Чтоб вам подавиться тем золотом!» Каялся, просил прощения у жены: «Вот тебе слово! Останусь в живых, никогда пальцем не трону!» Жалел, что позарился на волчат: «И зачем надо было трогать, зачем полез в ту дыру? Стукнул бы о камень башкой одного за другим — и делу конец, а теперь куда их, куда?» Сумка накрепко привязана седельными ремнями — на ходу не выкинешь. А тут еще стало быстро смеркаться, сумерки растеклись, заполнили безлюдные пространства — никому нет дела до его страшной участи. Только верный конь мчит во весь опор, обезумев от страха.

Но больше всего сожалел Базарбай, что не было

при нем ружья — уж он бы им влепил по пуле, уж он бы не промахнулся. Эка невидаль ружье, у каждого чабана оно дома есть, но кто ж его постоянно носит с собой! Эх, кабы знать! Базарбай орал что есть мочи, чтобы застращать зверей. Вся его надежда была на коня — хорошо, что он из коннозаводских…

Гонка была не на жизнь, а на смерть…

Так они мчались по сумеречным взгорьям — всадник на коне с похищенными волчатами в переметной суме, а за ним Акбара и Ташчайнар. А волки, учуяв запах похищенных детенышей, о своем молились, о своем сокрушались. Если б конь споткнулся хоть раз, хоть на одно мгновение! Если бы они не нажрались до этого бычьего мяса до отвала, разве так бы они бежали, разве не настигли бы уже похитителя и не разнесли бы с ходу в клочья, чтобы кровавым возмездием утвердить справедливость в извечно жестокой борьбе за продление рода. То ли дело в Моюнкумских степях во время облавы на сайгаков, когда вдруг в стремительном беге волки нажимали еще сильнее, чтобы завернуть уходящую добычу в нужную сторону. Но на облаву волки выходили натощак, заранее готовясь к молниеносному броску.

Особенно трудно было бежать Акбаре, наевшейся про запас, чтобы кормить детенышей. Но и она не сдавалась, мчалась что есть сил, и если бы ей удалось настичь верхового, ни секунды не колеблясь, ринулась бы в схватку, чем бы это для нее ни кончилось. Разумеется, рядом с ней был Ташчайнар, несокрушимая сила и опора, но ведь умирает каждый за себя… А она готова была принять любую смерть, только бы достичь, только бы догнать этого человека на резвом коне… только бы…

И хотя конь под Базарбаем был резвый, он с ужасом заметил, что волчья пара медленно, но верно настигает его сбоку, с правой стороны, отрезая ему путь к приозерью. Коварные звери намеревались повернуть всадника, загнать в горы — и тогда он неминуемо рано или поздно встретится с ними лицом к лицу. Так и выходило — вне себя от страха, конь все время норовил податься от набегающих справа волков в сторону гор. Однако конем управлял человек, мыслящее существо, способное разгадать их маневр, и в этом заключался просчет зверей.

И еще одно обстоятельство спасло Базарбая. Когда благодареньем судьбы впереди завиднелись огни ближайшей кошары, это — вот уж

повезло так повезло! — оказалась кошара Бостона Уркунчиева. Да-да, того самого Бостона, передовика-кулака, которого он так невзлюбил. Но сейчас ему было не до того, кто кому нравится или не нравится, — какая разница, любая живая душа была ему сейчас желанна, как своя жизнь. Главное, человеческое жилье встретилось на пути — вот в чем радость, вот в чем спасение! И он возликовал, пришпорил коня каблуками, и конь с новой силой понесся туда, где были люди, отары. Однако для Базарбая прошла целая вечность, прежде чем он осмелился сказать себе, что может надеяться на благополучный исход, но вот уже затарахтел, как пулемет, Бостонов электродвижок, вот уже переполошились чабанские псы и с тревожным лаем кинулись ему навстречу. Впрочем, и волки не отставали — они надвигались все ближе и ближе, конь выбивался из сил, и до Базарбая уже доносилось запаленное дыхание зверей. «О боже Баубедин, только спаси, — взмолился Базарбай, — принесу тебе семь голов скота в жертву!»

«Спасся-таки! Спасся!» — ликовал Базарбай.

Конечно, не пройдет и часа, как он забудет о своих обещаниях, так уж устроен человек…

Но в тот момент, когда к нему подбежали ча-

баны, он буквально свалился к ним на руки, то и дело повторяя:

— Волки, волки за мной гнались! Воды, воды дайте!

А волки, судя по всему, кружили где-то рядом, не уходили, выжидали, упорствовали. На бостоновском зимнике поднялся переполох — пастухи забегали, закрывали двери загонов, перекрикивались в наступившей тьме, один из них залез на крышу, дал из ружья несколько залпов. Собаки подняли громкий несмолкающий лай, но со двора не выбегали. Держались поближе к свету. Трусость псов возмущала хозяев.

— Ату его! Взять! Да это не волкодавы, а дерьмодавы! — науськивал кто-то псов хриплым голосом. — А ну вперед! Акташ, Жолбарс, Жайсан, Барпалан! Вперед! Ату, ату его! Эх вы, хвосты поджали, боитесь схватиться с волками!

— Собака есть собака, — возражал ему другой голос. — Чего разорался? Верхового они могут стянуть с седла за сапог, а с волком им не совладать! Что ты хочешь! Против волка ни одна собака не пойдет. Оставь их, пусть себе лают!

Но не сразу, совсем не сразу вспомнил Базарбай, почему за ним гонятся волки. Только когда парень, которому было ведено прохаживать Ба-

зарбаева коня, спросил вдруг: «Базарбай-байке, а что это у вас в курджуне? Вроде шевелится что-то», — тут он и спохватился.

— В курджуне? Да это же волчата! Черт бы их побрал, четыре щенка-болтюрука [2]. Взял их прямо из логова в Башате. Потому волки и гнались за мной.

— Вот оно что! Вот это здорово. Вот это огреб так огреб! Прямо из логова? Хорошо еще ноги унес…

— А не подохли они в курджуне? Не задохнулись, не подавились они там при скачке?

— Скажешь тоже! Что это, урюк, что ли? Они, брат, живучие, как собаки.

— Давай глянем! Какие они из себя?

Переметную суму с волчатами сняли наконец с седла и понесли в дом Бостона. Такое важное дело должно было произойти в доме Бостона, главного здесь человека, хозяина кошары, хотя самого Бостона в тот вечер не было дома: проходило очередное собрание в районе, и в очередной раз передовик Бостон Уркунчиев должен был сидеть в президиуме.

Базарбая повели в Бостонов дом чуть ли не как героя, и ему ничего не оставалось, как покорить-

---

[2] Примечания: 2
Болтюрук — волчонок-сосунок.

ся. В конце концов, так он оказался здесь пусть ненароком, но гостем. Нельзя сказать, что прежде Базарбай не переступал порога этого дома. За многие годы, что он чабанил по соседству с Бостоном, километрах в семи отсюда, Базарбай побывал здесь раза три: первый раз, когда были поминки по пастуху Эрназару, провалившемуся в ледяную расщелину на перевале Ала-Монгю, во второй опять же приезжал на похороны — полгода спустя после гибели Эрназара померла прежняя жена Бостона (и хорошей, сказывали, женой была покойная Арзыгуль), так вот, тогда приехал Базарбай на похороны, как и все окрестные чабаны и жители, народу было тьма, а уж сколько коней, тракторов, грузовиков — и не счесть. А в третий раз он побывал здесь, правда, не по своей воле, когда областное начальство решило устроить производственный семинар, чтобы Бостон Уркунчиев передал пастухам свой опыт; не хотелось ему ехать, но куда денешься, заставили, вот и пришлось чуть не полдня слушать лекцию, как да что делать, чтобы ягнята не дохли, а шерсти и мяса давали побольше. Одним словом, как выполнять план. Подумаешь, хитрость какая — он и без них все знает: зимой корма подавай вовремя, летом в горах пораньше

вставай и попозже ложись, в общем, хорошо работай, не спускай со скота глаз. Радетелем будь. Как Бостон, да и не он один. Однако у одних лучше, у других хуже получается. Так ведь одним везет, а другим не везет. Вот, скажем, работает у Бостона на базе движок — всю ночь свет, электричество и в домах, и в сараях, и вокруг двора. А почему? Сумел он выбить себе два агрегата — один выходит из строя или становится на профилактический ремонт, другой подключается. А у всех других чабанов — и у Базарбая в том числе — по одному движку круглый год. А с одним движком морока: то он работает, то нет, то привезли горючего, то не привезли, то что-то сломалось, то парень, что смыслит в этом деле, плюнет на все да подастся в город — там молодежи во сто раз лучше жить и работать. Вот так и получается — по отчетам во всех чабанских бригадах электричество, а на деле ничего этого нет…

И, конечно же, кто хорош? Бостон хорош, непьющий к тому же. А кто плох? Базарбай и ему подобные, они вдобавок и пьющие. А раз ты плох, пусть бы тебя гнали в шею, так нет же, попробуй заяви об уходе, чуть ли не милицию на тебя напустят, паспорт отберут, никаких документов не дадут, иди работай, дорогой, не уходи, нынче

никто не хочет чабанить, таких дураков мало, все хотят жить в городах, там отработал свои часы — и гуляй себе культурно, а нет, на квартире у себя отдыхай на всем готовом, топить печь не надо, свет круглые сутки, хоть днем, хоть ночью, водопровод под носом, нужник и тот рукой подать, в коридорчике… А при отаре какое уж житье? В расплодную без малого с полутора тысячами голов скота управляйся, ни минуты покоя ни днем, ни ночью, все полторы тысячи над душой стонут, попробуй тут не полазить по навозу, не озверей, не избей жену, не избей помощников, не напейся… А потом: кто плох? Базарбай и ему подобные…

А чуть что в глаза тычут — посмотри на Бостона Уркунчиева, вот передовик, вот образец… Так бы и дал в морду этому передовику-куркулю! А Бостону везет, к нему и люди идут лучшие, и не уходят от него, работают как одна семья. Базарбай да и многие другие чабаны давно уже плюнули на свои заглохшие движки, живут по старинке, при керосиновых лампах да ручных фонарях, а у Бостона электрогенераторный агрегат МИ-1157 прямо как часы за кошарой стучит, так что слышно далеко вокруг и свет от него далеко видно. Тем и волков отпугнули — давеча как гнались, вот-

вот настигнут, а как завидели свет да заслышали стук движка, враз остановились.

Собаки все лают. Где-то бродят еще, должно быть, волки, но подойти поближе боятся…

Да, везет, определенно везет Бостону — вон как у него на подворье все ладно, и в доме яркий свет, чистота, хоть и на овечьем становище живут. Пришлось разуться, сбросить кирзачи да портянки в прихожей и в одних носках вязаных пройти по кошмам в комнату.

Уж если человеку везет, везет во всем. Вот ведь раньше не замечал Базарбай, что вдова Эрназара, погибшего на перевале, такая видная собой баба и нестарая. А теперь она, Гулюмкан, жена Бостона и хоть и пережила горе, а, судя по виду, счастлива. Лет-то ей под сорок, а может, и того меньше, две дочери от Эрназара в интернате учатся, а она возьми да роди еще недавно Бостону, и опять же повезло человеку — сына ему родила, а две дочери Бостона от прежней жены те вроде замуж уже повыскакивали. И приветливая какая Гулюмкан, и неглупая, нет, совсем не глупая, знает, что они с Бостоном не терпят друг друга, а виду не подала, приняла его радушно, переживала, сочувствовала. Проходи, мол, сосед наших соседей, проходи, присаживайся на ковер, ой, да что же за напасть

такая, слыханное ли дело, чтобы волки гнались по пятам, слава богу и духам предков — арбакам, что спасли тебя от беды, а самого нет дома: опять какое-то собрание в районе, должно быть, скоро вернется, обещали подбросить на директорском «газике», садись, садись, надо же чаю выпить после такого случая, а подождешь немного, так и горячим скоро накормлю.

А Базарбай, поскольку уж попал в такой переплет, решил все-таки испытать хозяйку, насколько она искренна с незваным гостем, да и потом уж очень выпить хотелось, прийти в себя после пережитого, и он набрался нахальства.

— Чай — это питье для баб, — сказал без обиняков. — Ты уж извини, но чего-нибудь покрепче не найдется в доме богатея Бостона? Слава-то о нем куда как далеко идет!

Такая уж гнусная натура была у Базарбая: даже если бы и не дали ему выпить, все равно был бы доволен тем, как сразу переменилась в лице Бостонова жена. Не по нутру пришлась ей прямота Базарбая. А чего тут церемониться — не беки какие-нибудь, не ханы, такие же скотоводы совхозные.

— Ты уж извини, — ответила она, хмурясь. — Сам-то Бостон не очень, понимаешь ли, до этого

дела охоч…

— Знаю, знаю, не пьет твой Бостон! — небрежно перебил ее Базарбай. — Я это так, к слову. Спасибо за чай. Думал, хоть сам и не пьет, а гости бывают…

— Да нет, почему же, — засмущалась Гулюмкан и посмотрела на Рыскула, сидевшего рядом с Базарбаем, — у его колен лежала злополучная переметная сума с волчатами.

Рыскул приподнялся было — собрался идти за водкой, — но тут в дверях появился второй Бостонов помощник — не доучившийся в пединституте студент Марат, разбитной малый, который, изрядно покуролесив по области, теперь остепенился и осел у Бостона.

— Слушай, Марат, — обратился к нему Рыскул. — У тебя где-то припрятана поллитровка. Я знаю. Не бойся, если что, отвечать перед Бостоном буду я. Давай свою бутылку поскорее, обмоем добычу Базарбая.

— Обмыть! Так это я мигом! — довольно хохотнул Марат.

И вот уже после первого полстакана, прогнавшего досаду, Базарбай, у которого страх уступил место привычной самоуверенности и бесцеремонности, растянулся на ковре точно у себя

дома и стал рассказывать, что да как было, и волчат показал. Развязал оба мешка-курджуна, достал волчат и тут сам впервые хорошенько их рассмотрел. Вначале волчата были вялы, почти ни на что не отзывались, все старались спрятаться, словно искали защиты, а потом ожили, согрелись, заползали по кошме, поскуливали, тыкались мордочками в людей, глядя ничего не понимающими, неосмысленными глазами, — искали мать, искали ее сосцы. Хозяйка жалостливо покачала головой:

— Так ведь они же, бедняги, оголодали! Детеныш, хоть он и волчий, а есть детеныш. Что как подохнут они у тебя с голоду? Зачем это?

— С чего бы им подохнуть? — оскорбился Базарбай. — Эти твари живучие. Два дня чем-нибудь подкормлю, а там сдам в район. На зообазе знают, как их выхаживать. Начальство, если захочет, оно все умеет — волка и то приручит и заставит в цирке выступать, и за цирк люди деньги платят. Может, и эти в цирк попадут.

Тут все, хоть хозяйка и заразила их своей жалостью, заулыбались. Но женщины, сбежавшиеся посмотреть на живых волчат, стали перешептываться.

— Базарбай, — сказала Гулюмкан, — у нас тут

есть ягнята, сироты-сосунки, их молоком прикармливают, а что, если принести волчатам те ягнячьи бутылочки?

— А что! — не удержался от смеха Базарбай. — Овцы будут выкармливать волков. Вот это здорово! Давайте попробуем!

И наступил час, вспоминая о котором каждый из них впоследствии преисполнится ужасом. Людей потешало и то, что кормили диких зверей овечьим молоком, и то, что волчата были доверчивые и забавные, и то, что один щенок из выводка — самочка — оказался синеглазым, сроду никто не слыхал, чтоб у волчицы были синие глаза, такого и в сказках не встретишь. И то, как веселился совсем еще маленький мальчуган, Бостонов сынишка-последыш Кенджеш. То-то радовался Кенджеш — сразу четыре зверенка в доме. Взрослых умиляло, как этот полуторагодовалый карапуз лепетал на своем, только ему понятном языке, как разгорелись у него глазенки, как увлеченно он играл с волчатами. И четверо волчат почему-то льнули к ребенку, точно бы угадывая, что он для них тут самое близкое существо. Взрослые переговаривались: смотри, мол, дите чувствует детей, — старались выяснить у Гулюмкан, что говорит малыш волчатам. А Гу-

люмкан, счастливо улыбаясь, тискала сыночка, ласково приговаривая:

— Кучюк, кучюгом, щенок, щеночек мой! Видишь, прибежали к тебе маленькие волчата. Смотри, какие они мяконькие, серенькие. Ты будешь с ними дружить, да?

Тут Базарбай и произнес фразу, которую потом тоже будут вспоминать:

— Был один волчонок в доме, а стало пять. Хочешь быть волчонком? А то давай подкину тебя, Бостонова последыша, в логово, будешь расти вместе с ними…

Все от души смеялись шуткам, пили чай. Базарбай с Маратом, раскрасневшись от выпитого, прикончили поллитровку, закусывали салом и жареным мясом, все более оживляясь по мере выпитого. На дворе же наступила тишина — собаки перестали лаять, а самый большой пес Жайсан — рыжая лохматая громадина — вдруг появился на пороге неприкрытой двери. Пес задержался в дверях, вилял хвостом, не решаясь переступить порог. Ему бросили кусок хлеба, он подхватил кусок на лету, громко клацнув зубами. И тогда подвыпивший Марат схватил для смеха одного волчонка и поднес его псу.

— А ну, Жайсан, взять его! Взять, говорю! — И

поставил перед псом дрожащего, тщедушного звереныша.

К удивлению присутствующих, Жайсан злобно заворчал, поджал хвост, втянул голову и кинулся наутек. И только потом, уже во дворе, под окном, залаял трусливо и жалко. Все захохотали, и громче всех Базарбай:

— Зря стараешься, Марат! Нет такой собаки, чтобы от одного волчьего духа не обделалась! Ты что хочешь, чтобы ваш Жайсан был львом? Такому не бывать!

Все перестали смеяться, когда маленький Кенджеш расплакался — ему стало жалко волчонка, и, опасаясь за него, он заковылял к нему, чтобы оберечь от непонятных проделок взрослых людей.

А Базарбай, покидав в курджун четверых злополучных волчат, вскоре уехал. Конь его к тому времени отдохнул, его переседлали, и он бодрой рысью покинул Бостоново зимовье. Рядом с Базарбаем трусили верхами Марат и Рыскул с ружьями за плечами, оба тоже подвыпили, но Марат опьянел сильнее и оттого был сверх меры словоохотлив. Эти крепкие парни вызвались проводить Базарбая, чтобы хоть как-то сгладить тот досадный случай, который произошел перед

самым отъездом непрошеного гостя из дома Бостона. Уже собираясь выходить, Базарбай, довольный, что оказался в центре внимания в Бостоновом доме, передал курджун с волчатами Марату: на, мол, перекинь через седло, — а сам снял со стены ружье, висевшее рядом с огромной волчьей шкурой. Он внимательно осмотрел ружье, оно ему понравилось — добротное, поблескивающее вороненой сталью, радующее глаз ладной формой нарезное многозарядное ружье для крупной дичи. Волчью шкуру, висевшую как трофей на стене, Бостон добыл метким выстрелом из этого ружья. Об этом знали все.

— Послушай, Гулюмкан, — не спеша сказал Базарбай, переводя пьяный взгляд с ружья на хозяйку. Попадись ему эта Гулюмкан, мелькнула у него мысль, в укромном месте… Он привык брать женщин нахрапом, иногда прямо в поле или у дороги, когда это удавалось, когда — нет, но он не жалел ни в том, ни в другом случае, и, сравнивая исподволь Гулюмкан со своей битой-перебитой Кок Турсун, он живо представил себе, как бы сейчас вмазал ей наотмашь за то, что она, а не Гулюмкан досталась ему, за то, что опостылела, и, пересилив себя, сказал: — В доме у вас хорошо, ты хорошая хозяйка. Да что я хотел

сказать? Понимаешь, Гулюмкан, я боюсь, как бы волки опять не погнались за мной. Что, если я прихвачу с собой это ружье, а завтра передам с кем-нибудь из своих…

— Ради бога, повесь на место, — строго сказала Гулюмкан. — Бостон никому не позволяет притрагиваться к этому ружью. Он не любит, когда трогают его ружье.

— А ты сама без него не можешь распорядиться ружьем? — мрачно усмехнулся Базарбай, живо представляя себе, как бы он притиснул эту бабу, представься ему удобный случай.

— Да ты что! Приедет Бостон и увидит, что нет ружья, зачем мне это… К тому же я и не знаю, где патроны. Бостон их сам где-то прячет. Ни одного патрона никому не дает.

Базарбай мысленно обругал Бостона по-черному; костерил и себя: разве не знал он, какой занудный скупердяй этот самый Бостон, и жена его, оказывается, ничуть не лучше; чуть было не сказал ей. мол, подавись ты этим ружьем, но тут Рыскул выручил его, разрядил, что называется, обстановку:

— Зря беспокоишься, Базаке. Мы с Маратом проводим тебя верхами, если хочешь, с ружьями до самого дома, — заверил он, смеясь. — Времени

у нас навалом, вся ночь впереди, а это ружье ты и в самом деле лучше не трожь, повесъ на место. Тебе ли не знать: Бостон он и есть Бостон, он порядок любит!

Они собрались уже выходить, но Рыскул вынужден был задержаться еще на пару минут — успокоить Бостонова малыша: Кенджеш задал ревака, зачем, мол, дядя побросал волчат в мешок и куда их уносит. Малыш вертелся, вырывался из объятий матери, требовал вернуть полюбившихся ему зверят…

А когда выехали со двора, недоучившийся студент Марат завел рассказ про один потешный случай, который, как он полагал, мог развеселить попутчиков:

— Недавно в районе у нас был скандал на весь мир — кишки надорвешь! Не слыхал, Базаке?

— Да нет, не слыхал, — признался Базарбай.

— Нет, в самом деле скандал на весь мир. Клянусь!

— Давай, давай, студент! — подначил его Рыскул, понукая каблуками коня.

— Звонит, значит, один областной начальник редактору нашей районной газеты. Почему, говорит, у вас на страницах газеты «Заря социализма» идет пропаганда капиталистической Америки?

А редактор — мы с ним когда-то вместе учились, трус и подхалим каких мало — от таких слов даже заикаться начал. «М-мы об Америке н-ничего н-не п-писали! Из-звините, к-какая т-та-к-кая п-про-пропаганда?» А тот ему: «Как не писали? А это что за заголовок черным по белому: „Бостон зовет нас за собой?“ — „Так это же наш передовой чабан Бостон Уркунчиев, о нем, о его работе написано“. — „Это ясно, что о нем писали, но многие читают в газетах только заголовки“. Ха-ха-ха! Вот это номер, а! Здорово? „Так как же быть?“ — спрашивает редактор. А начальник ему: „Прикажите передовику изменить имя“.

— Постой, — перебил Базарбай, — а что в Америке тоже есть свой Бостон?

— Да нет же, — веселился Марат. — Бостон — это город в Америке, один из главных городов, разве что чуть меньше Нью-Йорка, а у нас бостон — серая шуба. Бос — серая, тон — шуба. Теперь ясно?

— Тьфу ты, черт побери! И правда! — согласился Базарбай, сожалея, что все это дело яйца выеденного не стоит и потому нанести никакого вреда Бостону не может. — Так оно и есть. Бостон — серая шуба…

В тот час ночь накрыла своим звездным по-

кровом все — и горы, и небо, и озеро вдали, чья могучая горбатящаяся спина еле угадывалась в темноте. И трое всадников, балагуря, ехали к Таману и не подозревали, что той ночью завязались крепким — не распутаешь — узлом тяжкие судьбы… И вот уже все тише и невнятней доносились и их речи, и цокот копыт по камням… Остался позади привычный стук Бостонова движка, свет от него выхватывал из тьмы, окутавшей горную сторону, небольшой круг чабанского жилья и преддворья. А где-то неподалеку таились волки…

II

Гулюмкан с большим трудом уговорами и ласками удалось уложить малыша спать, сама она не ложилась — ждала мужа. Он вот-вот должен был вернуться. И когда на дворе дружно взлаяли собаки, она, накинув на плечи теплую шаль, прильнула к окну. Прорезая тьму горящими фарами, директорский «газик» развернулся возле большой кошары, где держали овцематок. Гулюмкан видела, как вылез из кабины Бостон, как, попрощавшись, хлопнул дверцей и как машина, круто развернувшись, укатила обратно. Гулюмкан знала, что муж не сразу придет домой. В таких случаях он сначала обходил овечьи загоны и сараи, заглядывал под сенной нанес, расспрашивал ночника Кудурмата как и что, как день прошел, не было ли падежа, выкидышей, не народились ли ягнята…

Растапливая плиту заранее приготовленными для этой цели дровами, чтобы встретить мужа горячей — с пылу с жару — едой и хорошим чаем, без которого Бостону жизнь была не в жизнь, Гулюмкан прислушивалась, когда зазвучат мужнины шаги на пороге, и заранее радовалась,

представляя, как маленький Кенджеш заворочается в теплой постели, зачмокает губами от прикосновения холодных с морозца усов отца. Обычно Бостон сам укладывал малыша, перед этим долго возился с ним, а бывало, и сам купал его в корыте, предварительно хорошо истопив дом и закрыв все двери и окна. Соседи считали, что Бостон стал к старости слишком чадолюбив — прежде он не был таким, прежде он работу любил больше, чем детей, те, старшие его дети уже сами родители, у них своя жизнь. Они бывают только наездами, а последыш всегда самый сладкий, и любят его больше всего. Все это так, но кому как не ей, Гулюмкан, понятна истинная и горькая причина привязанности Бостона к малышу Кенджешу. Ведь никогда не думали они — ни он, ни она, — что доведется им стать мужем и женой и что народится у них сын: ведь если б не погиб ее прежний муж Эрназар на перевале и если б не умерла вслед затем первая жена Бостона Арзыгуль, никогда бы этому не бывать. Они стараются не вспоминать о былом, хотя и знают: наедине каждый из них думает о прошлом… А малыш — это то общее, связывающее их, что досталось им слишком дорогой ценой. Ведь путь на перевал прокладывал Бостон, и помощник его

Эрназар погиб у него на глазах, остался там, на дне глубокой расщелины… Только малыш мог заполнить ту брешь в его душе, ибо издавна сказано — лишь рождение может возместить смерть.

Но вот раздались шаги, и Гулюмкан проворно вышла навстречу мужу, помогла скинуть сапоги, принесла воду, мыло, полотенце. Молча лила воду на руки мужа, но пока они не заводили разговор, разговор у них пойдет потом за чаем, тогда Бостон, начав разговор со своей любимой присказки: «Ну а теперь послушай, чего только на свете не бывает», подробно расскажет, что видел, что узнал нового, и в такие минуты, особенно когда они наедине, им обоим хорошо. Свой разговор, разговор между близкими людьми, — как знакомая пристань, где заранее известно, где мель, а где глубоко. Помнится, уже после поминок, когда прошел год со смерти Арзыгуль и они наконец решились пожениться, вот тогда и приехал Бостон с гор к ней, в ее вдовий дом на окраине приозерного поселка, и тогда они, оставив Бостонова коня на коновязи, сели в местный автобус, неловко чувствуя себя на людях впервые вместе, и поехали в районный загс, где постарались поскорее подписать нужные бумаги, и поскорее ушли оттуда, а потом, не желая больше

садиться в автобус и не желая встречаться со знакомыми на улице, пошли к озеру и дальше берегом в ее вдовий дом. В сухой, безветренный осенний день, яркая синь Иссык-Куля была, как всегда, чиста и безмятежна. И вот тогда на тропке у берега, заросшего лиственным лесом, Бостон увидел две лодки на причале и остановился. Лодки покачивал тихий прибой, под ними было видно песчаное дно.

«Смотри, кругом вода, горы, земля — это жизнь. А эта пара лодок, как мы с тобой. Куда нас понесет волна — будет видно. Что с нами было и что мы пережили — пока мы живы, это никуда от нас не денется. И давай будем всегда вместе. Я, можно сказать, старик. Зимой стукнет сорок девять. А у тебя дети малые еще, надо их учить да определить на место… Пошли, будем собираться. Снова поедешь в горы, дочь рыбака, только на этот раз со мной… Невмоготу мне одному жить…»

Гулюмкан, сама не зная почему, расплакалась, и он долго успокаивал ее… И потом, когда они оставались наедине и вели разговоры про жизнь, Гулюмкан часто вспоминала ту пару лодок на озере. Оттого и думалось ей — разговор с близким человеком все равно как знакомая пристань. На этот раз, однако, от нее не ускользнуло, что муж

озабочен больше обычного. При свете помигивающей лампочки в прихожей Бостон, рослый, на голову выше ее, комкая полотенце, вытирал нарочито медленно большие огрубелые руки. Хмур был взгляд его прищуренных зеленоватых глаз, загорелое, обветренное лицо с тяжелым крупным подбородком было темно-красное, цвета потемневшей меди. Что бы это все значило? Вытерев руки, Бостон первым делом подошел к малышу, опустился на колени у смастеренной им самим деревянной кроватки, поцеловал сына обветренными губами, нашептывая ласковые слова, и заулыбался невольно, когда Кенджеш, почувствовав поцелуй, зашевелился во сне.

— Кудурмат сказал, что Базарбай тут без меня побывал, — проронил он, садясь за еду. — Нехорошее это дело…

Гулюмкан, поняв его по-своему, покраснела и едва не вспылила от обиды:

— А что мне еще оставалось делать? Ворвались в дом всей гурьбой. Волчат, мол, показать хотим. И Кенджеш тут как тут — ему-то забава… Ну, подала я им чай…

— Да я не об этом. Бог с ним, как пришел, так и ушел. Только сдается мне, нехорошее это дело…

— А что тут плохого? — не понимая, к чему он

ведет, сказала Гулюмкан. — Так ведь ты и сам стрелял волков-то. Вон прошлогодняя шкура висит, и отделали ее на славу, — кивнула она на волчью шкуру на стене.

— Висит-то она висит, — ответил Бостон, протягивая жене опорожненную пиалу. — Правда твоя, случалось и мне подстрелить волка, раз уж так устроено на свете, что есть волк и есть человек. Но логова волчьего я никогда не разорял. А Базарбай, подлая его душа, волчат уворовал, а волков, зверей свирепых, оставил на воле. Это же он нам пакость подстроил. Волки живут здесь — деваться им некуда, и теперь, понимаешь, они в страшной злобе…

Слова его ошеломляюще подействовали на Гулюмкан. Она завздыхала по-бабьи, поправила съехавшую на плечо косу.

— Вот беда-то! И что его принесло, непутевого, в наши края? Зачем надо было трогать логово? Да и жалко их — ведь любая тварь тоже детенышей своих любит, кто этого не знает. И как я сразу не сообразила?

— Я вот что думаю, — озабоченно продолжал Бостон. — Какие же это волки? Не те ли самые? — Бостон помолчал и добавил: — По словам Кудурмата выходит, что волки гнались за

Базарбаем со стороны Башатского ущелья.

— Ну и что?

— А то, что как бы это не оказались те самые, пришлые волки — Ташчайнар и Акбара. Есть такая пара.

— Ой, да оставь ты свои шутки! — залилась смехом Гулюмкан. — Неужто у волков имена есть, как у людей? Скажешь тоже!

— Какие шутки! Не до шуток мне. Мы этих волков знаем. На здешних они не похожи. Иным случалось видеть их. Лютая, сильная пара, в капкан не попадают, подстрелить их не удается. И надо же, чтобы этот прохиндей, алкаш Базарбай на их логово наткнулся, выкосил под корень все их отродье. А ты еще удивляешься, что у них имена есть! Самец — Ташчайнар, такой сильный, что может лошадь свалить. А волчица Акбара — анабаша [3], умная зверюга, ой какая умная! И оттого особенно опасная.

— Да перестань, отец моего сына, не шути! Что я тебе, ребенок? — недоверчиво усмехнулась Гулюмкан. — Ты про них рассказываешь так, будто с ними с детства живешь… Ну как такое может быть?

---

[3] Примечания: 3

Анабаша — матка-предводительница.

Бостон снисходительно улыбнулся, но, призадумавшись, решил успокоить жену.

— Да ладно, — сказал он, помолчав, — выкинь все это из головы. Просто я тебя позабавить хотел. Давай-ка стели постель. Поздно уж очень. Утром надо пораньше подняться, сама знаешь, до большого окота пара дней осталась. А иные матки могут и в ночь или к утру разродиться, особенно те, у которых двойня, а то и тройня!

Уже когда, загасив свет, они лежали в постели, Бостон, засыпая, а засыпал он быстро, рассказал немного о собрании в районе, на котором уже не в первый раз обсуждали, почему современная молодежь не идет в овцеводство и что тут делать да как быть, и вот тут-то и послышался на дворе топот конских копыт. Гулюмкан вскочила с постели, подбежала к окну в исподнем, лишь шаль на плечи накинула, и увидела, что у большой кошары спешились двое всадников с ружьями.

— Это наши вернулись, Рыскул с Маратом, — сказала она. — Ездили Базарбая провожать.

— Вот дурни! — пробормотал Бостон и с тем заснул.

Гулюмкан же уснула не сразу. Прикрыла потеплее сыночка в кроватке его самодельной — вечно он раскрывается во сне, сбрасывает с себя одежду.

Беда, не ребенок — вечно не дает спать, особенно когда спать хочется. А сегодня сон не шел к ней. День выдался уж очень суматошный, дурной какой-то. И всему помеха Базарбай. Свалился как снег на голову. А Бостону это нож острый. Такой он человек, Бостон, не любит шума и суеты, не любит таких хамов, как Базарбай, пусть тот ничего дурного ему и не сделал. Конечно, Базарбай ему не друг, завидует, что у Бостона дела хороши… А сколько на это надо трудов положить, Базарбаю невдомек. Завтра как с раннего утра впряжется, так и до поздней ночи, и везде сам, и везде хозяйский глаз нужен…

Гулюмкан подходила к окну, всматривалась в алюминиевую тьму ночи, луна ярко светила над горбатыми горами, и звезды — все до единой — мерцали в полную силу. К утру луна зайдет, и звезды погаснут, но в тот поздний час ночь казалась вечной, неизбывной. В глубокой тиши предгорий раздавался лишь привычный стук движка, стоявшего на отшибе.

Трудно сказать, долго ли проспала Гулюмкан, возможно, всего лишь задремала, но тут сквозь сон среди поднявшегося вдруг собачьего лая послышался какой-то длительный вой. Гулюмкан невольно проснулась, перебарывая сон, и

теперь уже явственно услышала тягостный, возносящийся к небу, надсадный волчий вой. Вой нагонял жуть. Гулюмкан стало не по себе, и она поближе придвинулась к мужу, прижалась. Но тут вой перешел уже в горестный плач — в нем звучали нестихающая боль, стон и вопль страдающего зверя.

— Это она, Акбара! — охрипшим со сна голосом проговорил Бостон, резко приподнимая голову с подушки.

— Какая Акбара? — Гулюмкан даже не поняла, о чем идет речь.

— Волчица! — сказал Бостон и, вслушиваясь в волчий вой, добавил: — И он, Ташчайнар, тоже ей подвывает. Слышишь, ревет, как бык на бойне.

Они замерли, затаив дыхание.

Оу-оу-у-у-уа-а-а-а! — и снова дикие, полные тоски рыдания далеко разнеслись в бескрайней ночи.

— Что это она, о чем воет? — испуганно прошептала Гулюмкан.

— Как что? Горюет зверь!

Они помолчали.

— Эка беда! — Бостон досадливо выругался. — Ты полежи тут да посмотри, чтобы ребенок не проснулся. Да ты не бойся, не маленькая! Ну воет

волчица где-то поблизости, плачет по волчатам, что ж теперь поделаешь? А я пойду гляну, что в кошарах делается.

С этими словами он наспех оделся, не гася света, вышел обуваться, потом вернулся в комнату, погасил свет и ушел, захлопнув за собой дверь прихожей. Она слышала, как он прошагал под окнами, бормоча какие-то ругательства, как окликал собаку: «Жайсан, Жайсан! Поди сюда!» — и как постепенно шаги его стихли. И тут снова донесся затяжной вой волчицы, ей басовито-утробно подвывал волк. В их вое клокочущая ярость, угроза сменялись плачем, а потом в нем вновь нарастали безумные отчаяние и злоба, и вновь их сменяла мольба…

Невозможно, невыносимо было слушать этот вой. Гулюмкан зажала уши, потом пошла, накинула крючок на двери, словно волки могли ворваться в дом, и, дрожа и кутаясь в шерстяной платок, вернулась к постели, не зная, что и делать, страшась, что волки снова завоют и разбудят малыша. Больше всего она боялась, что Кенджеш проснется и перепугается.

А волки все выли, и чудилось, что они кружат где-то около, переходят с места на место, бродят окрест. В ответ им злобно и визгливо лаяли соба-

ки, но покинуть пределы двора не смели. И вдруг раздался один оглушительный выстрел, за ним другой. Гулюмкан поняла, что Бостон и ночник Кудурмат палят для острастки.

После этого все стихло. Смолкли собаки. Смолкли и волки. «Ну слава богу, а то прямо напасть какая-то!» — подумала с облегчением Гулюмкан. И все-таки на душе у нее было тревожно. Она взяла спящего Кенджеша, унесла к себе в большую постель, положила посередине, чтобы ребенок находился между родителями. Тем временем вернулся и Бостон.

— Сон перебили, чтоб им всем неладно было, — сердито бурчал он, должно быть имея в виду и волков, и собак, и все с ними связанное. — Ну и скотина этот Базарбай, ну и скотина! — негодовал он, укладываясь снова в постель.

Гулюмкан не стала тревожить мужа расспросами, и так волки не дали ему нормально поспать. Ведь утром спозаранку ему надо быть на скотном дворе — он не из тех чабанов, которые могут позволить себе встать попозже.

У Гулюмкан отлегло от души, когда она увидела, как муж успокоился, как радовался, прижимая к себе малыша, шепча ему ласковые слова. Любил Бостон своего Кенджеша, потому и дал ему имя —

Кенджебек, то есть младший бек, младший князь в роду. Во все времена пастухи мечтали выйти в князья, но в том и была ирония судьбы, что во все времена пастухи оставались пастухами. И Бостон был в этом смысле не исключение.

Они снова заснули, в этот раз с малышом посередке, но вскоре проснулись опять от заунывного волчьего воя. И опять залаяли во дворе растревоженные собаки.

— Да что же это такое! Что это за жизнь! — в сердцах посетовала Гулюмкан и сама пожалела о своих словах: Бостон молча встал и начал одеваться впотьмах. — Не уходи, — попросила она. — Пусть их воют. Я боюсь. Не надо, не уходи!

Бостон не стал перечить жене. И так лежали они в темном доме темной ночью в горах, невольно прислушиваясь к вою волков. Уже давно минула полночь, уже дело шло к рассвету, а волки все надсаживались, донимая людей горестным, злобным воем.

— Всю душу вымотали, и чего только им надо? — не выдержала Гулюмкан.

— Чего им надо? Ясное дело, детенышей своих требуют, — ответил Бостон.

— Так они же не здесь, детеныши эти. Их давным-давно увезли.

— А откуда им об этом знать? — ответил Бостон. — Они звери, они знают одно: их сюда привел след и здесь для них все — конец, свет клином сошелся. Поди попробуй объясни им. Жаль, что меня не было тогда дома. Я бы этому скотине Базарбаю за такое дело шею свернул. Добычу взял он, а расплачиваться нам…

И в подтверждение его слов над кошарой разносился вой то заунывный и тягостный, то яростный и злобный — это волки, ослепленные горем, кружа, блуждали во тьме. Особенно надрывалась Акбара. Она голосила, как баба на кладбище, и Гулюмкан вспоминала, как сама она голосила и билась головой о стены, когда погиб на перевале Эрназар, — ее охватила невыносимая тоска, и ей стоило немалых усилий, чтобы сдержаться и не рассказать Бостону, о чем думала и что чувствовала она в эти минуты.

И так лежали они, не смыкая глаз, лишь малыш Кенджеш, невинный младенец, спал непробудным сном. И слушая неумолчный вой Акбары по похищенным волчатам, еще сильнее тревожилась мать о своем ребенке, хотя ничто ему не угрожало.

Над горами забрезжил ранний рассвет. Уходила, растворяясь, тьма в небесах, отслужив ночную

службу, меркли звезды, четче прорисовывались дальние и ближние горы, и земля становилась землей…

В этот час волки, Акбара и Ташчайнар, уходили в горы, в сторону Башатского ущелья. Их силуэты то вырисовывались на возвышенностях, то растворялись во мгле. Волки понуро трусили — нелегко им дались утрата детенышей и неумолчный вой всю ночь напролет. Отсюда им было бы по пути завернуть в ту лощину, где оставалась большая часть туши яка, убитого накануне. Обычно они не преминули бы вновь насытиться до отвала свежатиной, но на этот раз Акбара не пожелала возвратиться к законной добыче, а Ташчайнар не посмел сделать это без нее, анабаши.

На восходе солнца уже вблизи логова Акбара стремглав рванулась бежать, как если бы ее ожидали сосунки. Эти самообман и самообольщение передались и Ташчайнару, и теперь уже они оба неслись по ущелью — их гнала вперед надежда поскорее увидеть свой выводок.

И все повторилось — юркнув в лазы среди зарослей, Акбара вбежала в расщелину под свесом скалы, снова обнюхала пустые углы, холодную подстилку, снова убедилась, что их, ее дете-

нышей-сосунков, нет, и, не желая смириться, выскочила из норы, и, ошалев от горя, снова задрала Ташчайнара, неловко столкнувшегося с ней у входа, и снова заметалась у ручья, вынюхивая следы Базарбаева пребывания накануне. Здесь все было отвратительно и враждебно — особенно прислоненная к камню початая бутылка водки. Резкий и едкий дух вывел волчицу из себя, и она рычала, кусала себя, грызла землю, а потом заскулила протяжно, задрав морду, заплакала в голос, как будто ее смертельно обидели, и из ее необыкновенных синих глаз покатились градом мутные слезы.

И некому было утешить ее в горе, некому было ответить плачем на ее плач. Холодны были великие горы…

III

Утром другого дня, часов примерно около десяти, Базарбай Нойгутов собрался седлать лошадь, чтобы наведаться в райцентр, но тут заметил направляющегося к ним всадника. Интересно, что ему понадобилось на Таманском зимовье? Всадник в желтой дубленой шубе нараспашку и лисьей шапке ехал дорожной полурысью с западной стороны, по подножью малого склона. Хорошо, отменно сидел он в седле. Базарбай сразу узнал конного и, вглядевшись получше в золотистого дончака, убедился, что не обознался — это был сам Бостон Уркунчиев верхом на Донкулюке. Неожиданное появление Бостона неприятно удивило Базарбая, настолько неприятно, что он отложил в сторону седло и решил дождаться своего соседа-недруга. А чтобы Бостон не подумал, что он его встречает, принялся обтирать коня пучком соломы. Делал вид, будто занят своим делом. У Базарбая было такое странное ощущение, словно Бостон застиг его врасплох. Он окинул взглядом подворье, кошары, пастухов, занятых поутру делами, — все ли в порядке. Конечно, на зимовье у Бостона порядка побольше, Бостон на работе

зверь зверем, но на то он и передовик (злые языки поговаривали — в те славные годы быть бы ему сосланным как кулаку в Сибирь), а Базарбай что — обычный, рядовой азиатский чабан. Таких, как он, не счесть по горам да по степям, они и пасут те миллионные стада, копыта которых не дают траве подняться над землей, стаптывая ее на корню. А потом ведь с каждого свой спрос. Бостон — одно дело, он — другое. Пока Бостон приближался, в голове заметались мысли. «И чего это наш кулак вдруг припожаловал с утра пораньше? Никогда такого не бывало! — недоумевал Базарбай. — К чему бы это? С какой стати?» Решил было пригласить Бостона в дом, раз такое дело, но, представив себе свое жилище, запущенный бригадный дом и прежде всего свою жену, несчастную, злобную Кок Турсун (разве ее можно сравнить с Гулюмкан!), отказался от такой мысли.

Приближаясь к Таманскому зимовью, Бостон придержал на краю двора коня, огляделся по сторонам и, заметив подле навеса самого хозяина, направился к нему. Они сдержанно поздоровались — Бостон так и не слез с седла. Базарбай продолжал заниматься своим делом. Впрочем, ни один не увидел в том для себя обиды.

— Хорошо, что я тебя застал, — сказал Бостон,

приглаживая ладонью усы.

— Как видишь, я на месте. А что такое, если не секрет?

— Какой тут секрет, дело есть.

— Ну, такой человек, как ты, по пустому делу не приедет, — надменно проронил Базарбай. — Верно я говорю?

— Верно.

— Тогда слезай с коня, если по делу прибыл.

Бостон молча спешился, привязал Донкулюка к коновязи. Как всегда, и на этот раз не забыл — ослабил подпругу чтобы конь отдохнул от ремней, стесняющих грудь, чтобы двигался вольней. Затем осмотрелся вокруг, как бы оценивая, что творится во дворе.

— Что стоишь? Что высматриваешь? — с плохо скрываемым раздражением окликнул его Базарбай. — Садись вот на колоду, — предложил он, а сам пристроился на тракторной покрышке, валявшейся под ногами.

Они посмотрели друг на друга все с таким же глухим неодобрением. Все в Бостоне не нравилось Базарбаю — и что шуба на нем добрая, обшитая по краям черной мерлушкой, и что распахнута она на его широкой груди, и что сам он здоровый и глаза у него ясные, и что лицо цвета темной меди,

а ведь Бостон его, Базарбая, лет на пять старше, не нравилось и то, что вчера Бостон наверняка лежал в постели с Гулюмкан, хотя какое, казалось бы, ему дело до этого.

— Так выкладывай, слушаю тебя, — кивнул Базарбай.

— Понимаешь, я по какому делу, — начал Бостон, — видишь, вон и курджун прихватил, подвязал к седлу. Ты этих волчат отдай мне, Базарбай. Надо их вернуть на место.

— На какое место?

— Подложить в логово.

— Вон оно что! — ехидно скривился Базарбай. — А я-то думал, с чего бы это наш передовик пожаловал с утра. Дела свои бросил и прискакал. Ты, наверно, забываешь, Бостон, что я у тебя не в пастухах хожу. Я такой же чабан, как и ты. И ты мне не указ.

— При чем тут указ — не указ! Ты что, не можешь спокойно выслушать? Если ты думаешь, волки забудут о том, что вчера произошло, ты крепко ошибаешься, Базарбай.

— А мне-то что! Пусть их не забудут, мне-то какое дело до этого, да и какое тебе дело?

— А такое, что вчера мы глаз не сомкнули всю ночь, волки воем выли в две глотки. Эти звери

не успокоятся, пока им не вернут детенышей. Я знаю волчью натуру.

Бостон явился к нему просителем. И от этого подмывало Базарбая покуражиться, поиздеваться, показать себя. Чтобы сам Бостон пришел к нему кланяться — такое и во сне не привидится. И Базарбай решил, раз уж подвернулся такой случай, не упустить своего. И вдобавок мелькнула злорадная мысль: хорошо, что не было им ночью покоя, хорошо, что не до ласк Гулюмкан было Бостону. Всегда бы так! И он сказал, искоса метнув на Бостона взгляд:

— Не морочь мне голову, Бостон! Тоже нашел дурака! Не для этого я брал выводок, чтобы возвращать его чуть не с поклонами. Много ты о себе понимаешь! И потом у тебя свои, а у меня свои интересы. И мне плевать, спалось тебе там с твоей бабой или не спалось, мне от этого ни жарко, ни холодно.

— Подумай, Базарбай, не отказывайся с ходу.

— А чего тут думать?

— Напрасно ты так, — еле сдерживаясь, сказал Бостон. Он понял, что совершил большую ошибку. Теперь ему оставалось прибегнуть к последнему средству. — В таком случае, — сказал он, все еще пытаясь не терять самообладания, — давай стор-

гуемся по-честному — ты продаешь, я покупаю! Тебе все равно продавать этих волчат, так продай их мне. Называй свою цену — и по рукам!

— Не продам! — Базарбай даже привскочил. — Тебе ни за какие деньги не продам! Подумаешь, нашелся — продай! У тебя деньги, а у меня нет! Да плевал я на то, что у тебя деньги. Я их пропью, волчат, но тебе не продам, слышал? Мне плевать, кто ты и что ты! Слушай, садись-ка ты поскорей на коня и уезжай подобру-поздорову!

— Не говори глупости, Базарбай. Давай поговорим как мужик с мужиком. Какая тебе разница, кому продать волчат?

— А такая! Не тебе меня учить. И без тебя ученый. А если хочешь, я тебе такое устрою, что на своем партийном собрании, где ты все выставляешься, я, мол, всем передовикам передовик, всех уму разуму учишь, так вот я тебе там такое устрою, что позабудешь, откуда солнце исходит и куда заходит. Такое устрою, что век не забудешь!

— Ну и ну! — искренне удивился Бостон, невольно отгораживаясь от Базарбая рукой. — Ты постой меня пугать, объясни, за что ты так взъелся?

— За что взъелся? А за то! Ты против властей идешь. Ясно! Один ты умный! Начальство требует уничтожать повсюду хищников, а ты решил

волков миловать, решил размножать — так выходит? Подумай сам кулацкой своей головой! Я целый выводок извел, стало быть, большую пользу государству принес, а ты хочешь подложить их в логово. Пусть растут, пусть плодятся — так, что ли? Да еще меня подкупить хочешь!

— Не тебя подкупить я хочу — глаза б мои на тебя не глядели, — а купить волчат. Только напрасно ты меня стращаешь чуть ли не судом. Ты вначале подумай, пораскинь мозгами, что ты делаешь и кто ты после того есть! Ты вначале взрослых волков убери, если ты такой герой! И прежде всего волчицу, раз ты наткнулся на логово. А если тебе слабо, скажи другим, вот, мол, так и так, и пусть этим займется тот, кому это по силам.

— А кто это — уж не ты ли?

— А хотя бы и я! А теперь попробуй найди этих волков — ищи ветра в поле. Раз ты разорил их логово, теперь волка и волчицу и не выследить и не убить. Теперь они будут резать по округе всю живность, весь скот, в любой час мстить будут человеку — попробуй справься с ними. Ты об этом подумал?

— Рассказывай, рассказывай, ишь выискался адвокат волчий. Пойди докажи — кто тебе пове-

рит? Рассказываешь о волках как о людях, привык вкручивать мозги. Да я тебя вижу насквозь! Я тебе другое скажу. Если ты приперся сюда на меня давить… — Базарбай, не договорив, сорвал шапку с лысой головы, подскочил к Бостону: ни дать ни взять крутолобый бык, — и они сошлись вплотную, лицом к лицу, оба сопели, их душила ненависть.

— Ну, что еще ты хочешь мне сказать? — охрипшим от напряжения голосом сказал Бостон. — А то некогда мне!

— Я всегда знал, что ты жмот, себе на уме, только под себя гребешь, потому и по собраниям таскаешься — без тебя там, пастуха, не обошлись. Только никто не знает, что ты от зависти подыхаешь, как собака, когда кому что-то светит. Не ты, видишь ли, взял добычу, не ты огреб выводок, тебе вот и неймется, вот ночи и не спишь, когда у кого хоть какая-то удача!

— Тьфу ты! — не стерпел Бостон. — И я еще разговариваю с таким гадом! Да сам я дурак! Знал бы, не приехал! Кончай разговор! Все! Теперь если и отдашь волчат — не возьму. Иди, делай свое дело!

Бостон, раздосадованный не на шутку, подошел к коновязи, резко выдернул чумбур, подтянул

рывком подпругу так, что конь зашатался, переступая ногами, и с маху сел в седло. Он был настолько зол, что не услышал, как его окликала жена Базарбая. Бедная женщина самую малость опоздала. Выйдя из дому, она заметила, что муж ее с кем-то громко разговаривает, размахивает руками. «С кем это он? — подумала она. — Да никак сам Бостон пожаловал, впрочем, с чего бы это ему к нам приехать?» Но тут же поняла, что между мужчинами какой-то спор, и поспешила к ним. Однако добежать не успела — Бостон уже отъехал на золотистом дончаке, и вид у него был разгневанный. Нахлобучив лисью шапку, он хлестанул коня и унесся прочь, полы шубы развевались, как крылья.

— Бостон! Бостон! Постой! Послушай меня! — крикнула Кок Турсун, но Бостон не обернулся — кто знает, то ли не услышал, то ли не захотел откликнуться.

— Ты чего человека обидел? Из-за чего у вас спор? — подступилась Кок Турсун к Базарбаю.

— Не твое дело! И не ори, чего тебе понадобилось его звать? Кто он тебе?

— Да ведь раз в сто лет приехал к тебе, а ты?! И кто только тебя такого родил на свет? Изверг ты, не человек!

Слова жены лишь распалили Базарбая, он взвился, вскочил на колоду и заорал вслед Бостону:

— Мать твою затопчу! Не на такого напал! Привык, чтобы все голову перед тобой гнули! Мать твою…

— Перестань! Прекрати! — Кок Турсун отважно кинулась к мужу, стащила его с колоды. — Лучше меня избей, зачем позоришь человека? За что?

— Отойди, зараза! — оттолкнул ее Базарбай. — Какое твое дело? Он, видишь ли, решил, что Базарбай будет лебезить перед ним. На, мол, возьми, ради бога, волчат, пусть будет по-твоему! Не на того напал!

— Так это ты из-за волчат? — подивилась Кок Турсун. — Было бы из-за чего! Прямо конец света! Конец света! Срам-то какой…

IV

В тот день волки снялись с места. И не просто снялись, а покинули логово, не вернулись на ночь и стали бродить на стороне — то уныло отлеживались где придется, то вновь рыскали по округе, особенно не скрывались, вели себя нагло, точно перестали остерегаться людей. В те дни многие окрестные чабаны замечали их в самых неожиданных местах. И всегда волчица с низко пригнутой головой шла впереди, точно бы одержимая безумием, а волк неизменно следовал за ней. Впечатление было такое, будто эта пара ищет свою погибель — настолько очевидно они пренебрегали опасностями. Несколько раз, вызвав невиданный переполох среди собак, они проходили вблизи жилищ и кошар. Псы поднимали злобный лай, бесновались, выходили из себя, делали вид, что вот-вот кинутся в атаку, но волки упорно не обращали на них внимания и, даже когда им вслед стреляли, не убыстряя шага, продолжали свой путь, словно не слышали выстрелов. Одержимость этих странных волков стала притчей во языцех. И еще больше заговорили о них, когда Акбара и Ташчайнар нарушили

волчье табу и стали нападать на людей. В одном случае они средь бела дня осадили тракториста прямо посреди дороги. Он вез сено в прицепной тележке. Заклинило руль, и тракторист, молодой парень, полез вниз поглядеть, в чем дело. Он долго возился там, орудуя ключами, и вдруг заметил невдалеке двух волков, ступающих по таявшему снегу, — они шли к нему. Больше всего его поразили волчьи глаза. С лютым, как он потом рассказывал, оцепеневшим взглядом они приближались к нему, причем волчица была чуть ниже в холке и синеглазая. Глаза у нее были влажные и пристальные. Хорошо, парень не растерялся, успел заскочить в кабину и прихлопнуть дверцу. Хорошо, мотор завелся от стартера, а то все приходилось заводить сплеча, от рукоятки. А тут прямо-таки повезло. Трактор затарахтел, и волки отпрянули, но уйти не ушли, а все норовили приблизиться то с одной, то с другой стороны.

В другой раз лишь чудом уцелел подросток-пастушок. И тоже дело было днем. Он отправился верхом на ослике за топливом, отъехал недалеко от дома — ему надо было привезти хворосту на растопку. Пока он резал серпом в кустарнике сухостойный хворост, откуда-то выскочили два волка. Ослик даже не успел подать голоса.

Нападение произошло мгновенно, молчком и кроваво. Мальчик бежал, не выпуская серпа из рук, и, добежав до кошары, упал и стал кричать не своим голосом. Когда люди из кошары с ружьями побежали к кустарнику, волки неспешной трусцой скрылись за холмом. Даже выстрелы не заставили их убыстрить шаг…

А чуть погодя волки устроили настоящую бойню среди суягных маток, выгнанных попастись неподалеку от кошары. Никто не видел, как и что произошло. Спохватились только тогда, когда оставшиеся в живых животные примчались в страхе во двор. Полтора десятка суягных маток лежали растерзанные на пастбище. Всех их убили зверски, перерезав горло, убили бессмысленно — не для насыщения, а ради умерщвления.

И пошел счет злодеяниям Акбары и Ташчайнара. И пошла о них страшная слава. Но люди видели лишь внешнюю сторону дела и не знали подлинной подоплеки, подлинных причин мести — не ведали о безысходной тоске матери-волчицы по похищенным из логова волчатам…

Базарбай гулял, куражился — пропивал дуриком доставшиеся ему деньги, куролесил в те дни по прибрежным курортным ресторанам, пустынным и мрачным в мертвый сезон, зато

водки было всюду навалом. И везде Базарбай, напившись так, что даже лысина багровела, вел один разговор — о том, как он здорово отшил этого возомнившего о себе и возгордившегося Бостона, этого жмота и змея, этого неразоблаченного тайного кулака, которого в прежние времена приставили бы к стенке как классового врага, и все тут. Жаль, что те времена минули. Такого типа пустить в расход — святое дело! А что! В двадцатые, тридцатые годы любой милиционер мог пристрелить кулака ли, богатея ли прямо у него на дворе. Об этом книги написаны, и по радио читали, как один кулак прижимал, обсчитывал батрака, а его за это пустили в расход средь бела дня у всех на глазах, чтобы неповадно было обижать бедноту. Но больше всего Базарбай любил рассказывать, сам возбуждаясь от своих слов, как он дал Бостону от ворот поворот, как он его костерил да материл, когда тот заявился к нему на Таман. Базарбаевы собутыльники, по большей части слонявшиеся в зимнее время от безделья домотдухчу [4], гоготали так, что стекла звенели в промозглых и смрадных от табачного духа помещениях общепита, поддавали и подна-

[4] Примечания: 4
Домотдухчу — сезонные рабочие домов отдыха.

чивали пьяного Базарбая, еще больше разжигая его бахвальство. Эти разговоры доходили и до ушей Бостона. Вот почему произошел большой скандал на совещании у директора совхоза.

Накануне всю ночь проворочался Бостон от бессонницы, от нахлынувших вдруг тягостных дум. А все началось с того, что опять закружили поблизости от зимовья волки и опять затянули ту невыносимую, душу выворачивающую песню, и опять, дрожа от страха, прижималась Гулюмкан к мужу, а потом не выдержала, принесла снова спящего Кенджеша в постель и поглаживала его, прикрывала телом, точно ему что-то угрожало. Не по себе становилось от этого Бостону, хоть он и понимал, что женщине простительно бояться темноты и непривычных звуков.

Несколько раз порывался Бостон пойти и дать залп из ружья, но жена не отпускала, не желала ни на минуту оставаться одна. Потом она все же уснула тревожным, чутким сном, но Бостон так и не смог одолеть бессонницу. Всякие мысли лезли в голову. И получалось, что чем дольше он жил на белом свете, тем трудней и сложней становилось жить, и не столько даже жить, сколько понять смысл жизни. То, о чем прежде не думалось или думалось невнятно, где-то в глубине души, теперь

возникало в мыслях с настоятельной необходимостью ответить себе, что есть что.

Вот ведь с самого детства жил своим трудом. Судьба ему выпала тяжелая: отец его погиб на войне, когда он во втором классе учился, потом умерла мать, старшие братья и сестры жили сами по себе, иных уже и не было в живых, и он всем был обязан только себе, только своему труду, он, как теперь понимал, шел к некой поставленной самому себе цели упорно, неуклонно изо дня в день, работал не покладая рук и считал, что только в этом и может заключаться смысл жизни. Так же истово он заставлял трудиться и всех, кто работал под его началом. Многих из тех, кто прошел его школу, он вывел в люди, научил работать, а через это и ценить саму жизнь в труде. Тех же, кто не стремился к этой цели, Бостон откровенно не любил и не понимал. Считал таких людей никчемными. Был с ними сух и неприветлив. Знал, что многие его за это поносили за глаза, называли жмотом, кулаком, сожалели, что Бостон поздновато родился, а не то гнить бы его костям в снегах Сибири. Ни на какую хулу Бостон, как правило, не отвечал, ибо никогда не сомневался, что истина на его стороне, иначе и не могло быть, иначе свет перевернулся бы вверх дном. В этом

он был убежден так же, как и в том, что солнце восходит на востоке. И лишь однажды слепая судьба поставила его на колени и заставила горько каяться, и с тех пор познал он тяжесть и горечь сомнений…

V

С Эрназаром, покойным мужем Гулюмкан, до того трагического случая они проработали вместе три года. Хороший был работник, ничего не скажешь, и человек надежный — именно такой нужен был Бостону в его бригаде. Эрназар сам пришел к нему, и с того и началась их общая работа. Как-то осенью приехал он к Бостону в Бешкунгей, где стояла тогда отара перед зимой. Поговорить, сказал, приехал. За чаем как раз и поговорили. Надоело, сетовал Эрназар, работать с кем попало; как ни старайся, а если старший чабан не хозяин, мало проку в одном старании. Вот годы идут, две дочери подрастают, смотришь, замуж скоро выдавать, время-то быстро катится, и сколько ни работаю, а сам весь в долгах, дом построил, кто не знает, во что это обходится, а у тебя, Боске, так называл он его уважительно, не скрою, можно и поработать и заработать. За шерсть, за приплод, за привесы всегда у тебя, Боске, премиальные идут, и немалые. Вот и надумал просить тебя, если не возражаешь, поговори с директором, пусть перебросит меня к тебе первым чабаном, твоей правой рукой. Не подведу,

сам понимаешь, иначе не стал бы этот разговор заводить…

Бостон знал Эрназара и до этого, как-никак в одном совхозе жили, причем Гулюмкан приходилась отдаленной родственницей его жене Арзыгуль. Стало быть, свои люди. Но главное, Бостон сразу поверил в Эрназара и потом никогда не пожалел об этом.

Вот с этого все и началось, с этой немудреной житейской истории. Сработаться им было несложно, потому что Эрназар, как и сам Бостон, был прирожденный хозяин, с точки зрения других — дурак каких мало: к совхозному скоту относился как к своему, будто он лично ему принадлежал. Больной, что ли? А отсюда вытекало и все остальное — и трудился как на себя, и заботился о хозяйстве как о своем кровном. Трудолюбие было в натуре Эрназара. Он был и наделен им от природы, и развил его в процессе жизни, качество это вселенского порядка, им, этим качеством, должны быть наделены все люди, только одни его развивают в себе, это качество, а другие нет. Ведь если подумать, сколько их, лодырей, везде и повсюду — и взрослых, и юных, и мужчин, и женщин. Словно люди не понимают, сколько несчастий и убожества в их жизни проистекает

и проистекало во все времена от лени. Но Бостон и Эрназар были истинными трудягами и потому родственными душами. Оттого и работалось им дружно и согласно, и понимали они друг друга с полуслова. Однако случилось так, что, пожалуй, именно эта черта и сыграла свою роковую роль в их жизни…

Впрочем, так это или не так, кто знает… Дело в том, что еще задолго до появления бригадных и семейных производственных подрядов Бостон Уркунчиев, вероятно, в силу какой-то своей интуиции настаивал при каждом удобном случае, чтобы за ним, вернее, за его бригадой, закреплена была бы земля в постоянное пользование. Простая цель эта, правда, бесхитростно высказанная, но с точки зрения иных ортодоксов вызывающая, сводилась к тому, что пусть, мол, у меня будет своя пастбищная территория, то есть своя земля, пусть у меня будут свои кошары и за них я сам буду в ответе, а не завхоз-комендант, у которого голова не болит, если крыша течет, пусть у меня будут в горах летние выпасы, чтобы не гонять меня с отарой куда попало, и пусть все знают, что те выпасы закреплены за мной, Бостоном, а не за кем другим, и чтобы всем этим распоряжался я сам как хозяин, как работник, и тогда я сделаю во

сто раз больше и дам гораздо больше продукции сверх плана, нежели на обезличенной земле, где я работаю все равно как батрак-джалдама [5], который следующей осенью перейдет неизвестно куда.

Нет, не проходила эта Бостонова идея. Вначале все соглашались, да, это, конечно, правильно, разумно, за всеми бы так закрепить участки, пусть люди чувствуют себя хозяевами и чтобы дети, семья знали об этом и вместе трудились на своей земле, но стоило кому-нибудь из бдительных местных политэкономистов засомневаться: а не есть ли это посягательство на священные принципы социализма? — как все немедленно шли на попятный и начинали говорить обратное, доказывали то, что не было нужды доказывать. Никто не хотел быть заподозренным в ереси. И лишь Бостон Уркунчиев — невежественный пастух — упрямо продолжал твердить свое почти на каждом совхозном или районном собрании. Его слушали, восхищались и посмеивались: а что, мол, ему, Бостону, что думает, то и говорит, терять ему нечего, с работы его не снимут, карьеру не поломают. Счастливец! И каждый раз ему давали

---

[5] Примечания: 5
Джалдама — арендатор.

отповедь с теоретических позиций — особенно усердствовал в этом деле парторг совхоза Кочкорбаев, типичный грамотей с дипломом областной партшколы. С этим Кочкорбаевым отношения у Бостона были почти анекдотичные. Столько лет тот был парторгом совхоза, но Бостону так и не удалось разобраться — то ли Кочкорбаев прикидывался наивным буквоедом (наверное, это давало ему какие-то преимущества), то ли и в самом деле был им. С виду эдакий краснощекий скопец — гладенький, как яичко, всегда при галстуке, всегда с какой-то папкой, всегда озабоченный — дела-дела, — быстро ходит и быстро говорит, точно газету читает. Иногда Бостону думалось: может быть, он и во сне говорит как по писаному.

— Товарищ Уркунчиев, — упрекал Бостона с трибуны парторг Кочкорбаев, — вам давно пора понять, что земля у нас общенародное достояние. Так написано в Конституции. Земля в нашей стране принадлежит народу, только народу и никому другому. А вы требуете себе, можно сказать, чуть ли не в частную собственность зимние и летние пастбища, кошары, корма и прочий инвентарь. Этого мы допустить не можем — мы не имеем права искажать принципы социализма.

Вы поняли, куда вы клоните и куда хотите нас завести?

— Никуда я не хочу никого заводить, — не сдавался Бостон. — Если хозяин не я, а народ, пусть народ идет и работает в моей кошаре, а я посмотрю, что из этого выйдет. Если я не хозяин своему делу, кто-то в конце концов должен же быть хозяином?

— Народ, товарищ Уркунчиев, еще раз повторяю — советский народ, государство.

— Народ? А я кто, по-вашему? Что-то я не возьму в толк. Почему я не государство? Вроде ты, парторг, молодой ученый, только чему вас там учили, если мне твоих слов не понять?

— Я, товарищ Уркунчиев, не пойду у вас на поводу, потому что вы разводите кулацкую демагогию, но запомните — ваше время прошло, и мы никому не позволим посягать на основы социализма.

— Ну, смотрите, вам, начальству, виднее, — огрызался Бостон, — только я все равно на своем стою, работать-то мне, а не кому другому. Чуть что — вы мне рот затыкаете: народ, народ! Народ — хозяин! Ну, хорошо. Пусть тогда народ и рассудит: скота становится из года в год все больше и больше, сорок тысяч голов только мелкого скота

в совхозе — такое прежде никому и не снилось, земли свободной все меньше, а планы растут. Вот смотрите сами: раньше я настригал шерсти по три килограмма семьсот грамм с головы, а лет двадцать тому назад начинал — все знают — с двух килограммов, то есть за двадцать лет с большим трудом дал прибавку в кило семьсот. А теперь за один год план повысили на полкилограмма. Откуда я возьму его? Я что, колдовать должен? А не выполню план, бригада ничего не получит. А у них семьи. Зачем тогда людям работать, круглый год ходить за овцами? А как можно выполнить такой план, когда каждый чабан только и кружит, как коршун, чтобы перехватить у другого выпас получше, потому что земля общая, никто ей не хозяин. И сколько же драк чабанских было из-за выпасов, а ты, парторг, сам ни хрена не делаешь и директору руки вяжешь! Что я, не вижу, что ли?

— Что я делаю или не делаю — об этом судить райкому. Но только и райком не пойдет на вашу опасную авантюру, товарищ Уркунчиев!

И так всякий раз разговор уходил в песок…

А тут опять же судьба привела в чабанскую бригаду Эрназара, и у Бостона появился близкий единомышленник и союзник. Жены их, Арзыгуль

и Гулюмкан, посмеивались, бывало, над ними; два сапога пара подобрались дружки — ни сна, ни отдыха, им бы только работать. Вот тогда и родился у них замысел погнать на лето скот за перевал Ала-Монгю. Идея эта принадлежала Эрназару. Что, говорит, перебиваться все лето по предгорьям, за каждую травинку с соседями за грудки хвататься, не лучше ли двинуть на лето за перевал, на Кичибельский выпас. Старики говорят, что в прежние времена баи-скотоводы будто бы ходили туда с табунами и отарами. В те еще времена и сложили песню «Кичибель». Они знали, что хоть Кичибельское джайляу и не очень большое, зато травы там, сказывают, былинные. За пять дней скот набирает вес, как за целый месяц на откорме.

Бостон и прежде подумывал об этом, но с Кичибелем было много неясностей. Колхозные животноводы еще до войны ходили на лето в Кичибель через единственно возможный перевалочный путь — через ледяной Ала-Монгю. В войну, когда в аилах остались лишь старики да дети, уже никто не отваживался на такой поход. А потом бедствующие колхозы объединились в один большой совхоз с нелепым названием, состоящим из шести слов какого-то очередного

…летия, который местные переименовали в «Берик» по названию речки Берик-суу, и в той суете объединений и превращений забыли постепенно о том, что летом целых два месяца, а то и больше можно выгуливать скот за заснеженным перевалом великого Ала-Монгю. А может быть, никому уже и не хотелось преодолевать такую высоту: ведь чтобы гнать скот через такой трудный горный перевал, требуется энтузиазм, одержимость хозяина, желающего как можно лучше содержать своих животных. Не оттого ли в старые времена, встречаясь, киргизы спрашивали друг у друга: «Мал жан аманбы?» — то есть в здравии ли скот и души. В первую очередь говорили о скоте. Что ж, жизнь есть жизнь…

Загоревшись этой стародавней идеей, Бостон и Эрназар прикинули с карандашом в руках все кичибельские варианты: даже по самым минимальным подсчетам, учитывая, что животные, преодолевая перевал в ту и другую сторону, сбросят вес, игра стоила свеч. Дело сулило большую выгоду — ведь прямых затрат, если не считать провоза соли-лизунца, кроме оплаты труда, практически никаких. Правда, пока еще это были лишь заманчивые расчеты.

Бостон решил прежде всего обратиться к управ-

ляющему отделением, затем к директору совхоза, а к парторгу обращаться не стал. Не любил он парторга, не раз убеждался — пустослов, знай предостерегает: этого нельзя, того нельзя, ему бы только на собраниях выступать, пересказывать, что в газете написано, да щеголять в галстуке. А директору, голове совхоза, Бостон рассказал о замысле: так, мол, и так, Ибраим Чотбаевич, собираемся с Эрназаром воскресить для пользы дела старые пастбища за перевалом Ала-Монгю. Вначале, мол, пойдем на пару разведывать путь, глянем, какие места на Кичибеле и какие травы, а потом, по возвращении, двинем туда гуртом на все лето. И если получится, все, как желательно, пусть тот выпас Кичибельский закрепят за ним, за Бостоном, ну а если кто из чабанов пожелает пробиваться вслед за ним за перевал, пожалуйста, и тому места хватит, главное, чтобы он, Бостон, знал, какие выпасы ему выделят и на что он может рассчитывать в течение сезона. Вот, мол, с этим и пришел к вам, через два дня решили мы с Эрназаром двинуться на перевал Ала-Монгю, а дела пока женам и помощникам перепоручим.

— Кстати, Боске, а как жены смотрят на вашу затею? — поинтересовался директор. — Ведь дело

это нешуточное.

— Вроде с пониманием. К чему бога гневить, моя Арзыгуль с головой баба, да и Гулюмкан, жена Эрназара, та хоть и помоложе, но, сдается, совсем не глупая. И между собой они, гляжу я, здорово поладили. Вот еще чему я рад. А то хуже нет, когда бабы грызутся. Тогда жизнь не в жизнь… Бывали прежде случаи…

И еще кое о чем переговорили они с директором. Оказалось, что осенью на выставку в Москву с трудно произносимым названием ВДНХа или ВДНХы намечалась поездка передовиков района и будто бы Бостон значился в списке чуть не первым.

— А нельзя ли, Ибраим Чотбаевич, мне с женой поехать? Моя Арзыгуль давно мечтает Москву повидать, — признался Бостон.

— Я тебя понимаю, Боске, — улыбнулся директор, — поживем — увидим, как говорится. Почему бы нет? Надо только согласие парторга получить. Я поговорю с ним насчет этого.

— С парторгом? — призадумался Бостон.

— Да ты не сомневайся, Боске. Что он, из-за тебя будет придираться к твоей жене, что ли? Не по-мужски ведь.

— Да не в этом дело. Подумаешь, поедем — не

поедем. Велика беда. Я вот о чем хотел поговорить с тобой, директор. Скажи, тебе очень нужен такой парторг в хозяйстве? Никак не можешь обойтись без него?

— А что?

— Ну, мне важно знать. Вот, скажем, есть у телеги четыре колеса — и все на месте, а если взять и приделать пятое колесо, оно и само не катится, и другим не дает. Так нужно это колесо или нет?

— Видишь ли… — Директор, рослый, крупный мужчина с раскосыми глазами на широком грубоватом лице, посерьезнел, стал перекладывать бумаги на столе, прикрыл глаза усталыми веками. «Недосыпает, все крутится», — подумал Бостон. — Честно говоря, толковый парторг нужен, — сказал он после паузы.

— А этот?

Директор коротко глянул ему в лицо.

— Зачем нам с тобой это обсуждать? Раз его райком прислал, что тут поделаешь.

— Райком. Вот видишь, — вырвалось у Бостона. — Мне иной раз сдается, будто он все прикидывается, что ему для чего-то надо так себя вести. Зачем ему все время стращать людей, точно я социализм хочу подорвать? Ведь это же неправда. Ведь я если чего и требую, так для дела.

Землю эту я не продам, не отдам кому-то, она как была совхозная, так и останется. И все равно я, пока живу, пока работаю, буду жить своим умом.

— Да что ты мне все толкуешь, Боске. Нельзя делать того, что ты предлагаешь.

— А почему нельзя?

— Потому что нельзя.

— Разве это ответ?

— Что я еще могу тебе ответить?

— Я тебя понимаю, Ибраим Чотбаевич. Ты однажды погорел, хотел как лучше, а тебе дали по шее, понизили — перевели из райкома в совхоз.

— Правильно, и больше не хочу, чтобы мне давали по шее: ученый уже.

— Вот видишь, каждый думает прежде всего о себе. Я не против, о себе надо думать, только думать надо по-умному. Наказывать надо не того, кто что-то новое сделал, а того, кто мог сделать и не сделал. А у нас все на оборот.

— Тебе хорошо рассуждать, — усмехнулся директор.

— Всем так кажется. А мне надоело жить как в гостях. Из гостя какой работник? Сам понимаешь. Ну день-два поначалу повкалывает, а потом надоест… А у нас что получается: работаешь, работаешь, а Кочкорбаев тебя все по носу щелкает

— ты гость, ты не хозяин.

— Вот что, Боске, давай договоримся так: ты на меня не ссылайся, но делай так, как сочтешь нужным…

С тем и расстались…

Через три дня на рассвете они с Эрназаром двинулись в Кичибель. Все еще спали, когда они сели на коней. Бостон ехал на кауром мерине, Донкулюк его — в ту пору двухлетка — еще был молод, а в горы лучше отправляться на тихоходной лошади, ведь на перевал не поскачешь галопом. У Эрназара тоже был под седлом добрый конь. Лошади к тому времени года были уже в теле, шли быстро. Каждый вез с собой курджун овса — на случай ночевки в снегах. Везли с собой и шубы овчинные тоже на этот случай.

Бывает, сам путь приносит радость. Особенно если попутчик подберется по душе да разговор неторопливый неприхотливо течет. А в тот день погода выдалась на редкость ясная — впереди возвышались горы, снежный хребет за снежным хребтом, каждый следующий все более кряжистей и снежней, а если оглянуться, позади в низине лежало насколько хватало глаз великое озеро. И всякий раз хотелось оглянуться на застывшую, как притемненное зеркало, синеву

Иссык-Куля.

— Эх, увезти бы хоть чуток синевы Иссык-Куля в курджуне, — пошутил Эрназар.

— А лошадь чем будешь кормить, вместо овса — синевой? — резонно ответил ему Бостон.

И оба рассмеялись. Им редко удавалось освободиться от повседневных, тяжких чабанских забот, и хотя ехали они с тем, чтобы разведать перегон через перевал, а впереди им предстояло еще более трудное и мучительное дело, в тот час обоим было хорошо, и тропа предков пока была к ним милостива. Эрназар ехал в отличном настроении — все-таки его идея пошла в дело. С самой войны, целых сорок лет никто не ходил за тот перевал, а они с Бостоном отважились.

Эрназар, к слову сказать, любил порассуждать, порасспросить. И собой был видный малый, в армии, оказывается, служил в последних кавалерийских частях после войны. Выправка была у него что надо, хотя и прошло столько лет. Гулюмкан, смеясь, рассказывала, что ее Эрказар однажды чуть было артистом не стал. Приехал какой-то кинорежиссер и стал уговаривать Эрназара сняться в кино. Если бы, говорит, твой Эрназар жил в Америке, играть бы ему ковбоя в кино. А Гулюмкан ему и ответь: «Знаю я ваше ки-

но, слышала, одного табунщика взяли сниматься, так он и сгинул — какая-то артистка увела его. А я своего Эрназара не отпущу». Смех один!

А Бостон подумывал, как бы осенью, когда они возвратятся с Кичибеля, помочь Эрназару получить под начало бригаду. Пусть человек работает постоянно, давно пора доверить ему чабанство, негоже держать его так долго в подпасках, был бы он, Бостон, директором совхоза или парторгом, знал бы, каких людей, когда и куда ставить, но, как говорят в народе, «бири кем дуние» — в мире всегда что-то не так.

В горах им уже не встречались трактора и верховые, все реже попадались на пути зимовья и кошары, менялся и ландшафт: природа была здесь чужая, более суровая, холодная. К вечеру, еще до захода солнца, Бостон и Эрназар добрались по каменистому ущелью до подножья перевала Ала-Монгю. Можно было бы, пока не стемнело, проехать еще дальше, но рассудили, что при перегоне скота, даже если выйти на заре, при звездах, все равно за целый день большего расстояния в горах покрыть не удастся, а раз так, значит, здесь, в ущелье, под самой завязкой перевала, и придется останавливаться на ночь. Скотоводы называют такую ночь шыкама, ночь перед штурмом пе-

ревала. К тому же место для шыкамы оказалось очень удобным — речка стекала с ледников, здесь был ее исток, можно было выбрать место под склоном, куда не достигал бы ветер с ледников. Чабаны хорошо знали, что пронизывающий и опасный ветер с ледников всегда начинается с полуночи и держится до восхода солнца. Укрыть многочисленный скот от ледникового ветра на ночь и утром со свежими силами начать штурм перевала — в этом хитрость шыкамы.

Спешившись и расседлав притомившихся коней, путники начали устраиваться на ночлег. Облюбовали место под небольшим утесом, набрали кое-какого топлива — Эрназар не поленился спуститься по ущелью довольно далеко, туда, где росли низкорослые горные деревца. Потом поужинали у огня провизией, что захватили с собой из дома, даже чай вскипятили в жестяном чайнике и, довольные, стали укладываться после долгого пути на покой.

В высотах под перевалом быстро стемнело, и сразу стало холодать — точно зима нагрянула. Путь из лета в зиму составил всего лишь день верховой езды. Стужей повеяло с ледников Ала-Монгю — ведь они были совсем недалеко, эти вековечные ледники, как говорится, рукой

подать. Бостон вычитал в какой-то газете, что льды эти лежат на высотах уже миллионы лет и что благодаря им и возможна здесь, в долинах, живая жизнь — льды постепенно подтаивают и дают начало рекам, которые несут свои воды в жаркие низины и поля, вот как мудро устроено все в природе.

— Эрназар, — сказал уже перед сном Бостон, — а холод-то какой! Чувствуешь, как пробирает? Хорошо, что шубы захватили.

— Шубы что, — отозвался Эрназар. — В прежние времена еще спасались молитвой, она так и называлась — перевальная. Помнишь ее?

— Да нет, не помню.

— А я помню, как ее дед читал.

— Ну-ка прочти.

— Да я ведь как помню — с пятого на десятое.

— Все лучше, чем никак. Давай начинай!

— Ну, хорошо. Я буду говорить, а ты повторяй. Слышишь, Бостон, повторяй: «О, Владыка студеного неба, синий Тенгри, не ужесточи пути нашего через перевал ледяной. Если тебе надо, чтобы скот полег в метель, возьми взамен ворону в небе. Если тебе надо, чтобы дети наши задохнулись от стужи, возьми взамен в небе кукушку. А мы подтянем подпруги коней, прикрепим по-

крепче вьюки на бычьих горбах и обратим к тебе наши лица, только ты, Тенгри, не становись на нашем пути, пропусти нас через перевал к травам зеленым, к водопоям студеным, а возьми взамен эти слова…» Кажется, так, а дальше не помню…

— Жаль…

— Да что жалеть? Теперь такие молитвы никому не нужны, теперь учат в школах, что все это отсталость и темнота. Вон, мол, в космос летают люди.

— А при чем тут космос? Что, если в космос летаем, так надо и забыть прежние заклинания? Кто в космос летает, тех по пальцам перечесть можно, а сколько нас на земле и землей живет? Отцы наши, деды наши землей жили, что же нам в космосе? Пусть они себе летают — у них свое дело, у нас свое.

— Легко сказать, Боске, а такие, как наш парторг Кочкорбаев, что ни собрание, поносят все старое, говорят — не так свадьбы справляете, почему не целуетесь на свадьбах, почему невеста с тестем не танцуют в обнимку? Имена и то не те даете детям — есть, говорит, утвержденный свыше список новых имен, а все старинные надо заменить. А то вдруг прицепится — не так хороните, говорит, не так оплакиваете покойника. Как людям плакать,

и то указывает: не по-старинному, говорит, надо плакать, но-новому.

— Да знаю я, Эрназар, будто это мне неизвестно. Вот попади я в Москву, а меня вроде осенью собираются на выставку послать, вот тогда, честное слово, пошел бы в ЦК, хочу узнать: нужны ли нам в самом деле такие, как Кочкорбаев, или это наше горе? И ведь ничего не скажи ему, чуть что — за глотку берет, ты, говорит, против партии. Он один, видишь ли, вся партия. И никто ему не перечит. Вот ведь как у нас. Сам директор его обходит сторонкой. Ну да бог с ним! Беда в том, что таких, как Кочкорбаев, немало и в других местах… Давай-ка спать, Эрназар. Ведь завтра у нас самый трудный день…

Так в разговорах о том о сем заснули в ту ночь двое чабанов в ущелье под великим ледяным перевалом Ала-Монгю. Звезды уже сияли в призрачной темной выси над горами, все до единой, сколько их ни есть, высыпали в небе, и удивительно было Бостону, что такие крупные и тяжелые, каждая с его кулак, звезды не падали, а висели в небе и неустанно мерцали, и холодный ветер свирепо свистел в камнях… Всегда ему места не хватает, богу ветров Шамалу… Всегда он недоволен и всегда что-то в себе таит…

* * *

Такой же порывистый холодный ветер врывался с тонким присвистом сквозь оконные щели и в ту глухую ночную пору, когда под тягостный вой волков Бостону заново вспомнилось все пережитое. И он снова перебирал в памяти старое, прошедшее, и душу его бередила обида, причиненная никчемными людьми, которые даже несчастья других используют для глумления и клеветы. О, как сильны они в этом гнусном своем древнем деле! Кого угодно заставят страдать, кого угодно заставят мучиться бессонницей — от царя до пастуха. И так нехорошо становилось Бостону от этих безысходных мыслей, что подчас вой волков, опять объявившихся в эту ночь, казался ему воплем его измученной души. Ему чудилось, что это больная душа бродит во тьме за кошарами, это она, его ослепшая от горя душа, плачет и воет вместе с волчицей Акбарой. И не было никаких сил выносить вой волчицы и хотелось заткнуть ей глотку. «Вот ведь какая настырная! Ну что ты с ней поделаешь? Чего тебе надобно от меня? — раздражался Бостон. — Ничем я тебе не смог помочь. Я старался, но не получилось, Акбара, поверь, не вышло. И не вой больше! Нет их, нет здесь твоих

волчат, хоть сто верст пробеги, пропиты они и распроданы кто куда. И теперь их тебе не найти! Так уймись же! Сколько ты будешь карать нас? Уходи, уходи, Акбара! Забудь наконец. Понимаю, тяжко тебе, но уйди, исчезни, и не приведи бог, чтобы ты попалась мне на глаза, пристрелю тебя, несчастную, не посмотрю ни на что, пристрелю, потому что нет от тебя житья, и не доводи меня, и без тебя тошно, тебя я могу убить, но что мне делать с теми, кто глумится над бедой моей, так хоть ты уйди, исчезни, чтобы больше никогда не слышать твой вой! И еще кое-кого убил бы я, и, клянусь матерью, не дрогнула бы моя рука. Есть у нас с тобой общий враг — у тебя, Акбара, он похитил детенышей, а меня эта пьяная тварь поносит поганым языком своим. И когда я думаю об этом и о том, как тогда, срывая ногти, лез в ту ледяную пропасть и как звал Эрназара и плакал один-одинешенек в беспощадных горах, не хочется жить, совсем не хочется. И не стал бы я жить, плевал бы на все, если бы не этот малыш. Вот он здесь, рядом, свернулся комочком, спит, мать принесла его поближе ко мне. Ну, ясное дело, женщина боится волчьего воя, а малыш спит, потому что он чист, потому что он дитя невинное, потому что дан он мне за муки мои,

за то, что мне пережить пришлось, в нем кровь и плоть моя, он мой слепок последний. Но ведь я не просил себе такой судьбы, она сама пришла, как приходит день, как наступает ночь, верно говорят, от судьбы не уйдешь, а этот гад Базарбай такой гнусный поклеп на меня возводит, что так бы и придушил его, как собаку, потому как нет на него управы. А кто подпевает ему — первый наш парторг, точно делать ему нечего, подхватывает, что этот пьянчуга плетет, обездолить хочет моего малыша… Как же мне не понять твоего горя, Акбара!» Так думал Бостон, маясь бессонницей в ту ночь, но даже он при всем его уме и чуткости не мог представить себе всю меру страданий Акбары. Пусть не было у нее слов, но были муки, хоть ей и не дано было выразить их словами. И никак не могла она избавиться от этих сжигавших ее мук. Разве могла она выскочить из своей шкуры? Разве не пыталась она бесцельно и непрерывно метаться по горам и поймам вместе с Ташчайнаром, неотступно следующим за ней всюду и всегда, в надежде загонять себя, свалиться с ног, умереть от усталости, издохнуть? Разве не пыталась она утишить, заглушить неутихающую боль утраты, яростно, отчаянно нападая вместе с Ташчайнаром на всех, кто попадался

им на пути? Разве не пыталась она вернуться в свое логово под скалой, чтобы еще раз убедиться, что оно пусто, чтобы окончательно убить в себе всякую надежду, чтобы не обманываться больше сновидениями?..

О, как это тяжко! В тот вечер, скитаясь бесцельно по окрестностям, Акбара вдруг круто повернула к Башатскому ущелью и поскакала, все убыстряя бег, точно какое-то дело требовало ее немедленного присутствия. Ташчайнар, как всегда, шел следом за волчицей, не отставая от нее ни на шаг. А Акбара все убыстряла бег и бежала как безумная по камням, по сугробам, по лесам… И по знакомой тропе через старый лаз, через заросли барбариса проникла в нору, и в который уже раз убедилась, что логово пусто, что оно давно нежилое, и опять завыла, заскулила жалобно, обшаривая и обнюхивая все, на чем мог сохраниться запах сосунков: «Где они, что с ними? Где вы, щенята, четыре комочка-молочника? Когда бы вы выросли, когда бы окрепли ваши клыки, когда бы пошли вы рядом со мной, как прочны были бы мои бока, как не знали бы устали мои ноги».

Акбара металась, бегала возле ручья, где все еще разило отвратительно гадким запахом из

горлышка бутылки и лежали вмерзшие в землю остатки расклеванного птицами овса…

Потом она снова вернулась в логово, улеглась, уткнув морду в пах. Ташчайнар прилег рядом, согревая ее густым, плотным мехом.

Была уже ночь. И снилось Акбаре, что волчата у нее под боком, здесь, в логове. Они неуклюже копошились, прильнув к сосцам. Ах, как давно ей хотелось отдать им молоко, все, что скопилось, до боли, все до капли… И так жадно сосали щенята, причмокивая и захлебываясь от изобилия молока, и так сладостно растекалось по телу волчицы томительное ощущение материнской неги, только вот молоко почему-то не убывало… И волчицу-мать беспокоило: почему так получалось, почему сосцы ее не облегчались, а щенки не насыщались? Но зато все четверо детенышей тут, рядом, под боком, вот они — и тот, что шустрее всех, с белым кончиком хвоста, и тот, что дольше всех кормился и засыпал с сосцом в пасти, и третий, драчливый и плаксивый, и среди них самочка — крохотная волчица с синими глазами. Это она — будущая новая Акбара… А потом снилось волчице, будто она не бежит, а летит, не касаясь земли, — снова в Моюнкумах, в великой саванне, и рядом с ней четверо волчат, и они

тоже не бегут, а летят, и с ними отец, Ташчайнар, несущийся огромными прыжками. Солнце ярко светит над землей, и прохладный воздух течет, струится, как сама жизнь…

И тут Акбара проснулась и долго лежала не шелохнувшись, придавленная жестокой явью. Потом осторожно встала, так осторожно, что даже Ташчайнар не услышал, и, осторожно ступая, вышла из логова. Первое, что она увидела, выйдя наружу, была луна над снежными горами. Луна в ту ясную ночь казалась такой близкой и так резко выделялась на звездном небе, что казалось — до нее ничего не стоит добежать. Волчица подошла к говорливо булькающему ручью, уныло побродила по бережку, опустив голову, потом присела, поджав хвост, и долго глядела на круглую луну. В ту ночь Акбаре как никогда четко и ясно привиделась богиня волков Бюри-Ана, находившаяся на луне. Ее корявый силуэт на поверхности луны был очень похож на саму Акбару — богиня Бюри-Ана сидела там как живая, с откинутым хвостом и раскрытой пастью. Акбаре показалось, что лунная волчица видят и слышит ее. И, высоко задрав морду, она обратилась к богине, плача и жалуясь, и клубы пара вылетали у нее из пасти: «Взгляни на меня, волчья богиня Бюри-Ана, это я, Акбара,

здесь, в холодных горах, несчастная и одинокая. О, как плохо мне! Ты слышишь, как я плачу? Ты слышишь, как я вою и рыдаю, и вся утроба моя горит от боли, а сосцы мои разбухли от молока, и некого вспоить мне, некого вскормить, лишилась я моих волчат. О, где они и что с ними? Сойди же вниз, Бюри-Ана, сойди ко мне, и мы сядем рядышком, повоем, порыдаем вместе. Сойди же вниз, волчья богиня, и я поведу тебя в те края, где я родилась, в степи, где не осталось места для волков. Сойди сюда, в эти каменные горы, где тоже нет нам места, видно, нигде нет места волкам… А если не сойдешь, Бюри-Ана, возьми меня, сирую волчицу, мать Акбару, к себе. И буду я жить на луне, жить с тобой и плакать о земле. О, Бюри-Ана-а-а, слышишь ли ты меня? Услышь, услышь, услышь меня, Бюри-Ана, услышь мой плач!»

Так плакала, так выла на луну Акбара той ночью средь холодных гор…

* * *

Когда минула ночь-шыкама на перевале, первым поднялся Эрназар и, кутаясь в шубу, пошел глянуть на стреноженных лошадей.

— Холодно? — спросил Бостон, с опаской выглядывая из-под шубы, когда Эрназар вернулся.

— А тут всегда так, — отозвался Эрназар. — Сейчас холодно, а чуть солнышко выглянет, сразу потеплеет. — И он прилег на попону.

Рано еще и сумрачно было в тот час в горах.

— Как там наши лошади?

— Нормально.

— Я вот думаю: будем скот гнать, не помешает палатку поставить здесь на ночь, все теплее будет.

— Отчего не поставить, — согласился Эрназар. — В два счета поставим. Лишь бы путь проложить, а остальное от нас зависит.

С восходом солнца в горах и впрямь потеплело. Воздух быстро прогрелся, и едва посветлело, они оседлали лошадей.

Прежде чем сесть в седло, Бостон еще раз огляделся, обвел глазами обступающие кручи и скалы. Дики и высоки были они, и человек казался ничтожно малым рядом с ними. А они бросали вызов этим горам. «Перевал нас не испугает, — подумал Бостон, — речь идет о жизни. А когда речь идет о жизни, человека ничего не может испугать, ему всюду дорога — в море, под землей, в небе. Пройдем и мы».

Для начала они отыскали старую тропу с отодвинутыми с пути камнями и мысленно просле-

дили, как она пойдет через перевал. Получалось, что путь проходил через заснеженную седловину между двумя вершинами. Туда и двинулись. Там, за этой седловиной, очевидно, и начинался спуск на другую сторону хребта Ала-Монгю, там и находилось джайляу Кичибель, где, как рассказывали старики, растет березовый лес и течет быстрая горная река. Нередко вот так прячет природа заветные свои места в дальние уголки, делает их неприступными. Но когда речь идет о хлебе насущном, человеку приходится добиваться своего — ему необходимо жить на земле…

Тропа становилась все круче. Когда начался снежный наст под ногами, лошадям стало труднее идти — чем дальше они шли, тем глубже был снег. Светило солнце, ветер стих, и в полной тишине учащенное дыхание лошадей слышно было так хорошо, как собственное дыхание.

— Ну что? — оглядываясь, спрашивал Бостон Эрназара. — Если снег будет овцам выше брюха, нам туго придется. Что скажешь?

— Не без того, конечно, Боске, идем-то куда! Но главное, чтобы недолго нам было туго. Тогда в случае чего прорoем тропу для овец, а кое-где и протопчем,

— Я тоже об этом подумал. Надо нам с собой

лопаты привезти. Запомни на будущее, Эрназар, что нам надо прихватить лопаты.

Когда снег стал лошадям выше колена, чабаны спешились и повели лошадей на поводу. Тут воздуха стало не хватать, пришлось дышать ртом. Снежная белизна слепила глаза — понадобились темные очки, в которых теперь все ходят по улицам. Пришлось скинуть и шубы, бросить их на седла. Лошади тяжело дышали, вспотели, бока их ходили ходуном. К счастью, до той критической седловины было, в общем-то, не так далеко…

Солнце уже стояло в зените над вечным нагромождением оцепеневших заснеженных гор. Ничто не предвещало изменения погоды, если не считать нескольких облачков, лежавших на их пути. Сквозь них, или, вернее, по ним, можно было пройти, как по вате. Даже не верилось, что в этот час в низовьях Прииссыккулья было настолько жарко, что отдыхающие загорали на пляжах у озера.

Им оставалось еще метров пятьсот, и теперь они уже думали о том, что хорошо бы по ту сторону перевала дело пошло не хуже. Наконец перевал был взят, и Бостон с Эрназаром остановились передохнуть. Они совсем запарились. Запыхались. Да и лошади изрядно устали.

Счастливые и довольные, они смотрели вниз на пройденный ими путь.

— Ну, все, Боске, — сказал, улыбаясь, Эрназар. Глаза его сияли от радости. — С отарой здесь можно пройти. Конечно, если погода будет.

— То-то и оно. При тихой погоде, конечно.

— Вот мы с тобой шли два с половиной часа, — сказал Эрназар, глянув на часы. — И вроде ничего, а?

— А с овцами часа три придется идти, — заметил Бостон, — а то и больше. Но, главное, мы убедились — можно идти через перевал. А теперь пошли дальше. Вон с того места, думается мне, уже виден спуск, а может быть, откроется и Кичибель. Там сейчас должно быть зеленым-зелено…

И они пошли дальше. Кругом лежал чистый снег, где ровной пеленой, где вздыбленный и взвихренный ветрами в сверкающие сугробы. Но угадывалось, что где-то впереди стихия снега кончалась и начинался иной мир.

Им хотелось поскорее пробиться туда и увидеть своими глазами Кичибель — цель их пути. Так шли они по самой седловине между горами, как между верблюжьими горбами, и заветное зрелище казалось совсем близким. Бостон, пропахивая снег, шел впереди, ведя коня на поводу, как вдруг

что-то дрогнуло у него под ногами. Он услышал позади вскрик.

Бостон резко оглянулся и оторопел: Эрназар скрылся, куда-то исчез — не было видно ни его, ни его коня. Только снег клубился там, где он только что шел.

— Эрназар! — страшно вскрикнул Бостон и сам испугался своего крика, гулко раскатившегося в мертвенной тишине.

Бостон кинулся к тому месту, где клубился снег, и лишь чудом остановился, отпрянул — перед ним зияла пропасть. Черным мраком и мерзлотной стужей веяло из того провала. Тогда Бостон лег на снег и подполз на животе к самому краю, не осознавая, вернее, не осмеливаясь осознать, что произошло. И весь он, со всеми его ощущениями и мыслями, превратился в страх, и страх этот сковал его тело. И тем не менее Бостон все полз и полз, какая-то сила помогала ему двигаться, заставляла дышать. Бостон полз, упираясь локтями, смахивая налипающий на лицо снег. Он понял, что под ним лед, и ему вспомнились рассказы о разломах и трещинах, таившихся под снегом, куда проваливались, бывало, целые табуны, вспомнилось проклятие: «Джаракага кет» — чтоб тебе провалиться в бездонную трещину. Но за

что такое проклятие обрушилось на Эрназара, да и не только на Эрназара, а и на него самого?

Не иначе как за то, что он ненасытный, все ему мало, всем он недоволен… Если бы знал он, что может случиться такая беда…

Бостон пополз к кромке разлома — и перед ним открылся рваный черный обрыв, уходящий вниз рваной стеной. Он задрожал от ужаса.

— Эрназар, — прошептал тихо Бостон — у него враз пересохло горло, — затем заорал диким, срывающимся голосом: — Эрназар, где ты? Эрназар! Эрназар! Эрназар!

И когда смолк, услышал, как показалось ему, снизу стон и еле различимые слова: «Не подходи». И закричал Бостон:

— Эрназар! Брат мой! Я сейчас! Сейчас! Потерпи! Сейчас я тебя вытащу!

Он вскочил, рискуя провалиться, вспахивая снег, побежал к лошади, стал сдирать с нее сбрую: моток веревки и топор, что они на всякий случай прихватили, были приторочены к седлу Эрназара и вместе с ним рухнули в пропасть. Бостон выхватил нож из ножен, обрезал концы кожаных ремней — подхвостника, нагрудника, стремян, подпруги, поводьев, узды и чумбура, — срастил и связал все в один ремень. Порезался в кровь

— руки тряслись от напряжения. И снова кинулся он к разлому, снова дополз до самого края, лез, не выбирая дороги, задыхаясь точно в агонии, точно боялся, что вот-вот умрет и не успеет спасти Эрназара.

— Эрназар! Эрназар! — звал он. — Вот веревка, есть веревка! Слышишь, есть веревка! Ты слышишь? Эрназар! Брат мой, откликнись!

Связанный из сбруи ремень, намотав один конец на кулак, он спустил в пропасть. Но никто не ухватился за ремень, никто не откликнулся на его зов. И не знал он, далеко ли спустился брошенный им ремень и какова глубина у этой пропасти.

— Откликнись, Эрназар! Откликнись! Хоть одно слово, Эрназар! Брат мой! — звал и звал его Бостон, но эхо доносило из пропасти его собственный голос, и от этого Бостону стало жутко. — Где ты, Эрназар! — взывал Бостон. — Ты слышишь, Эрназар? Что же мне делать? — И не в силах совладать с собой, зарыдал, стал громко выкрикивать бессвязные слова. Он жаловался отцу, погибшему на фронте, давно умершей матери, детям, братьям, сестрам, а особенно горячо жаловался он своей жене Арзыгуль. Нет, не укладывалась в его сознании случившаяся беда…

Погиб, погиб Эрназар! И никто не мог утешить его в горе… Отныне оно будет жить в нем всю жизнь… И вскричал тогда Бостон: «Ты разве не слышал наших заклинаний?! Что же ты наделал и кто ты есть после этого?» — сам не понимая, к кому обращается.

Встал, шатаясь, понял, что уже вечереет, и почувствовал, что на перевале меняется погода. Откуда-то наползли тучи, порывами набегала холодная поземка. Но что же было делать? Куда идти? Лошадь, брошенная им на тропе, уже ушла назад — он видел, как она спускается вниз, но догнать ее не мог. Да и что толку от коня, если он порезал всю сбрую вплоть до подпруги и стремянных ремней. В злости Бостон пнул никчемное седло. Так стоял он, вспухший, почерневший, без шапки (шапка его давеча скатилась вниз, в расщелину), озираясь, среди скал и вечной мерзлоты на перевале Ала-Монгю совершенно один. Пронизывающий ветер на перевале наводил безысходную тоску на его и без того потрясенную душу. Куда теперь идти и что делать? Как удачно все начиналось, и откуда только взялась эта страшная расщелина на их пути? Осмотрев цепочку собственных следов, он понял, что Эрназар упал в расщелину по чистой случайности — сам

он прошел буквально в полутора метрах от края разлома, а Эрназар, на беду, взял чуть правее — и свалился вместе с конем в ледяную расщелину, скрытую под снегом.

Помочь другу он практически ничем не мог. Но и смириться тоже не мог. Бостон вдруг подумал: а что, если Эрназар еще жив, что, если он только потерял сознание, — тогда его необходимо срочно вызволить из пропасти, пока он не закоченел там окончательно. И тогда, может быть, его удастся спасти. И бросив шубу на снег, он бросился вниз бегом, хоть и трудно было бежать по тем местам. Надо найти способ поскорее известить совхоз о случившейся беде, думал он, тогда они пришлют на помощь людей с веревками, заступами, фонарями, и тогда он сам спустится на веревках в расщелину, найдет Эрназара и спасет его.

Он несколько раз падал, с ужасом думал: «Только бы не сломать ногу!» — и снова вставал и ускорял шаг.

Бостон бежал, надеясь еще догнать лошадь, хотя на лошади теперь не было даже уздечки. Погода портилась с каждой минутой. В воздухе уже носилась снежная пороша. Но не это беспокоило Бостона — он знал, что внизу снегопада не будет, даже если на перевале начнется пурга.

Его страшило, что же будет с Эрназаром. Дождется ли он спасателей, если он еще жив. Скорей, скорей — стучало у него в мозгу. Его беспокоило, что сумерки сгущались, а в темноте быстро не побежишь.

Лошадь Бостону так и не удалось догнать. Почуяв свободу, каурый коняга поскакал в родные места.

По хорошо знакомым ему предгорьям Бостон шел напрямик, сильно сократив свой путь. Он был измучен не так ходьбой по бесконечным оврагам и пашням, как тяжкими, не оставляющими его ни на минуту мыслями о случившемся. Голова его гудела от бесконечных планов спасения Эрназара. То ему казалось, что он не должен был уходить с перевала и оставлять Эрназара одного, и пусть бы его самого замела метель. То чудилось, как в кромешной тьме ледяного подземелья стонет умирающий Эрназар, а наверху над горами свищет яростная пурга. Когда же он представлял себе, что скажет семье Эрназара, его детям, его жене Гулюмкан, ему становилось и вовсе невыносимо и казалось, что он сойдет с ума.

И все-таки не только неудачи подстерегали его, выпала ему и удача. В тот день кто-то из чабанов играл свадьбу в предгорьях. Женил сы-

на-студента, прибывшего на каникулы. Гости разъехались поздно, последние отправились далеко за полночь на грузовике. Ярко светила луна. Веяло озерной прохладой в предгорьях. В далекой низине едва угадывалось смутно мерцающее зеркало Иссык-Куля. Людям хотелось петь, и они пели одну песню за другой.

Заслышав песни, Бостон успел выскочить на дорогу и отчаянно замахал руками. На этом-то грузовике он и прибыл во втором часу ночи в совхоз «Берик». Грузовик остановился возле дома директора совхоза. Залаяла собака, норовя схватить Бостона за сапог. Не обратив на нее внимания, он застучал кулаком по окну.

— Кто там? — раздался встревоженный голос.

— Это я, Бостон Уркунчиев.

— Что случилось, Боске?

— Беда.

* * *

На другой день к полудню спасатели уже шли гуськом к перевалу Ала-Монгю. Их было шестеро вместе с Бостоном. До того предела, куда можно было доехать, людей подбросили на вездеходе. Теперь они шли на подъем с веревками и инструментом. Молча, упорно шли вслед за Бостоном,

сберегая дыхание. С часу на час должен был подлететь к перевалу вертолет из города, сбросить им на помощь троих опытных альпинистов.

Бостон думал о том, что вчера в это же время они с Эрназаром шли этой же тропой на перевал и не ведали, что подстерегает их…

Он понимал, что даже если Эрназар был жив первое время после падения, то целые сутки на дне ледяной пропасти он вряд ли вынесет. И однако, несмотря ни на что, ему хотелось верить в чудо.

После пурги, бушевавшей минувшую ночь, на перевале было снежно и тихо. Снег блестел до боли в глазах. К сожалению, пурга начисто замела все вчерашние следы, и теперь Бостон не мог точно определить, где находится тот разлом во льдах. Но, как всегда, в жизни нет худа без добра — кто-то из спасателей нашел в снегу брошенную Бостоном накануне перед уходом шубу, а в нескольких шагах от шубы нашлось и брошенное седло. Ориентируясь по этим вещам, удалось довольно точно определить место расщелины, заметенной за ночь. К тому времени подоспели и альпинисты. Они то и спустились в расщелину, по их словам, глубиной едва ли не с шестиэтажный дом…

Поднявшись наверх, альпинисты заявили, что достать Эрназара не могут. Его тело накрепко вмерзло, впаялось в толщу льда, так же как и труп его коня. Альпинисты объяснили, что от резких ударов лед может сместиться, начнется обвал, и тогда спасатели сами окажутся жертвами, будут раздавлены… Альпинисты сказали, что Бостону остается только спуститься в расщелину и попрощаться с Эрназаром. Другого выхода нет…

И еще долгое время, годы и годы, Бостону снился один и тот же навечно впечатавшийся в его память страшный сон. Ему снилось, что он спускается на веревках в ту пропасть, освещая ледяные стены ручным фонариком. При нем еще один запасной фонарик на тот случай, если он уронит первый. Вдруг он обнаруживает, что запасной фонарик куда-то исчез, запропастился, и от этого ему не по себе. Тревожно и жутко. Хочется кричать. Но он продолжает медленно спускаться все глубже и глубже в чудовищное ледяное подземелье, и наконец свет фонаря выхватывает из тьмы вмерзшего в лед Эрназара: Эрназар (так оно и было) стоит на коленях, шуба задралась ему на голову, лицо его залито кровью, губы крепко сжаты, глаза закрыты. «Эрназар! — зовет его Бостон. — Это я! Слышишь, я

хотел оставить тебе запасной фонарь — здесь так страшно и темно, — но я потерял его. Понимаешь, Эрназар, потерял. И все равно я отдам тебе свой. На, возьми мой фонарь. Возьми, Эрназар, прошу тебя!» Но Эрназар не берет у него фонарь и никак не откликается. Бостон плачет, содрогается от рыданий и просыпается в слезах.

И весь день потом ему не по себе — в такие дни Бостон мрачен и угрюм. Об этом сновидении он никогда никому не рассказывал, ни одной душе, и тем более — Гулюмкан, даже после того, как она стала его женой. Никому из семьи Эрназара не рассказывал он также и о том, что спускался в пропасть проститься с Эрназаром.

Когда он вернулся с перевала домой, в бригаде все уже знали о случившейся трагедии. И не было для Бостона ничего тяжелее, чем видеть убитую горем, плачущую Гулюмкан, ему казалось, лучше бы ему сгинуть там, на перевале, лучше бы ему еще тысячу раз спуститься в ту пропасть и заново пережить весь тот ужас. Гулюмкан тяжко переносила гибель мужа. Боялись, как бы она не лишилась рассудка. Она все время рвалась куда-то бежать: «Не верю, не верю, что он погиб! Отпустите меня! Я найду его! Я пойду к нему!»

И однажды ночью она действительно сбежала.

Намаявшись за день, Бостон собирался было отдохнуть, вот уже несколько дней кряду ему не удавалось раздеться и лечь в постель — приходилось встречать соболезнующих: люди ехали со всей округи, многие по старинному обычаю начинали оплакивать Эрназара еще издали: «Эрназар, родной ты мне, как печень моя, где увижу тебя?» — и он помогал им спешиться, успокаивал их… А в тот день вроде вечер выдался более или менее свободный, и Бостон, раздевшись до пояса, умывался у себя во дворе, поливая себе из ковша. Арзыгуль была у Гулюмкан: эти дни она почти все время находилась у соседки.

— Бостон, Бостон, где ты? — вдруг послышался крик Арзыгуль.

— Что случилось?

— Беги скорее, догони Гулюмкан! Она куда-то убежала. Дочки ее плачут, а я не смогла ее остановить.

Бостон едва успел надеть майку и, как был с полотенцем на шее, вытираясь на ходу, побежал догонять обезумевшую Гулюмкан.

Догнал он ее не сразу.

Она быстро шла впереди по пологому оврагу, направляясь в сторону гор.

— Гулюмкан, остановись, куда ты? — окликнул

ее Бостон.

Она уходила не оглядываясь. Бостон прибавил шагу, он подумал, что Гулюмкан в таком состоянии может сейчас бросить ему в лицо обвинение, которого он больше всего боялся, скажет, что это он, Бостон, погубил Эрназара, и эта мысль как крутым кипятком ожгла его, ведь и сам он казнился, терзался этим, и не было покоя его душе. И что тогда ответит он ей?

Разве он станет оправдываться? Да и для нее есть ли толк в оправданиях? Как доказать, что, бывают роковые обстоятельства, над которыми человек не властен? Но и эти слова не утешали, и не было в природе таких слов, чтобы душа смирилась с тем, что произошло. И не было слов, чтобы объяснить Гулюмкан, почему он еще жив после всего, что случилось.

— Гулюмкан, куда ты? — Запыхавшись от бега, Бостон поравнялся с ней. — Остановись, послушай меня, пойдем домой…

Еще было достаточно светло в тот вечерний час, горы еще просматривались в тихом сумраке медленно угасающего дня, и когда Гулюмкан обернулась, Бостону показалось, что от нее, как призрачное излучение, исходило горе, черты ее лица были искажены, словно она смотрела на

него из-под толщи воды. Ему было невыносимо больно видеть ее страдания, больно за ее жалкий вид — ведь еще вчера она была цветущей, жизнерадостной женщиной, — больно за то, что она бежала не помня себя, за то, что помятое шелковое платье, в которое ее нарядили, разъехалось на груди, за то, что новые черные ичиги казались на ней траурными сапогами, а коса ее была расплетена в знак траура.

— Ты куда, Гулюмкан? Куда идешь? — сказал Бостон и невольно схватил ее за руку.

— Я туда, к нему на перевал пойду, — сказала она каким-то отрешенным голосом.

Вместо того чтобы сказать: «Да ты в уме ли? Когда же ты туда доберешься? Да ты там околеешь в одночасье в таком тонком платье!» — он стал просить ее:

— Не надо сейчас. Скоро уже ночь, Гулюмкан. Пойдешь как-нибудь в другой раз. Я сам покажу тебе это место. А сейчас не надо. Пойдем домой. Там девочки плачут, Арзыгуль тревожится. Скоро ночь. Пошли, прошу тебя, Гулюмкан.

Гулюмкан молчала, согнувшись под тяжестью горя:

— Как же я буду жить без него? — горестно прошептала она, качая головой. — Как же он остался

один совсем, не похороненный, не оплаканный — без могилы?

Бостон не знал, как ее утешить. Он стоял перед ней, поникший, виноватый, в выбившейся, обвисшей на худых плечах майке, с полотенцем на шее, в кирзовых сапогах, в которых чабан неизменно ходит и зимой и летом. Несчастный, виноватый, удрученный. Он понимал, что ничем и никак не может возместить утрату этой женщине. И если бы он мог оживить ее мужа, поменявшись с ним местами, он бы, ни минуты не думая, сделал это.

Они молчали, каждый думал о своем.

— Пошли. — Бостон взял Гулюмкан за руку. — Мы должны быть там, куда люди приходят вспоминать Эрназара. Должны быть дома.

Гулюмкан припала к его плечу и, словно отцу родному изливая горе, что-то неразборчиво бормотала, захлебываясь рыданиями, содрогаясь. Он поддержал ее под руку и так, вместе горюя и плача, они вернулись домой. Угасал тихий летний вечер, полный терпких запахов цветущих горных трав. Навстречу им, ведя за руки Эрназаровых девочек, шла Арзыгуль. Увидев друг друга, женщины обнялись и с новой силой заплакали, точно после долгой разлуки…

Полгода спустя, когда Арзыгуль уже лежала в районной больнице, а Гулюмкан давно переехала в рыбацкий поселок на Побережье, Бостону вспомнился тот вечер, и глаза его затуманились от нахлынувших чувств.

Бостон сидел в палате у жены, возле ее кровати, и с болью в душе смотрел на ее изможденное, обескровленное лицо. День был теплый, осенний, соседи по палате все больше гуляли во дворе, и потому и состоялся тот разговор, начала которой сама Арзыгуль.

— Мне хочется тебе о чем-то сказать. — Медленно выговаривая слова, Арзыгуль с трудом подняла глаза на мужа, и Бостон заметил, что она еще сильнее пожелтела и исхудала за эту ночь.

— Я тебя слушаю. Что ты хотела сказать, Арзыгуль? — ласково спросил Бостон.

— Ты доктора видел?

— Видел. Он сказал…

— Постой. Не важно, что он сказал, об этом потом. Пойми, Бостон, мы должны серьезно поговорить с тобой.

От этих слов у Бостона сжалось сердце. Он достал платок из кармана и вытер на лбу пот.

— А может, не стоит об этом, выздоровеешь — тогда поговорим. — Бостон попытался отвести

назревающий разговор, но по взгляду жены понял, что настаивать нельзя.

— Всему свое время, — упрямо шевелила бледными губами больная. — Я тут все думала — а что еще делать в больнице, если не думать? Думала о том, что прожила с тобой хорошую жизнь, и судьбой своей я довольна. К чему бога гневить — детей вырастили, на ноги поставили, теперь они могут жить самостоятельно. Про детей у меня с тобой отдельный разговор будет. Но тебя, Бостон, мне жалко. Больше всех мне жалко тебя. Неумелый ты, к людям подхода у тебя нет, ни перед кем не кланяешься. Да и немолод ты уже. После меня не сторонись людей. Я к тому, что после меня не ходи в бобылях, Бостон. Справишь поминки, подумай, что тебе делать дальше, я не хочу, чтобы ты жил один. У детей ведь своя жизнь.

— Зачем ты все это, — глухо проронил Бостон. — Об этом ли нам говорить?

— Об этом, Бостон, об этом! О чем же еще? Об этом и говорят напоследок. После смерти ведь не скажешь. Так вот думала я тут и о тебе и о себе. Часто приходит ко мне Гулюмкан. Сам знаешь, не посторонний она для нас человек. Так уж обернулась жизнь, что осталась она вдовой с малыми детьми. Достойная женщина. Мой тебе

совет — женись на ней. А уж там сам решай, как тебе поступить. Каждый волен сам за себя решать. Когда меня не станет, скажи ей об этом нашем разговоре… А вдруг и выйдет так, как мне хотелось. И у Эрназаровых детей будет отец…

Приезжие на Иссык-Куль часто подтрунивают над иссыккульцами: живут у озера, а озера не видят — все некогда им. Вот и Бостон в кои веки вырвался к берегу, а то все издали да мимоходом любовался иссык-кульской синью.

А в этот раз, выйдя к вечеру из больницы, пошел сразу на берег — потянуло побыть в одиночестве у синего чуда среди гор. Бостон глядел, как ветер гонит по озеру белые буруны, вскипающие ровными, будто борозды за невидимым плугом, рядами. Ему хотелось плакать, хотелось исчезнуть в Иссык-Куле — хотелось и не хотелось жить… Вот как эти буруны — волна вскипает, исчезает и снова возрождается сама из себя…

* * *

И все-таки волки доняли Бостона — они так долго, так невыносимо выли вокруг кошта, что вынудили его встать с постели. Но сначала они разбудили Кенджеша. Малыш проснулся с плачем, Бостон придвинул сынишку поближе, стал

успокаивать его, обнимая и прижимая к себе:

— Кенджеш, а Кенджеш! Я же здесь. Ну, чего ты, глупыш? И мама здесь — вот она, видишь? Хочешь кис-кис? Хочешь, чтобы свет зажег? Да ты не бойся. Это кошки кричат. Это они так воют.

Гулюмкан проснулась и тоже принялась успокаивать малыша, но тот не унимался. Пришлось зажечь свет.

— Гулюм, — сказал жене Бостон уже от дверей: он пошел включить свет. — Пойду все же припугну зверей. Так дальше невозможно.

— Сколько времени сейчас?

Бостон глянул на часы.

— Три часа без двадцати.

— Вот видишь, — огорчилась Гулюмкан. — А в шесть тебе вставать. Куда это годится? Эта проклятая Акбара сведет нас с ума. Что за наказание такое?!

— Ну успокойся. Что ж теперь делать? Я мигом обернусь. Да не бойся ты-то хоть. Вот наказание, ей-богу. Я снаружи запру дверь на замок. Не беспокойся. Ложись спать.

И он прошел под окнами, громко стуча кирзачами, надетыми наспех на босу ногу. Бостону хотелось наконец столкнуться с волками, и потому он нарочито громко скликал собак, ругал

их последними словами. Он был готов на все — так осточертели ему эти остервеневшие от горя волки.

Помочь им он ничем не мог. Оставалось только надеяться, что ему удастся пристрелить волков, если он их увидит, благо у него была полуавтоматическая винтовка.

Однако волков он не встретил. И тогда, проклиная весь свет, вернулся домой. Но и заснуть он тоже не смог. Долго лежал в темноте, в голове неотвязно крутились беспокойные, наболевшие мысли.

А думалось ему о разном. И больше всего о том, что из года в год добросовестно работать становится все труднее и что у нынешнего народа, особенно у молодежи, совсем стыда не стало. Слову теперь никто не верит. И каждый прежде всего свою выгоду ищет. Ведь до войны, когда строили знаменитый Чуйский канал, люди съехались со всех концов страны, работали бесплатно и добровольно. А теперь никто не верит, сказки, мол, рассказываете, мыслимы ли такие дела. В чабаны теперь никого на аркане не затащишь. И все об этом знают, но делают вид, будто это временное затруднение. А скажешь об этом, обвинят в клевете. Поешь, дескать, с чужого голоса! И никому

не хочется подумать всерьез, что же дальше-то будет. Единственное, что успокаивало, радовало его, — Гулюмкан не ругала его, не пеняла, что ему приходится круглый год чабанить без выходных и отпусков. Отару оставить невозможно было, стадо не отключишь, не вырубишь рубильник, не остановишь, за стадом нужен пригляд круглые сутки. Вот и выходит, куда ни повернись, везде не хватает рук. И не потому, что нет людей, а потому, что люди не хотят работать. Но почему? Ведь без труда жить нельзя. Это же гибель. Может быть, дело в том, что надо жить и трудиться иначе? Самый больной вопрос был, где брать для работы в расплодных пунктах сакманщиков, чтобы ухаживать за народившимися ягнятами. Опять же молодежь туда не шла. Там нужно было круглые сутки дежурить. Не за страх, а за совесть следить за приплодом, и поэтому туда молодых парней силой не загонишь. Современной молодежи не хочется возиться в грязи и жить на отшибе. Да и платили там мало, в городе за восьмичасовой рабочий день на фабрике или на стройке парень или девушка могли заработать куда больше. «А как же мы всю жизнь вкалывали там, где требовались рабочие руки, а не там, где выгодно? А теперь, когда пришла пора молодым браться

за дело, от них толку мало — ни стыда у них, ни совести», — обижались старики. Этот конфликт, постепенно приведший к непониманию и отчуждению поколений, давно уже бередил души людей. И опять в памяти Бостона всплыл все тот же разговор. Не удержался он тогда. И зря. Опять все свое выступление он посвятил тому, что человек должен работать как на себя. Другого пути он не видит, а для этого необходимо, чтобы работник был лично заинтересован в том, что делает. Бостон уже не раз говорил, что оплата должна зависеть от результатов труда, а главное — чтобы для чабана земля была своя, чтобы чабан за нее болел, чтобы помощники и их семьи болели за эту землю, иначе ничего не выйдет…

Отповедь ему, как всегда, дал парторг Кочкорбаев. Газет-киши, человек-газета, как прозвали Кочкорбаева к совхозе, сидел по правую сторону директорского стола, боком к Бостону. Насупив брови — ему, должно быть, было не по себе, — то и дело поправляя для солидности галстук, Кочкорбаев недружелюбно косился на Бостона. Директор совхоза Чотбаев легко представлял себе ход кочкорбаевской мысли. Он хорошо изучил за многие годы совместной работы его несокрушимую, неистребимую, раз и навсегда заученную

логику демагога: опять, мол, вылез этот Бостон Уркунчиев, кулак и контрреволюционер нового типа. Жизнь его бьет под дых, а он все свое. Загнать бы его куда подальше, как в прежние времена…

На рабочем совещании в тот день присутствовал и новый инструктор райкома, скромный с виду молодой человек, которого люди в «Берике» пока еще не знали. Он внимательно слушал выступавших и все заносил в свой блокнот. Чотбаев предполагал, что Кочкорбаев не упустит случая показать себя при новом инструкторе райкома. И не ошибся. После выступления Бостона Кочкорбаев попросил слова вроде бы для реплики. И заговорил как по писаному: он умел излагать вопрос совсем как газета, и в этом была его сила.

— До каких пор, товарищ Уркунчиев, — обратился он к Бостону, как всегда официально, на «вы», — до каких пор вы будете смущать людей своими сомнительными предложениями? Тип производственных отношений внутри социалистического коллектива давно определен историей. А вы хотите, чтобы чабан, как хозяин, решал, с кем ему работать, а с кем нет, и кому сколько платить. Что это такое? Не что иное, как атака на историю, на наши революционные

завоевания, попытка поставить экономику над политикой. Вы исходите лишь из узких интересов своей отары. Для вас это вопрос вопросов. Но ведь за отарой стоит район, область, страна! К чему вы нас хотите привести — к извращению социалистических принципов хозяйствования?

Вскипев, Бостон вскочил с места.

— Я никого никуда не зову. Я устал уже об этом говорить. Никого я никуда не зову, не мое пастушье дело, что там происходит в области, в стране, а то и в мире. И без меня хватает умников. А мое дело — отара. Если парторг не хочет знать, что я думаю о своей отаре, зачем вызывать меня на такие совещания, отрывать от дела? Пустопорожние разговоры не для меня. Может, для кого они и важны, но я в них не разбираюсь. Товарищ директор, ты меня больше не зови! Не надо меня отрывать от работы. Мне такие совещания не нужны!

— Ну как же так, Боске? — Чотбаев беспомощно заерзал на месте. — Ты передовик, лучший чабан совхоза, опытный работник, мы хотим знать, что ты думаешь. Для того и вызываем тебя.

— Ты меня удивляешь, директор. — Бостон не на шутку разгорячился. — Если я передовик, кому, как не тебе, директор, знать, чего мне это

стоит. Так почему же ты молчишь? Стоит мне раскрыть рот, и Кочкорбаев не дает мне слова вымолвить, придирается, все равно как прокурор, а ты, директор, сидишь да помалкиваешь как ни в чем не бывало, будто тебя это не касается.

— Постой, постой, — прервал его Чотбаев.

Директор явно переполошился: он попал в очень трудное положение — на этот раз ему не удается сохранить нейтралитет между Бостоном и Кочкорбаевым. В присутствии инструктора директору придется занять определенную позицию. А до чего не хотелось связываться с Кочкорбаевым, этим человеком-газетой, чья демагогия могла привести в действие грозные силы: ведь Кочкорбаев был далеко не единственным звеном в цепочке, руководствующейся начетническими принципами. И в этот раз Кочкорбаев намеренно обострил обсуждение, с ходу обвинив чабана — ни мало ни много — в «атаке на наши революционные завоевания», ну кто после этого посмеет ему возразить? Однако надо было как-то выходить из положения.

— Постой, постой, Боске, ты не горячись, — сказал директор и встал из-за стола. — Давайте разберемся, товарищи, — обратился к собранию Чотбаев, лихорадочно обдумывая, как примирить

стороны. Конечно, Бостон прав, но с Кочкорбаевым шутки плохи. Как же быть? — О чем у нас идет речь? — рассуждал директор. — Чабан, насколько я понимаю, хочет быть хозяином отары и земель, а не лицом, работающим по найму, и говорит он не только от своего имени, а от имени и своей бригады и чабанских семей, и этого тоже нельзя не принимать во внимание. Тут, мне кажется, есть свой резон. Чабанская бригада — это и есть наша малая экономическая ячейка. С нее и надо начинать. Как я понимаю, Уркунчиев хочет взять все в свои руки: и поголовье, и пастбища, и корма, и помещения — словом, все, что необходимо для производства. Он собирается внедрить бригадный расчет, чтобы каждый знал, что может заработать, если будет работать как на себя, а не как на соседа, от и до. Вот как я понимаю предложение Уркунчиева, и нам стоит к нему прислушаться, Джантай Ишанович, — обратился Чотбаев к парторгу.

— А я, как парторг совхоза, которым мы с вами, товарищ Чотбаев, руководим, понимаю так, что поощрять частнособственническую психологию в социалистическом производстве не к лицу кому бы то ни было, и особенно руководителю хозяйства, — с торжеством в голосе укорил директора

Кочкорбаев.

— Но поймите, это предлагается в интересах дела, — начал оправдываться директор. — Ведь молодежь не идет в чабанские бригады…

— Значит, у нас плохо ведется агитационно-массовая работа, надо напомнить молодежи про Павлика Морозова и его киргизского собрата Кычана Джакыпова.

— А это уже по вашей части, товарищ Кочкорбаев, — вставил директор. — Вам и карты в руки. Напоминайте, агитируйте. Вам никто не мешает.

— И будем агитировать, напрасно вы беспокоитесь, — с вызовом бросил парторг. — У нас намечен целый комплекс мероприятий. Но очень важно вовремя пресекать частнособственнические устремления, как бы хорошо их ни маскировали. Мы не позволим подрывать основы социализма.

Слушая эту полемику, которая велась на полном серьезе, Бостон Уркунчиев впал в уныние, страх невольно подкатил к горлу. Ведь он сказал только, что ему хочется наконец потрудиться на земле по своему разумению, а не по чужой подсказке.

— Никому никаких уступок и поблажек, — продолжал Кочкорбаев. — Социалистические формы

производства обязательны для всех. Мои слова адресованы прежде всего товарищу Уркунчиеву. Он все время добивается для себя исключительных условий.

— Не только для себя, — перебил его Бостон. — Такие условия нужны всем, тогда у нас и работа ладиться будет.

— Сомневаюсь! И вообще, что это за манера такая — ставить свои условия? Сделайте то да сделайте это. Хватит уже того, что вы, товарищ Уркунчиев, в погоне за персональным выпасом для своей отары погубили человека на перевале Ала-Монгю. Или этого вам мало?

— Продолжай, продолжай! — отмахнулся в сердцах Бостон. Невыносимо стало обидно и больно, что о гибели Эрназара говорили вот так, мимоходом и походя.

— Что — продолжай, продолжай? Разве я неправду говорю? — уколол его Кочкорбаев.

— Да, неправду.

— Как же неправду, когда труп Эрназара до сих пор лежит во льдах на перевале. И может быть, еще тысячу лет там пролежит.

Бостон промолчал: уж очень неприятно ему было, что на собрании завели об этом разговор. Но Кочкорбаев все не унимался.

— Что молчите, товарищ Уркунчиев? — подлил он масла в огонь. — Разве не вы пошли открывать для себя новое, персональное джайляу?

— Да, шел для себя, — резко ответил Бостон. — Но не только для себя, а и для всех, в том числе и для тебя, Кочкорбаев. Потому что я тебя кормлю и пою, а не ты меня. И сейчас ты плюешь в колодец, из которого пьешь!

— Что это значит? — возмутился Кочкорбаев, лицо его налилось кровью. — Я всем обязан только партии!

— А партия, думаешь, откуда берет, чем тебя кормить? — огрызнулся Бостон. — С неба, что ли?

— Что это значит, что это за безответственные речи! — взвился Кочкорбаев, судорожно поправляя галстук.

Назревал скандал. И Кочкорбаев и Бостон стояли — один у стола, другой у стены — как приговоренные к смерти, казалось, еще немного, и кто-нибудь из них рухнет на пол. Положение несколько выправил молодой инструктор райкома.

— Успокойтесь, товарищи, — неожиданно подал он голос из угла, где сидел, делая записи в блокноте. — Мне кажется, чабан Уркунчиев в

принципе прав. Труженик, как мы любим говорить, созидатель материальных благ имеет право сказать свое слово. Только надо ли было заходить так далеко?

— Да вы его не знаете, товарищ Мамбетов, — торопливо подхватил Кочкорбаев. — Претензии Уркунчиева вообще не имеют границ. Вот, к примеру, недавно один чабан, Нойгутов, да, именно Нойгутов Базарбай, обнаружил в горах волчье логово. Ну и изъял выводок, так сказать, экспроприировал, то есть забрал подчистую четырех волчат, чтобы ликвидировать стаю на корню. Поступил, как и следовало поступить. И что же вы думаете? Этот Уркунчиев стал буквально преследовать Нойгутова. Вначале хотел подкупить, а когда этот номер у него не прошел, потому что Нойгутов человек принципиальный, Уркунчиев стал ему угрожать, требовать, чтобы Нойгутов вернул волчат на место не иначе как для того, чтобы эти хищники и дальше размножались. Да что же это такое? Как это понять? Может быть, товарищ Уркунчиев, ко всему прочему вы хотите завести еще и своих личных волков? Собственных, персональных, так сказать. Может быть, совхоз обязан обеспечить вам еще и волков? Сначала своя земля, свои овцы, а потом и свои волки!

Так, что ли? Или как вас надо понимать — пусть волки размножаются, режут наши стада, живут за счет общенародной собственности?

Бостон к тому времени успел уже взять себя в руки и сказал довольно спокойно:

— Все верно насчет волков, только одна беда — волки ведь не разумеют, что посягают на общенародную собственность.

Присутствующие невольно рассмеялись, а Бостон, воспользовавшись паузой, продолжал:

— Не о волках надо бы здесь говорить. Но коли уж зашел о них разговор, скажу и я свое слово. Во всяком деле разумение должно быть, на то мы разумными и родились. А у иных из нас разума не хватает, а хвастовства хоть отбавляй. Вот, к примеру, тот случай с волчатами. Как уже было сказано, Базарбай изъял, а попросту говоря, утащил, спер из норы волчат, а уж шуму сколько вокруг — чуть не в герои его записали. А этот герой не подумал, что прежде надо было выследить самих волков-родителей да пристрелить их, матерых, а уж потом думать, что делать с их щенятами. А он поторопился волчат продать, а деньги пропить. Почему я просил Базарбая отдать волчат мне или продать — чтобы на детенышей подманить в засаду волка да волчицу,

а не оставлять на воле разлютовавшихся после разорения их гнезда волков. Надо же понимать, что разлютовавшийся волк стоит десятерых волков, вместе взятых. Он не успокоится, пока не отомстит. Все чабаны знают, как свирепствует сейчас в округе пара, у которой отняли детенышей, Акбара и Ташчайнар — клички у них такие. И никак теперь не унять их, они могут и на человека напасть — с них станется. Иных дурных людей называют — я об этом и в газетах читал и в книгах — провокаторами. Вот Базарбай он и есть волчий провокатор, он волков подбил лютовать. Я ему уже говорил и опять скажу прямо в лицо: он поступил, как трусливый провокатор. И тебе, парторг, скажу прямо в лицо: не пойму я, что ты за человек. Столько лет уже ты в нашем совхозе, а до сих пор только и знаешь что газеты почитывать да стращать таких, как я, пастухов, мол, мы и против революции и против Советской власти, а сам в хозяйстве ничего не смыслишь и ничего не знаешь, иначе не стал бы обвинять человека в том, что он хочет размножать волков. Бог с ними, с волками, это твое обвинение просто курам на смех. Но другое твое обвинение, товарищ Кочкорбаев, я без ответа оставить не могу. Да, Эрназар погиб на перевале. Но почему мы с ним пошли на

перевал? Не от хорошей жизни! Что мы там искали? А ты подумал, парторг, что нас понесло туда, подумал, что, не будь у нас страшной нужды в выпасах, мы не стали бы так рисковать? И нужда эта с каждым днем все страшнее становится. Вот и директор тут сидит, пусть он скажет, когда он начинал директорствовать, какие травы, какие пастбища, какие земли были! А что теперь? Пыль да сушь кругом, каждая травинка на счету, а все потому, что запускают в десять раз больше овец, чем на такие площади можно, и овечьи копыта становятся пагубой для них. Вот почему мы с Эрназаром и двинулись на Кичибель. Мы хотели как лучше, но нас подстерегало несчастье. Наш поход плохо кончился. И на том я отступился от этой цели и умолк, беда заставила меня умолкнуть, не до того было. А сложись все иначе, поехал бы в том году в Москву на выставку, пошел бы к самым главным руководителям нашим и рассказал бы о тебе, Кочкорбаев. Ты кичишься тем, что только и думаешь о партии, а вот нужны ли партии такие люди, как ты, которые сами ничего не делают и только вяжут руки другим.

— Вы, однако, зарвались! — не стерпел Кочкорбаев. — Это клевета! И вы, Уркунчиев, строго ответите за свои слова в партийном порядке.

— Я и сам хочу ответить за все на партийном собрании. И если я действительно не то делаю и не так думаю, тогда гоните меня в шею, значит, не место мне в партии, и нечего меня щадить. Но и тебе, Кочкорбаев, надо подумать об этом.

— Мне нечего думать, товарищ Уркунчиев. Моя совесть чиста. Я всегда с партией.

Бостон перевел дух, точно бежал в гору, и, глядя на инструктора райкома, сказал:

— А тебя, новый товарищ инструктор, очень прошу доложить в райком. Пусть с нами разберутся на партийном собрании. Дальше я так жить не могу.

Вскоре Бостон Уркунчиев убедился, что вокруг его стычки с Кочкорбаевым начинают нагнетаться события. Как раз в тот день он ездил по своим делам на Побережье. В Прииссыккулье вот-вот должны были зацвести сады. Шли последние дни весны, а Бостон все не успевал опрыскать яблони у себя в саду и на бывшем дворе Эрназара. У Бостона и Гулюмкан теперь было два дома и два сада, и оба нуждались в присмотре. А происходило это потому, что чабанская жизнь проходит в горах, и вечно не хватает времени сделать нужное по хозяйству. Все откладываешь, а потом глянь — и время прошло, и все сроки прошли. Но как бы

там ни было, опрыскать сад было необходимо, иначе вредители размножатся с поразительной быстротой, перепортят завязь и погубят урожай. В этот раз Гулюмкан не сдержалась и крепко выговорила Бостону: мол, он все тянет, что бы ему поехать пораньше, договориться с кем-нибудь из соседей, раз сам не успевает. Пусть соседи за плату сделают эту работу.

— Какая от тебя помощь по дому? — в раздражении бросила Гулюмкан. — День и ночь толчешься в отаре да на собраниях сидишь. Если сам не можешь довести сад до ума, посиди денек с Кенджешем дома — за этим дурачком глаз да глаз нужен, — а я спущусь на Побережье, сделаю вместо тебя все что полагается порядочному хозяину.

Права была Гулюмкан — ничего не попишешь, пришлось молча выслушать ее.

С тем и выехал Бостон поутру на Побережье, чтобы заняться садом. Ехал на Донкулюке. Как говорят исстари, весной и трава набирает силу и конь. К тому же Донкулюк был в самой поре: поблескивая огненным глазом, взмахивая гривой, он от избытка сил все порывался бежать. Но у Бостона было не то настроение, чтобы скакать сломя голову. Он придерживал ретивого коня

— ему хотелось по дороге спокойно подумать о том о сем. Минувшей ночью он плохо спал. Долго ворочался, не мог забыть, как парторг обвинил его в гибели Эрназара. Вернувшись домой с собрания, рассказал вкратце жене что да как, а об этом обвинении умолчал. Не хотелось лишний раз напоминать Гулюмкан о бывшем муже, хоть и много лет прошло с его гибели, потому что тогда не избежать тягостного разговора, от которого будет худо и ей и ему, ведь непогребенный Эрназар лежит на перевале Ала-Монгю вмерзший навечно в лед на дне страшной, как ночь, пропасти. Так лучше уж умолчать об этом обвинении. А едва Бостон начал засыпать, как опять явились волки. И опять на пригорке за большой кошарой надсадно завыла Акбара, оплакивая похищенных волчат. И низким, утробным басом вторил ей Ташчайнар. И если прежде, слыша волчий вой, Бостон проникался жалостью к волкам, сочувствием к их беде, то теперь в нем поднималась злость, хотелось убить наконец этих настырных зверей, лишь бы не слышать их воя, который звучит проклятием и ему, а он-то в чем виноват? Минувшей ночью он пришел к решению во что бы то ни стало уничтожить волков, и у него даже созрел план, как это сделать. К тому же в тот день, когда он на

совещании схватился с Кочкорбаевым, Акбара и Ташчайнар порешили трех овец из его отары. Подпасок рассказал, что волки подобрались к отаре, и как он ни кричал, как ни махал палкой, они ничуть не испугались, а порезали трех овец и скрылись. Бостона этот случай вывел из себя. Если так будет продолжаться, подумал он, нам останется только уйти отсюда, позорно бежать от волков. Акбара и Ташчайнар не понимали, что своим неумолчным воем подписывают себе в тот час смертный приговор. Теперь Бостон твердо знал, что ему делать, и готов был немедленно приступить к исполнению своего замысла, если бы ему не пришлось на другое утро отправиться по хозяйственным делам на Побережье. Но он так и решил: вначале, чтобы жена не упрекала, навести порядок в саду, а потом уж расправиться с волками. Вот о чем думал в пути Бостон…

* * *

С опрыскиванием и весенней окопкой яблонь он управился в один день. Ему удалось найти в селе расторопного парня, и тот взялся за плату быстро сделать эту работу. Бостон пообещал ему одного ягненка от своих черных овец.

Покончив с делами, Бостон решил купить но-

вую игрушку Кенджешу. Хотелось порадовать сыночка. Такой славный мальчуган бегает по дому, через месяц с небольшим ему уже исполнится два года. Забавный, бойкий мальчишка радовал своими выходками стареющего Бостона. Каждое новое словечко малыша приводило отца в восторг. Через него постигал Бостон глубинный, сокровенный смысл жизни, таящийся в привязанности к дитяти и к его матери. То была конечная и высшая точка предназначенной Бостону судьбы. Он хотел любить жену и малыша, а сверх того ничего не требовал и не желал от жизни, ибо разве это не высшее благо, ниспосланное нам. Он об этом никогда не говорил, но про себя знал, что так оно и есть. И верил, что жена разделяет в душе его чувства.

Бостон спешился возле раймага «Маданият», прошел внутрь и купил заводную лягушку, лупоглазую, смешную, — то-то малыш будет забавляться! Выйдя на улицу, он собрался сесть на коня, как вдруг почувствовал голод и вспомнил, что с утра ничего не ел. Столовая была совсем рядом с раймагом, и он, на беду, решил зайти туда. Едва Бостон вошел в полутемный зал, пропитавшийся запахом дешевой пищи, которой кормили здесь проезжих шоферов, и сел неподалеку от

входа за стол, как тут же услышал за спиной голос Базарбая. Бостон не оглянулся — он и так понял, что тот гуляет здесь с дружками. «Сидит пьет средь бела дня с прихлебателями, и хоть бы хны, ни стыда, ни совести у человека», — неприязненно подумал Бостон. Хотел было встать и уйти от греха подальше, но потом подумал: а, собственно, с какой стати, почему он должен уходить не поев? Заказал борщ, котлеты, а тем временем Базарбаю уже, должно быть, доложили, что в углу сидит Бостон. И сразу голоса за спиной враждебно приутихли, а затем снова загалдели. И вскоре к Бостону был послан один из Базарбаевых приятелей, некий Кор Самат, Кривой Самат, местный забулдыга и сплетник, которому еще в молодости выбили в драке глаз.

— Салам, Бостон, салам! — С многозначительной усмешкой Самат протянул руку Бостону — и ничего не поделаешь, пришлось ее пожать. — Ты чего здесь в одиночестве? — приступился он к Бостону. — А мы там с Базарбаем сидим. Давно не встречались, решили собраться. Пошли к нам. Сам Базарбай зовет.

— Скажи, что некогда мне, — ответил Бостон как можно сдержаннее. — Я сейчас вот доем и сразу уеду в горы.

— Да успеешь еще — куда они денутся, твои горы?

— Нет, спасибо. Дела.

— Ну смотри, зря ты так, зря, — бросил, уходя, Кор Самат.

Вслед за ним явился и сам Базарбай уже заметно навеселе, а за Базарбаем потянулись и другие.

— Слушай, ты чего нос воротишь? Тебя зовут как человека, а ты? Ты что, лучше других себя считаешь? — с ходу начал цепляться Базарбай.

— Я же сказал, некогда мне, — спокойно ответил Бостон и демонстративно начал хлебать из тарелки борщ, к которому в другой раз он бы после первой ложки ни за что не притронулся.

— У меня к тебе дело есть, — сказал Базарбай и нахально сел против Бостона.

Остальные остались стоять в ожидании захватывающей сцены.

— Какие у нас с тобой могут быть дела? — ответил Бостон.

— Нам бы стоило поговорить, к примеру, хотя бы о тех волчатах, Бостон. — Базарбай нахмурился и покачал головой.

— Мы с тобой уже говорили о них, стоит ли второй раз возвращаться к этому?

— По-моему, стоит.

— А по-моему, нет. Не мешай мне. Я сейчас доем и пойду отсюда.

— Куда спешишь, собака? — Базарбай резко встал и, нагнувшись, приблизил к Бостону искаженное злобой лицо. — Куда спешишь, сволочь? Мы с тобой еще про волков не поговорили. Ведь ты при всем народе у директора в кабинете назвал меня провокатором, сказал, что из-за меня волки лютуют. Думаешь, я не знаю, что такое провокатор? Думаешь, я фашист, а ты один у нас честный?

Бостон тоже вскочил с места. Теперь они стояли лицом к лицу.

— Перестань трепать языком, — осадил Базарбая Бостон. — Фашистом я тебя не называл — не догадался, а стоило бы. А то, что ты провокатор и безмозглый злодей, — верно. Я это тебе и прежде говорил и сейчас скажу. Но лучше будет, если ты вернешься на свое место и перестанешь ко мне лезть.

— А ты не указывай, кому где быть и что делать! — не на шутку разъярился Базарбай. — Ты мне не указ. Плевал я на тебя. Пусть я, по-твоему, провокатор, а ты-то сам кто такой? Думаешь, люди не знают, кто ты есть? Думаешь, погубил Эрназара — и все шито-крыто. Да ты, гад, снюхал-

ся с его женой, еще когда Эрназар был жив, а твоя старуха должна была помереть. Тогда ты и решил столкнуть Эрназара в пропасть на перевале, а сам жениться на этой суке Гулюмкан. Попробуй докажи, что это не так. Почему не ты в пропасть провалился, а Эрназар? Шли-то вы одной дорогой. Думаешь, никто ничего не знает! Но он-то погиб, а ты остался жив. Да кто вы после этого, ты и твоя сука Гулюмкан? Эрназар на перевале вмерз в лед, остался без могилы, как собака, а ты, гад, обжимаешь его бесстыжую жену, суку продажную, и живешь себе припеваючи! А еще партийный! Да тебя надо гнать взашей из партии. Ишь, передовик нашелся какой, стахановец! Да тебя под суд надо!

Бостон еле сдержался, чтобы не кинуться с кулаками на Базарбая, не измолотить мерзкую рожу. Тот явно вызывал его на драку, на скандал, на смертельную схватку. Но он сделал над собой усилие, стиснул челюсти и сказал задыхающемуся от злобы Базарбаю:

— Мне не о чем с тобой разговаривать. Твои слова для меня ничего не значат. И я равняться на тебя не буду. Думай и говори обо мне что хочешь и как хочешь. А сейчас прочь с дороги. Эй, парень, — окликнул он официанта, — на, получи за

обед. — Сунул ему пятерку и молча пошел прочь.

Базарбай ухватил его за рукав:

— А ну постой! Не спеши к своей суке! Может, она с каким-нибудь чабаном крутит, когда тебя нет, а ты им помешаешь!

Бостон схватил с соседнего стола порожнюю бутылку из-под шампанского.

— Убери-ка руку! — тихо процедил он, не отводя глаз от вмиг побелевшего Базарбая. — Не заставляй меня повторять, убери руку! Слышишь? — сказал он, раскачивая увесистую темную бутыль.

Так и вышел Бостон на улицу, крепко сжимая бутылку в руке. Лишь вскочив в седло, опомнился, кинул бутылку в кювет, дал волю Донкулюку, пустил его во весь опор. Давно не мчался он с такой бешеной скоростью — эта жуткая скачка помогла ему прийти в себя, и, отрезвев, он ужаснулся: ведь какая-то ничтожная доля секунды отделяла его от убийства, спасибо бог спас, не то раскроил бы одним ударом череп ненавистного Базарбая. Люди, ехавшие на прицепном тракторе, удивились и, не веря глазам своим, долго смотрели ему вслед: что это случилось с Бостоном, такой солидный человек, а скачет, как ветреный подросток. Не скоро отдышался Бостон — окончательно

пришел он в себя, лишь напившись холодной воды у ручья. Тогда он отряхнулся, сел в седло и уже больше не гнал Донкулюка. Ехал шагом и все радовался, что избежал смертоубийства.

Но по дороге, припоминая, как все получилось, снова помрачнел, насупился. И совсем не по себе стало Бостону, когда вспомнил вдруг, что забыл на подоконнике в столовой того самого игрушечного лягушонка, купленного для Кенджеша, такую славную забаву — лупоглазого, большеротого заводного лягушонка. Конечно, покупка была не ахти какая дорогая, можно было и в другой раз купить малышу игрушку, в том же самом раймаге «Маданият», но почему-то ему подумалось, что это плохая примета. Нельзя было, ни в коем случае нельзя забывать предназначенную для малыша вещицу. А он забыл…

Собственное суеверие раздражало его, возбуждало и нем желание каким-то образом сопротивляться нежелательному ходу событий. При мысли, как он устроит засаду волкам и перестреляет этих проклятых зверей, чтобы и духу их поблизости не было, злоба душила его.

И что за наваждение такое, думал он, ведь сегодняшняя стычка с Базарбаем в столовой, чуть было по закончившаяся смертоубийством, опять

же началась со спора из-за этих волков…

Осуществить свое намерение Бостон наметил на другой день. За ночь продумал, предусмотрел все детали операции и, пожалуй, впервые за их совместную жизнь утаил от жены важный для него замысел. Не хотелось Бостону заводить разговор о волках и волчатах, явившихся причиной скандала с Базарбаем, не хотелось говорить о чем-либо, что могло напомнить о гибели Эрназара на перевале. И поэтому дома он больше молчал, забавлялся с малышом, односложно отвечал на вопросы Гулюмкан. Знал, что его молчание будет беспокоить жену, вызывать у нее недоумение, но иначе вести себя не мог. Он прекрасно понимал, что и его стычка с Базарбаем, и грязная брань, обрушенная на их головы, рано или поздно станут известны и ей. Но пока он молчал — не хотелось повторять то, что говорил о них этот чудовищный Базарбай, слишком это было мерзко и отвратительно.

Думалось ему также и о том, как странно, тяжело и непросто сложилась их с Гулюмкан жизнь. Сколько скрытого недоброжелательства и откровенной вражды видели они от людей с тех пор, как стали мужем и женой, какой только клеветы о них не распространяли. И, однако, Бостон не

сожалел о том, что связал свою жизнь со вдовой Эрназара. Ему уже трудно было представить себе, как бы он жил без нее, ему требовалось постоянно чувствовать рядом ее присутствие… Да нет, это была бы какая-то совсем другая жизнь. А его жизнь могла быть только с ней, и пусть подчас она и недовольна им и бывает, что и несправедлива, но она ему предана, а это самое главное. Но между собой они об этом никогда не говорили, это разумелось само собой. И если бы Бостона спросили, что для него значит этот малыш, этот улыбчивый, ясноглазый непоседа на пухлых ножках, этот последыш, Бостон ничего не сумел бы сказать. У него не нашлось бы для этого слов. Чувство это было превыше слов, ибо в малыше он видел себя в богом данной невинной ребячьей ипостаси…

Но душой он понимал и осознавал все, и, лежа ночью рядом с женой и малышом, он успокоился, отошел, подобрел. Ему хотелось забыть о том случае в столовой. Он даже подумал, что, если волки не заявятся этой ночью, он, пожалуй, отложит засаду, а то и вовсе отменит свое решение. Бостону хотелось спокойствия…

Но, как назло, около полуночи волки объявились снова. И опять на пригорке за большой

кошарой застонала, завыла Акбара, и ей вторил низкий басовитый вой Ташчайнара. И опять проснулся от испуга и захныкал Кенджеш, а Гулюмкан заворчала спросонья, проклиная жизнь, в которой нет покоя от разлютовавшихся волков. И Бостон вновь озлился, ему захотелось выскочить из дому и погнаться за волками хоть на край света, и снова припомнилось, как поносил его, как оскорблял и унижал его подлый и ничтожный Базарбай, и он пожалел, что не проломил ему голову бутылкой. Ведь стоило только Бостону опустить тяжеленную бутылку на голову ненавистного Базарбая, и тому бы пришел конец. И ничуть не раскаялся бы, думалось Бостону, ничуть, наоборот, только радовался бы, что уничтожил наконец эту гнусную тварь в человеческом образе… А волки все выли…

Пришлось взять ружье и опять отправиться хотя бы припугнуть их. Вместо того чтобы выстрелить раз или два, Бостон выпалил один за другим пять зарядов в ночную тьму. Потом вернулся домой, но заснуть уже не мог, неизвестно почему взялся чистить ружье. Он пристроился в углу передней комнаты и, согнувшись над своей охотничьей винтовкой «Барс», сосредоточенно чистил ее, точно она была срочно необходима

ему. За этим делом он еще раз продумал, как расправиться с волками, и решил действовать немедленно, едва рассветет.

А в то же время Акбара и Ташчайнар, вспугнутые выстрелами, удалялись в ущелье скоротать там остаток ночи. У этой неприкаянной пары больше не было постоянного места, и они ночевали где придется. Акбара, как всегда, шла впереди. Обросшая перед линькой длинными, свалявшимися лохмами, в темноте она была страшна. Глаза ее горели фосфорическим блеском, язык вывалился — можно было подумать, что она бешеная. Нет, не унималось горе волчицы, лишившейся детенышей, не могла она забыть своей потери. Чутье тупо подсказывало ей, что волчата в Бостоновой кошаре — больше им быть негде, ведь там скрылся похититель, за которым в тот злополучный день они гнались по пятам. Дальше этого ее звериный ум не проникал. И потому дико лютовали волки в те дни, беспорядочно били скот в окрестностях — и не столько чтобы утолить голод, сколько из неуемной, неутолимой потребности заглушить, заесть, завалить мясом и кровью сосущее чувство пустоты и злобы на мир. А нажравшись убоины, волки тянулись к тому месту, где они потеряли след волчат. Особенно

страдала Акбара — не могла никак смириться. Не было дня, чтобы она не ходила к тому месту, и не было дня, чтобы они с Ташчайнаром не бродили вокруг да около Бостонова становища. На это и рассчитывал Бостон, решивший во что бы то ни стало уничтожить волков.

На другой день с утра Бостон распорядился не выгонять отару на выпас, а держать ее в двух кошарах и дать животным побольше зерновой подкормки и поить из поилок во дворе. А сам отобрал из отары штук двадцать маток с махонькими ягнятами, по большей части с двойнями, чтобы сильнее шумели и блеяли, и погнал это небольшое стадо в безлюдную, бездорожную сторону.

Никого с собой не взял. Шел один, погонял стадо длинной палкой. На плече нес начищенное и надраенное ночью ружье, заряженное на всю обойму. Шел не торопясь, долго. Надо было как можно дальше уйти от жилья.

День стоял теплый, по-настоящему весенний. Горы впитывали в себя солнечное тепло, преобразуя его в зеленеющую на буграх и впадинах траву. Редкие белые-белые кучерявые облака безмятежно нежились в небесной голубизне. Жаворонки пели, среди камней токовали горные куропатки

— словом, благодать. Лишь взметнувшиеся ввысь на всем протяжении горизонта грозные снежные хребты, где в любую минуту могла начаться вьюга, и черные тучи, пригнанные невесть откуда диким ветром, которые могли затмить солнце, напоминали о том, что благодать эта не вечна.

Но пока ничего не предвещало дурных перемен. Небольшое стадо овцематок с ягнятами, беспорядочно перекликаясь, шло туда, куда его гнал человек. Ягнята резво попрыгивали, кидались к маткам пососать на ходу молока. Но Бостон с самой ночи был настроен мрачно. И чем больше он думал, тем больше злился и на волков я на Базарбая, виновника этой ужасной истории. С Базарбаем он не хотел связываться, памятуя о том, что не тронь — не воняет, а волков надо было ликвидировать, перестрелять, уничтожить — другого выхода он не видел. Расчет его был прост: голоса маток и ягнят непременно приманят волков, а он засядет в засаде. Волки набросятся на маток с ягнятами, и при известном везении он вполне может их подстрелить. Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает… Так оно и вышло…

Почти до самого полудня звери никак себя не обнаруживали. Расположив овец в укромной, хо-

рошо просматривавшейся лощине, Бостон залег на ее краю, затаившись с ружьем среди камней и редкого кустарника. Стрелял он метко, с детства ходил на охоту, уже не один иссык-кульский волк был на его счету. И потому не сомневался, что сумеет подстрелить волков, лишь бы удалось их приманить. Шумливые матки и ягнята-двойни все время подавали голоса, окликали друг друга, однако время шло, а звери все не появлялись, хотя в другие дни часто устраивали набеги, вымещали злобу на окрестных стадах, и, как правило, всегда в дневное время.

Солнце стало припекать. Лежа на фуфайке под кустом, Бостон в другое время, наверное, и вздремнул бы, но сейчас не мог себе этого позволить. Да и на душе было сумрачно: тяжело было сознавать, что его обвиняют в гибели Эрназара. Враги его, и Кочкорбаев и Базарбай, объединялись, и каждый на свой лад облыжно оговаривал его, загонял в тупик. И не понимал он, почему так устроена жизнь: за что, почему самые разные люди ненавидят его? А тут еще эти волки привязались, вынимают душу. От этого и дома покоя нет. И то ли еще будет, когда до жены дойдут слухи о его стычке с Базарбаем. Столовая была полна народу, когда Базарбай поносил последними

словами и его жену и его самого, а сколько среди них недоброжелателей…

А волки все не шли, и Бостон уже начинал терять терпение. И тем не менее напрягал зрение и слух — выжидал, был начеку. Важно было приметить зверей как можно раньше, чтобы выстрелить в них, едва они бросятся на овец. Уловить момент, когда волки объявятся, было не так просто: у домашних овец нет нюха, да и зрение у них никудышное, словом, глупее и нерасторопнее нет на свете животных. Для волков овцы самая легкая добыча, и спасти овец от волков может лишь человек, и потому волкам приходится иметь дело лишь с человеком. Так было и в этот раз…

Беспечные овцы и сейчас не почуяли опасности. Они паслись, отвлекаясь лишь на зов ягнят, то и дело покорно подставляя им сосцы, и больше никаких забот не знали. Опасность заметил лишь Бостон…

Пара белобоких горных сорок, хлопотливо суетившихся поблизости, вдруг беспокойно застрекотала, стала перелетать с места на место. Бостон насторожился, взвел курок, но высовываться не стал, а, напротив, еще старательнее схоронился. Действовать надо было наверняка.

Он готов был пожертвовать несколькими овцами, лишь бы выманить хищников на открытое место. Но волки, видимо, почуяли опасность — не исключено, что их оповестили о ней те же сороки. Кончив стрекотать в одном месте, они поспешили туда, где сидел в засаде Бостон, и здесь тоже подняли нахальный, громкий стрекот, хотя Бостон, казалось бы, не должен был привлечь их внимания — он не шевелясь сидел за кустом. Как бы то ни было, волки выскочили не сразу — оказалось, что они разделились: Акбара, ползя между валунами, подкрадывалась с дальнего конца, а Ташчайнар с противоположного (как потом выяснилось, он полз неподалеку от того места, где хоронился с ружьем Бостон).

Но все это обнаружилось не сразу.

Ожидая появления волков, Бостон настороженно озирался, но никак не мог понять, с какой стороны появятся звери. Вокруг царили покой и тишина: овцы мирно паслись, ягнята резвились, сороки перестали стрекотать — слышно было лишь, как неподалеку бежит с горы ручей и поют в кустах птахи. Бостон уже устал от долгого ожидания, но тут среди камней промелькнула серая тень, и овцы резко шарахнулись в сторону и неуверенно замерли в испуганном ожидании.

Бостон весь напрягся, он понял — это волки подпугнули стадо, чтобы узнать, где затаился человек: в таких случаях любой пастух поднимает крик и бежит к овцам. Но у Бостона была другая задача, и поэтому он ничем себя не выдал. И тогда среди каменных глыб снова метнулась серая тень, и хищник в два прыжка настиг всполошившихся овец. То была Акбара. Бостон вскинул ружье, ловя на мушку цель, и собрался уже нажать курок, когда легкий шорох позади заставил его обернуться. В ту же секунду он не целясь выстрелил в упор в набегающего на него огромного зверя. Все произошло в мгновение ока. Выстрел настиг Ташчайнара уже в прыжке, но упал он не сразу, а, злобно оскалив зубы, свирепо сверкая глазами, хищно вытянув вперед когтистые лапы, какое-то время еще летел по инерции к Бостону и рухнул замертво всего в полуметре от него. Бостон тотчас же повернул ружье в другую сторону, но момент был уже упущен — Акбара, оставив сваленную с ходу овцу, успела метнуться за камни. С ружьем наперевес кинулся он за волчицей, надеясь достать ее пулей, но увидел лишь, как Акбара перемахнула через ручей. Выстрелил и промахнулся…

Бостон перевел дух, удрученно огляделся во-

круг. От напряжения он побледнел и тяжело дышал. Главной своей цели он не достиг — Акбара ушла. Теперь дело еще больше осложнилось — подстрелить ее будет не так-то просто: волчица будет неуловима. Впрочем, думал Бостон, не оглянись он вовремя на Ташчайнара и не сразу его первой же пулей, все могло обернуться гораздо хуже. Обдумывая происшедшее, Бостон понял, что, приближаясь к стаду, звери заподозрили опасность и разделились, и когда Ташчайнар заметил, что человек с ружьем угрожает волчице, не подозревающей о засаде, он не раздумывая кинулся на врага…

Собрав разбежавшихся с перепугу овец, Бостон пошел взглянуть на убитого волка. Ташчайнар лежал, завалившись на бок, ощерив громадные желтые клыки, глаза его уже остекленели. Бостон потрогал голову Ташчайнара, громадная голова — лошади впору, как только зверь носил такую тяжесть, а лапы — Бостон поднял их, взвесил и невольно восхитился: такая сила чувствовалась в этих лапах. Сколько исхожено ими, сколько задрано добычи!

После некоторых колебаний Бостон решил не обдирать Ташчайнара. Бог с ней, со шкурой, не в шкуре дело. Тем более что волчица уцелела

— торжествовать нет причин.

Бостон еще постоял в задумчивости, потом взвалил на плечо прирезанную волчицей овцу и погнал стадо домой.

А позже вернулся, прихватив лопату и кирку, и весь остаток дня рыл яму, чтобы закопать труп Ташчайнара. Возиться пришлось долго, грунт оказался каменистый. Иногда Бостон приостанавливал работу и затихал, осторожно поглядывая по сторонам, не покажется ли, часом, волчица. Бьющее без промаха ружье Бостона лежало рядом, стоило только протянуть руку…

Но Акбара пришла лишь глубокой ночью… Легла возле свежей кучи земли и пролежала тут до самого рассвета, а с первыми лучами солнца исчезла…

VI

Стояли весенние дни, можно даже сказать — начало лета. Овцеводам пора было перекочевывать на летние пастбища. Те, кто зимовал в предгорьях, переходили в глубинные долины и ущелья — на новый горный травостой, чтобы постепенно приближаться к перевалам. Те, кто зимовал на полях, на стойловом содержании, выходили на запасные весенние выпасы. Пора была хлопотная: перегон скота, перевоз домашнего скарба и, что тяжелее всего, стрижка овец; все это, вместе взятое, создавало напряженную обстановку. К тому же каждый торопился как можно раньше поспеть на летовку и занять лучшие места. Одним словом, дел было невпроворот… И у каждого были свои заботы…

Во всей округе лишь Акбара оставалась неприкаянной. Лишь ее никак не касалась кипящая вокруг жизнь. Да и люди, можно сказать, забыли о ней: после потери Ташчайнара Акбара ничем о себе не напоминала, даже у зимовья Бостона и то перестала выть по ночам.

Беспросветно тяжко было Акбаре. Она сделалась вялой, безучастной — ела всевозможную

мелкую живность, что попадалась на глаза, и большей частью уныло коротала дни где-нибудь в укромном месте. Даже массовое перемещение стад, когда по горам передвигаются тысячные поголовья и под шумок ничего не стоит утащить зазевавшегося ягненка, а то и взрослую овцу, оставляло ее совершенно равнодушной.

Для Акбары мир как бы утратил свою ценность. Жизнь ее теперь была в воспоминаниях о прошлом. Положив голову на лапы, Акбара целыми днями вспоминала радостные и горестные дни и в Моюнкумской саванне, и в Приалдашских степях, и здесь, в Прииссык-кульских горах. Снова и снова вставали перед ее взором картины минувшей жизни, день за днем прожитой вместе с Ташчайнаром, и всякий раз, не в силах вынести тоски, Акбара поднималась, понуро бродила окрест, снова ложилась, примостив постаревшую голову на лапы, снова вспоминала своих детенышей — то тех четверых, что недавно похитили у нее, то тех, что погибли в моюнкумской облаве, то тех, что сгорели в приозерных камышах, — но чаще всего вспоминала она своего волка, верного и могучего Ташчайнара. И порой вспоминала того странного человека, которого встретили они в зарослях конопли, — вспоминала, как он, голо-

кожий, беззащитный, забавлялся с ее волчатами, а когда она ринулась на него, готовая с налета перекусить ему горло, в испуге присел на корточки, заслонив голову руками, и побежал от нее без оглядки… И как потом, уже в начале зимы, она увидела его на рассвете в Моюнкумской саванне распятого на саксауле. Вспоминала, как всматривалась в знакомые черты, как он, приоткрыв глаза, что-то тихо прошептал ей и умолк…

Теперь прошлая жизнь казалась ей сном, безвозвратным сном. Но вопреки всему надежда не умирала, теплилась в сердце Акбары — порой ей казалось, что когда-нибудь ее последний помет обнаружится. И потому ночами Акбара кралась к Бостонову зимовью, но уже не выла истошно, привычно и грозно, а лишь прислушивалась издали: вдруг ветер донесет тявканье подросших волчат или их знакомый сладостный запах… Если бы возможно было такое чудо! Как рванулась бы Акбара к своим ненаглядным волчатам — не побоялась бы ни людей, ни собак, вызволила бы, унесла бы детей своих из плена, и они помчались бы как на крыльях прочь отсюда в другие края и там зажили бы жизнью вольной и суровой, как и полагается волкам…

Бостону же эти дни не давали покоя многие

докуки — мало ему забот с перекочевкой, так навязались еще дурацкие казенные дела. Кочкорбаев, как и обещал, написал все-таки жалобу на Бостона Уркунчиева в вышестоящие инстанции, и оттуда прибыла комиссия разбираться, кто прав, кто виноват, но сама разошлась во мнениях. Одна часть комиссии считала, что чабана Бостона Уркунчиева необходимо исключить из партии, потому что он оскорбил личность парторга и тем нанес моральный ущерб самой партии, другая считала, что этого делать не следует, потому что чабан Бостон Уркунчиев выступил по делу и критика его имела целью повышение производительности труда. Вызывали в комиссию и Базарбая Нойгутова. Брали у него письменные объяснения по поводу волчат, которых Бостон Уркунчиев якобы требовал вернуть в логово… Словом, завели дело по всем правилам…

На два последних вызова Бостон не явился. Передал, что ему надо перегонять скот в верховья, переезжать туда с семейством на все лето, что сроки поджимают, и потому пусть разбираются без него, а он согласен на любое наказание, которое комиссия сочтет нужным, чем очень обрадовал Кочкорбаева, которому такое поведение Бостона было только на руку.

Но иного выхода у чабана не было. Перегон на летние выпасы уже начался, а опоздать с перегоном Бостон бы себе никогда не позволил. В последние годы скот угоняли своим ходом днем раньше, а вслед за этим перевозили переносное жилье и весь домашний скарб до тех мест, куда могли пройти машины, дальше же снова передвигались дедовским, вьючным, способом. Но и это сильно облегчало и, главное, ускоряло перегон скота. Вот и Бостон вначале отогнал скот на летовку, оставив при отаре своих помощников, а за ночь вернулся назад, чтобы на другой день, погрузив на машину семейство и домашний скарб, уехать до осени в горы.

* * *

И наступил тот день…

Но ему предшествовала ночь, когда Акбара вернулась в свое старое логово. Впервые после гибели Ташчайнара. Одинокая волчица избегала старого логова под свесом скалы — знала, что оно пусто и что там ее никто не ждет. И все-таки однажды исстрадавшейся Акбаре захотелось вдруг побежать знакомым путем, юркнуть через лазы в логово — а вдруг там ждут ее детеныши. Не справилась она с искушением, поддалась

самообману.

Акбара бежала как сумасшедшая, не разбирая пути, по воде, по камням, мимо ночных костров, засветившихся на летних стойбищах, мимо злобных собак, а вдогонку ей громыхали выстрелы…

Так бежала она, одинокая и обезумевшая, по горам под высокой, стоявшей в небе луной… И когда добежала до логова, так заросшего новой порослью травы и барбариса, что и не узнать, не посмела войти в свое давно осиротевшее, забытое жилье… А перебороть себя, уйти прочь тоже не было сил… И вновь обратилась Акбара к волчьей богине Бюри-Ане и долго плакалась, скуля и воя, долго жаловалась на свою горемычную судьбу и просила богиню взять ее к себе на луну, туда, где нет людей…

Бостон той ночью был в дороге. Возвращался после отгона скота назад на зимовье. Можно было, конечно, дождаться утра и потом двинуться в путь. Но тогда он прибыл бы на кошт только к вечеру, и ему пришлось бы ждать целый день и только потом погрузиться на машину и отправиться вслед за гуртами, а он не мог себе позволить потерять столько времени. К тому же на коште почти никого не оставалось, кроме Гулюмкан с малышом да еще одной семьи, кото-

рые ждали, когда придет их очередь выезжать на летовку, а мужчин и вовсе не было.

Вот почему Бостон так спешил той ночью, благо Донкулюк, как всегда, шел сноровисто и уверенно. Хорошо шел, душа радовалась. Скорый шаг у Донкулюка. При лунном свете поблескивали уши и грива золотистого дончака, на плотном крупе, как рябь на воде ночью, переливались мускулы. Погода стояла ни жаркая, ни холодная. Пахло травами. За спиной у Бостона висело ружье — мало ли что может случиться ночью в горах. А уж дома Бостон вернет ружье на место, и неразряженное ружье будет висеть на гвозде с полной обоймой в пять патронов.

Бостон рассчитывал прибыть на кошт еще на рассвете, часам к пяти, и похоже было, что так оно и будет. Этой ночью он лишний раз убедился, как привязан к жене и сыну: он уже через день затосковал по ним и теперь спешил домой. И больше всего его тревожило в пути, как бы волчица Акбара не стала снова бродить возле жилья и не подняла свой жуткий вой, наводя страх на Гулюмкан и Кенджеша. Успокаивал Бостон себя лишь тем, что после убийства волка волчица перестала приходить — во всяком случае, ее не стало слышно.

Но напрасно беспокоился в ту ночь Бостон.

В ту ночь Акбара в Башатском ущелье жаловалась Бюри-Ане у старого логова. И даже если бы Акбара оказалась возле Бостонова кошта, она никого не потревожила бы — после гибели Ташчайнара она лишь скорбно вслушивалась в доносящиеся со становища голоса…

И вот настал тот день…

Бостон проснулся в то утро, когда солнце светило уже вовсю: прибыв на рассвете, он поспал по возвращении часа четыре. Он бы поспал и еще, но его разбудил сынишка. Как ни старалась в то утро Гулюмкан не пускать Кенджеша к отцу, в какой-то момент, занятая сборами, она не уследила за малышом. И малыш, что-то лопоча, бесцеремонно трепал отца по щекам. Бостон открыл глаза, улыбаясь, обнял Кенджеша, и удивительная нежность к мальчишке с особой силой охватила его. Отрадно было сознавать, что Кенджеш, его плоть и кровь, растет здоровым и подвижным, что в свои неполные два года он смышлен, любит родителей, что и лицом и складом характера он похож на него, только глаза, влажно блестящие, как черные смородины, материнские. Всем удался мальчик, и, глядя на него, Бостон гордился, что у него такой чудесный сын.

— Что ты, сынок? Мне вставать? А ну, потяни меня за руку! Потяни, потяни, вот так! Ого, какой силач! А теперь обними меня за шею!

Гулюмкан тем временем успела уже вскипятить любимый мужем густой калмыцкий чай с жареной мукой, с молоком и солью, и поскольку не только отары, а даже собаки и те были далеко в горах, Уркунчиевы могли позволить себе хоть раз в году выпить чай без помех, в тишине и спокойствии. Мало кто понимает, как редко выпадает такой отдых чабанской семье. Ведь скотина требует внимания беспрерывно, круглый год и круглые сутки, а когда в стаде чуть не тысяча голов, а с приплодом и все полторы, то о таком свободном от забот утре чабанская семья может только мечтать. Они сидели, наслаждаясь покоем перед тем, как приступить к сборам — ехали ведь на все лето. Машина ожидалась к полудню, и к этому часу весь домашний скарб должен был быть собран.

— Ой, прямо не верится, — все приговаривала Гулюмкан, — как хорошо, какая благодать, какая тишина! Не знаю, как тебе, а мне уезжать не хочется. Давай никуда не поедем. Кенджешик, скажи отцу, что не надо никуда ехать.

Кенджешик что-то лепетал, подсаживался то

к отцу, то к матери, а Бостон добродушно соглашался с женой:

— А что? Почему бы нам и не прожить здесь все лето?

— Сказал тоже, — смеялась Гулюмкан, — да ты через день так припустишь за своей отарой, что за тобой на Донкулюке не угонишься!

— И верно, не угонишься даже на Донкулюке! — поддакивал довольный Бостон и поглаживал жесткие усы. Это означало, что он счастлив.

Так чаевничали они за низким круглым столом, взрослые сидели на полу, а малыш бегал около. Родители хотели его накормить, но малыш уж очень расшалился в то утро, бегал, резвился, никак не усадишь его есть. Двери распахнули — при закрытых дверях становилось жарко, — и Кенджеш то и дело беспрепятственно выскакивал наружу, носился по двору, наблюдал за маленькими проворными, пушистенькими цыплятами, сновавшими возле квочки. То была курица их соседа, ночника Кудурмата. Сам он был уже на летовке, а жена его Асылгуль собиралась отправиться вместе с Уркунчиевыми на машине. Она уже заглянула к ним, сказала, что собрала вещи, осталось только посадить курицу с цыплятами в корзину, но это она успеет сделать, когда придет

машина. А пока она собирается простирнуть да просушить белье.

Так проходило то утро. Солнце уже изрядно припекало. Все были заняты своими делами. Бостон с женой увязывали узлы, укладывали посуду. Асылгуль устроила постирушку — слышно было, как она то и дело выплескивает из дверей мыльную воду. А маленького Кенджеша предоставили самому себе, и он то выбегал из дому, то опять забегал в дом и все крутился возле цыплят.

Заботливая квочка тем временем повела цыплят подальше от дома покопаться за углом в земле. Малыш подался за цыплятами, и незаметно они оказались за глухой стеной сарая. Здесь, среди лопухов и конского щавеля, было по-летнему покойно и тихо. Цыплята, попискивая, рылись в мусоре, а Кенджеш, тихо смеясь, разговаривал с цыплятами, все пытаясь их погладить. Кенджеша квочка не боялась, но когда вблизи, неслышно ступая, появилась большая серая собака, курица встревожилась, недовольно закудахтала и предпочла увести цыплят подальше. Кенджеша же большая серая собака с удивительными синими глазами ничуть не испугала. Она кротко смотрела на малыша, дружелюбно помахивая хвостом. То была Акбара. Волчица давно уже бродила

около зимовья.

Волчица решилась так близко подойти к человеческому жилью потому, что, начиная с минувшей ночи, на подворье было пусто, не слышались ни людские, ни собачьи голоса. Влекомая неутихающей материнской тоской, неумирающей надеждой, она осторожно обошла все кошары, все стойла, нигде не обнаружила своих утраченных волчат и подошла вплотную к человеческому жилью. И вот Акбара стояла перед малышом. И непонятно, как ей открылось, что это детеныш, такой же, как любой из ее волчат, только человеческий, и когда он потянулся к ее голове, чтобы погладить добрую собаку, изнемогающее от горя сердце Акбары затрепетало. Она подошла к нему, лизнула его щечку. Малыш обрадовался ее ласке, тихо засмеялся, обнял волчицу за шею. И тогда Акбара совсем разомлела, легла у его ног, стала играть с ним — ей хотелось, чтобы он пососал ее сосцы, но он вместо этого сел на нее верхом. Потом соскочил и позвал ее за собой. «Жюр! Жюр! [6]» — кричал он ей, заливаясь счастливым смехом, но Акбара не решалась идти дальше, она знала, что там люди. Не двигаясь с места, волчица

---

[6] Примечания: 6
Жюр — пошли.

грустно поглядывала синими глазами на мальчугана, и он снова подошел к ней и гладил ее по голове, а Акбара вылизывала детеныша, и ему это очень нравилось. Волчица изливала на него накопившуюся в ней нежность, вдыхала в себя его детский запах. Как отрадно было бы, думалось ей, если бы этот человеческий детеныш жил в ее логове под свесом скалы. Осторожно, чтобы не поранить шейку, волчица ухватила малыша за ворот курточки и резким рывком перекинула на загривок — таким манером волки утаскивают из стада ягнят.

Мальчик вскрикнул пронзительно, коротко, как раненый заяц. Соседка Асылгуль, шедшая к сараю развешивать белье, поспешив на крик Кенджеша, заглянула за угол, бросила белье на землю и кинулась к дверям Бостона.

— Волк! Волк ребенка утащил! Скорее, скорее! Бостон не помня себя сорвал со стены ружье и бросился из дома, следом за ним Гулюмкан.

— Туда! Туда! Вон Кенджеш! Вон волчица его тащит! — вопила соседка, в ужасе хватаясь за голову.

Но Бостон уже и сам увидел волчицу — она трусила, неся на загривке дико орущего малыша.

— Стой! Стой, Акбара! Стой, говорю! — закри-

чал во весь голос Бостон и побежал вдогонку за волчицей.

Акбара припустила, а Бостон несся вслед за ней с ружьем и кричал не своим голосом:

— Оставь, Акбара! Оставь моего сына! Никогда больше я не трону твоего рода! Оставь, брось ребенка! Акбара! Послушай меня, Акбара!

Он словно забыл, что для волчицы его слова ровным счетом ничего не значат. Крики, погоня лишь напугали ее, и она побежала быстрее.

А Бостон, не умолкая ни на минуту, преследовал Акбару.

— Акбара! Оставь моего сына, Акбара! — взывал он. А чуть поотстав, с отчаянными воплями и причитаниями бежали Гулюмкан и Асылгуль.

— Стреляй! Стреляй быстрей! — кричала Гулюмкан, забыв, что Бостон не может стрелять, пока волчица несет на себе малыша.

Крики, погоня лишь взбудоражили Акбару, распалили волчий инстинкт, и она решила не выпускать своей добычи. Мертвой хваткой держа малыша за шиворот, волчица упорно бежала вперед, уходила все дальше в горы и, даже когда позади прогремел выстрел и пуля просвистела у нее над головой, не бросила своей ноши. А малыш все плакал, звал отца, звал мать. И Бостон снова

выстрелил в воздух, не зная, чем еще устрашить волчицу, но и этот выстрел не испугал ее. Акбара продолжала удаляться в сторону каменных завалов, а уж там ей ничего не стоило запутать следы и скрыться из виду. Бостон пришел в отчаяние: как спасти ребенка? Что делать? За что такое чудовищное наказание свалилось на них? За какие грехи?

— Брось мальчика, Акбара! Брось, прошу тебя, оставь нам нашего сына! — задыхаясь и хрипя, как запаленная лошадь, молил он на бегу похитительницу.

И в третий раз выстрелил Бостон в воздух, и снова пуля просвистела над головой зверя. Каменные завалы все приближались. В обойме теперь было всего два патрона. Понимая, что еще минута — и он упустит последний шанс, Бостон решился выстрелить по волчице. С разбега припал на колено и стал целиться: он метил по ногам, только по ногам. Но ему никак не удавалось прицелиться — грудь ходила ходуном, руки тряслись, перестали слушаться. И все же он попытался собраться с силами и, глядя в дергающуюся прорезь прицела, как скачет, точно бы плывет по бурным волнам, волчица, прицелился и спустил курок. Мимо. Пуля, взбурлив пыль рядом с целью, прошла понизу.

Бостон перезарядил ружье, дослал в патронник последний патрон, снова прицелился и даже не услышал собственного выстрела, а только увидел, как волчица подпрыгнула и завалилась на бок.

Вскинув винтовку на плечо, Бостон будто во сне побежал к упавшей Акбаре. Ему казалось, что он бежит так медленно и долго, словно плывет в каком-то пустом пространстве…

И вот наконец, похолодев, точно на дворе стояла стужа, он подбежал к волчице. И согнулся в три погибели, закачался, корчась в немом крике. Акбара была еще жива, а рядом с ней лежал бездыханный, с простреленной грудью малыш.

А мир, утративший звуки, безмолвствовал. Он исчез, его не стало, на его месте остался только бушующий огненный мрак. Не веря своим глазам, Бостон склонился над телом сына, залитым алой кровью, медленно поднял его с земли и, прижимая к груди, попятился назад, удивляясь почему-то синим глазам издыхающей волчицы. Потом повернулся и, онемев от горя, пошел навстречу бегущим к нему женщинам.

Ему почудилось, что жена его растет у него на глазах, и вот уже ему навстречу шагает гигантская женщина с огромным деформированным лицом, простирая к нему огромные деформиро-

ванные руки.

Он брел как слепой, прижимая к груди убитого им малыша. За ним, вопя и причитая, брела Гулюмкан, ее поддерживала под руку голосящая соседка.

Бостон, оглушенный горем, ничего этого не слышал. Но вдруг оглушительно, точно грохот водопада, на него обрушились звуки реального мира, и он понял, что случилось, и, обратив взгляд к небу, страшно закричал:

— За что, за что ты меня покарал?

Дома он уложил тело малыша в его кроватку, уже приготовленную к предстоящей погрузке на машину, и тут Гулюмкан припала к изголовью и завыла так, как выла ночами Акбара… Рядом с ней опустилась на пол Асылгуль…

Бостон же вышел из дому, прихватив с собой ружье. Одну обойму вставил в магазин, другую сунул в карман, точно собирался на бой. Затем кинул седло на спину Донкулюка, одним махом вскочил на коня и уехал из дома, не сказав ничего ни жене, ни соседке Асылгуль…

А отъехав чуть подальше от кошта, дал волю Донкулюку, и золотистый дончак помчал его по той же дороге, по которой в конце зимы он скакал к Таманскому зимовью.

Тот, кого он хотел застать и кого непременно нашел бы даже под землей, был на месте.

На подворье Базарбая Нойгутова в тот день тоже грузили машину — отправляли домашний скарб на летние выпасы. Занятые этими хлопотами, люди не заметили, как за кошарой появился Бостон, как он спешился, как скинул ружье, как перезарядил его, поставил на боевой взвод, а затем снова повесил на плечо.

Его заметили, лишь когда он уже приблизился к месту погрузки. Базарбай, спрыгнув с грузовика, удивленно уставился на него.

— Ты чего? — сказал он Бостону, доскребывая в затылке и вглядываясь в его черное, как обугленная головешка, лицо. — Ты чего тут? Чего так смотришь? — всполошился он, предчувствуя что-то недоброе. — Опять насчет волчат, что ли? Делать тебе нечего? Попросили меня, я и написал.

— Плевать мне, что ты там написал, — мрачно бросил Бостон, не отрывая от него тяжелого взгляда. — Не до этого мне. Я хочу тебе сказать, что ты недостоин жить на этом свете, и я сам порешу тебя!

Базарбай не успел даже заслониться, как Бостон вскинул ружье и, почти не целясь, выстрелил

в него. Базарбай зашатался, кинулся было спрятаться за грузовик, но второй выстрел настиг его, угодив в спину, и Базарбай, трижды перекрутившись, ударился головой о кузов и, рухнув на землю, судорожно заскреб ее руками. Все это произошло так неожиданно, что поначалу никто не двинулся с места. И только когда несчастная Кок Турсун с воплем упала на тело мужа, все разом закричали и побежали к убитому.

— Ни с места! — громко приказал Бостон, озираясь по сторонам. — Чтоб никто ни с места! — пригрозил он, направляя дуло на каждого по очереди. — Я сам отправлюсь сейчас туда, куда следует. И потому предупреждаю, чтоб никто ни с места! В случае чего у меня патронов хватит! — И он похлопал себя по карману.

Все остановились как громом пораженные, никто ничего не мог понять, ничего сказать, словно все потеряли дар речи. Только несчастная Кок Турсун продолжала причитать над телом ненавистного мужа:

— Я всегда знала, что ты кончишь, как собака, потому что ты и был собака! Убей и меня, убийца! — рванулась жалкая и безобразная Кок Турсун к Бостону. — Убей и меня, как собаку. Я и так света белого сроду не видала, зачем мне такая жизнь! —

Она попыталась еще что-то выкрикнуть: мол, она предупреждала Базарбая, что нечего ему было похищать волчат, что это до добра не доведет, но этот изверг ни перед чем не останавливался, даже диких зверей и то пропивал, — но тут двое пастухов зажали ей рот и оттащили подальше.

И тогда, окинув суровым взглядом стоящих вокруг, Бостон негромко, но жестко сказал:

— Хватит, я сам отправлюсь сейчас куда следует, сам на себя заявлю. Повторяю — сам! А вы все оставайтесь на своих местах. Слышали?

Никто не вымолвил ни слова. Потрясенные случившимся, все молчали. Глядя на лица людей, Бостон вдруг понял, что с этой минуты он преступил некую черту и отделил себя от остальных: ведь его окружали близкие люди, с которыми изо дня в день, из года в год вместе добывал хлеб насущный. Каждого из них он знал, и они его знали, с каждым из них у него были свои отношения, но теперь на их лицах читалось отчуждение, и он понял, что отныне он отлучен от них навсегда, как если бы его ничто и никогда не связывало с ними, как если бы он воскрес из мертвых и тем уже был страшен для них.

Ведя на поводу коня, Бостон пошел прочь. Он уходил не оглядываясь, уходил в приозерную сто-

рону, чтобы сдаться там властям. Шел по дороге, понурив голову, а за ним, прихрамывая и позвякивая уздечкой, следовал его верный Донкулюк.

То был исход его жизни…

— Вот и конец света, — сказал вслух Бостон, и ему открылась страшная истина: весь мир до сих пор заключался в нем самом и ему, этому миру, пришел конец. Он был и небом, и землей, и горами, и волчицей Акбарой, великой матерью всего сущего, и Эрназаром, оставшимся навечно во льдах перевала Ала-Монгю, и последней его ипостасью — младенцем Кенджешем, подстреленным им самим, и Базарбаем, отвергнутым и убитым в себе, и все, что он видел и что пережил на своем веку, — все это было его вселенной, жило в нем и для него, и теперь хотя все это и будет пребывать, как пребывало вечно, но без него — то будет иной мир, а его мир, неповторимый, невозобновимый, утрачен и не возродится ни в ком и ни в чем. Это и была его великая катастрофа, это и был конец его света…

На пустынной полевой дороге к Приозерью Бостон вдруг круто обернулся, обнял коня за шею, повис на нем и зарыдал громко и безысходно.

— О, Донкулюк, один ты не понимаешь, что я натворил! — плакал он, содрогаясь всем телом от

рыданий. — Как мне быть? Сына своими руками убил и, не похоронив, ухожу и любимую женщину оставляю одну.

Потом закрутил чумбур, поводья уздечки на шее Донкулюка, закрепил стремена на луке седла, чтобы не колотили коня по бокам.

— Иди, иди домой, иди куда хочешь! — попрощался он с Донкулюком. — Больше мы не увидимся!

Ударил коня ладонью по крупу, шуганул его, и конь, удивляясь своей свободе, пошел на кошт.

Бостон же продолжал свой путь…

А синяя крутизна Иссык-Куля все приближалась, и ему хотелось раствориться в ней, исчезнуть — и хотелось и не хотелось жить. Вот как эти буруны — волна вскипает, исчезает и снова возрождается сама из себя…